

Л. Фризман • ДЕКАБРИСТЫ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Л. Фризман

Декабристы
и русская
литература



Л. Фризман

•

Декабристы
и русская
литература



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1988

Пушкинский кабинет ИРЛИ

ББК 83.3Р1
Ф 88

Рецензент: доктор филолог. наук
В. И. КОРОВИН

Оформление художника
Г. ШИФ

Ф $\frac{4603010101-101}{028(01)-88}$ 215-88
ISBN 5-280-00403-0

© Издательство «Художественная
литература», 1988 г.



ВВЕДЕНИЕ

Ночь с 13 на 14 декабря 1825 года руководители восстания провели без сна. Назначенный начальником штаба князь Оболенский объезжал войска, которые должны были выйти на площадь. Около 5 часов утра он приехал к Рылееву уточнить последние детали предстоящих действий.

Когда в начале десятого над Петербургом взошло солнце, квартира Бестужева и Рылеева, служившая центром подготовки восстания, опустела. Все разошлись по назначенным местам. Штейнгель дописывал манифест, который Рылеев и Пущин должны были представить Сенату. В 11 часов лейб-гвардии Московский полк вышел на Сенатскую площадь. Этот момент и стал началом восстания. Военный генерал-губернатор Петербурга Милорадович, приблизившийся к мятежному каре, был смертельно ранен пулей Каховского.

Около часа дня Николай I приказал конной гвардии атаковать мятежников, но неоднократные попытки рассеять восставший полк успеха не имели. Странное дело, но «закаленная в боях императорская гвардейская конница — более тысячи вышколенных всадников в тяжелых кирасах на превосходных лошадях — не смогла разогнать восемьсот человек пехоты, выстроившихся в каре около памятника Петру I». М. В. Нечкина дает этому факту единственно верное объяснение: «Какие-то невидимые нити единства, несомненно, связывали гвардейскую солдатскую массу обеих сторон — и императорскую и восставшую, солдатское единство не было абсолютно снято даже вооруженным столкновением, хотя против восставших войск и стояли грозной стеной императорские войска. Единство это было не в пользу императора»¹.

¹ Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 года. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М., Мысль, 1975, с. 230.

Через некоторое время к восставшим присоединились лейб-гвардии гренадерский полк и морской экипаж. Силы восставших увеличились более чем вчетверо. Вместо неявившегося на площадь Трубецкого был избран новый диктатор — Оболенский.

Короткий зимний день шел к концу. Быстро темнело. Особый страх у обитателей Зимнего дворца вызывали многотысячные толпы народа, заполнившего площади, улицы, набережные и готового вмешаться в развитие событий. «Подлая чернь была тоже на стороне мятежников», — записала в дневнике жена Николая I Александра Федоровна. По свидетельству принца Евгения Вюртембергского, «собравшаяся чернь стала также принимать участие в беспорядке». Испуг, вызванный возможностью вмешательства народа в происходящие события, оказал решающее воздействие на поступки царя: «Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. Надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда окруженные ею войска были б в самом трудном положении».

Время, отведенное царем на лицемерные возражения против использования пушек, истекло. «...Император решил сам подать сигнал к начатию смертоносного артиллерийского грома обычною командою: «Раз, два, пли»¹. В 4 часа 15 минут над площадью засвистела картечь. Колонны восставших дрогнули. «...В промежутках выстрелов можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама, алея, замерзала»², — вспоминал Николай Бестужев.

Конница преследовала тех, кто пытался спастись. На окрестных улицах шли облавы. Полиция, очищавшая площадь и лед Невы, сбрасывала в проруби не только трупы, но и раненых. Чиновник министерства юстиции по статистическому отделению фиксировал число погибших в день 14 декабря: «...генералов — 1, штаб-офицеров — 1, обер-офицеров разных полков — 17, нижних чинов лейб-гвардии Московского полка — 93, Гренадерского — 69, экипажа гвардии — 103, конного — 17, во

¹ Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.—Л., Госиздат, 1926, с. 27, 90, 117.

² Воспоминания Бестужевых. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 42.

фраках и шинелях — 39, женского пола — 9, малолетних — 19, черни — 903. Итого 1271 человек»¹.

Поздно вечером на квартире Рылеева собралось несколько декабристов. Они согласовывали показания, которые предстояло давать на допросах, возвращались памятью к событиям минувшего дня, прощались. Всю ночь по улицам, освещенным пламенем костров, свозили в Зимний дворец арестованных.

Сразу после событий на Сенатской площади был создан «высочайше учрежденный тайный комитет для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества». Царь сам принимал участие в следствии, допрашивал арестованных, знакомился с их письменными показаниями и, по существу, выносил приговоры.

В ночь на 13 июля 1826 года при свете костров на кронверке Петропавловской крепости были повешены Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский. Генерал-адъютант Голенищев-Кутузов поспешил «всеподданнейше донести» царю, что «эxecуция кончилась с должною тишиною и порядком...». Узнав об этом, Николай писал матери: «Подробности относительно казни, как ни ужасна она была, убедили всех, что столь закоснелые существа и не заслуживали иной участи: почти никто из них не выказал раскаяния... Войска были превосходны, общий дух их прекрасен. Завтра утром мы отслужим на площади молебен; эстрада поставлена как раз на том месте, где погиб бедный Милорадович. Печально, но и торжественно будет воспоминание обо всем ужасе, который вышел на свет в этот день!»²

Этот день стал одной из самых важных и самых памятных дат в богатой славой и страданиями истории России. В. И. Ленин не раз обращался к осмыслению событий 1825 года и их воздействия на последующее освободительное движение. Еще в юности он и его товарищи, арестованные царской охранкой в декабре 1895 года, шутливо называли себя «декабристами». Полно глубокого смысла и ленинское решение предпослать газете «Искра» эпиграф из стихотворения А. И. Одоевского, где поэт от имени томившихся в «каторжных норах» участников восстания ответил на вдохновенное послание Пушкина. Ленинский эпиграф подчеркивал прием-

¹ Канн П. Я. О числе жертв 14 декабря 1825 г. — История СССР, 1970, № 6, с. 115.

² Междоцарствие..., с. 209.

ственность разных поколений, сменявших друг друга в русском революционном движении, значение того наследия, которое оставила самоотверженность декабристов создателям пролетарской партии.

Среди высказываний Ленина о дворянских революционерах есть два, которые необходимо напомнить. Первое из них — классический текст, включенный в статью «Памяти Герцена»: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури», — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах¹.

Определяя здесь основные этапы освободительной борьбы в нашей стране, Ленин показывает, что вся она была логическим, органичным и закономерным продолжением того, что сделали члены тайных обществ на Сенатской площади и в заснеженных полях у Белой Церкви. Те исторические задачи, которые ставили перед собой декабристы, решались последующими поколениями, и решение этих задач становилось предпосылкой дальнейшего движения на протяжении ряда сменявших друг друга эпох, вплоть до 1917 года.

А в 1917 году, в самый канун Февральской революции, когда шли последние дни трехсотлетнего правления династии Романовых, Ленин выступил в Цюрихе с докладом о революции 1905 года. Он сказал: «В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно дворянами. С того момента и до 1881 года, когда Александр II был убит террористами, во главе движения стояли интеллигенты из среднего сословия. Они проявили величайшее самопожертвование и своим

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 264.

героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа»¹.

Не подлежит сомнению, что, говоря о «величайшем самопожертвовании» и «героизме» деятелей, бывших предшественниками революционного пролетариата, Ленин имел в виду и дворян, впервые восставших против царизма, и интеллигентов из среднего сословия, стоявших во главе движения на протяжении последующих десятилетий. И те и другие принесли жертвы, которые «пали не напрасно», и те и другие способствовали «революционному воспитанию русского народа».

Декабризм представлял собой не только исторический, но и социальный, и этический, и эстетический феномен². Едва стали известны намерения участников переворота, намечавшегося на 14 декабря, и состав тайных обществ, русское общество сосредоточило внимание на ситуации, парадоксальность которой вскрывала «росточинская шутка», ставшая благодаря Некрасову крылатой:

В Европе — сапожник, чтоб барином стать,
Бунтует — понятное дело!
У нас революцию сделала знать:
В сапожники, что ль, захотела?..³

Представители высшей знати, князья, офицеры высокого ранга, владельцы крупных состояний отказались от предстоявшего им блестящего и, уж во всяком случае, спокойного и безбедного будущего во имя принципиальных соображений, стремления к свободе, ненависти к тирании самодержавия и к крепостному праву. Карьеры, богатству, почестям предпочли они каторгу, ссылку и даже плаху.

Проходили десятилетия, а внимание к своеобразию личности и деятельности декабристов не ослабевало. Лев Толстой, как известно, был знаком с С. Г. Волконским и, по некоторым данным, собирался сделать его прототипом задуманного им произведения. И вот что

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 315.

² Это показано Н. Н. Скатовым в его статье «Лучезарная точка в русских летописях...» (О нравственно-эстетическом опыте декабризма). — В кн. Скатов Н. Н. Далекое и близкое. М., Современник, 1984, с. 85—109.

³ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. III, М., Гослитиздат, 1949, с. 66.

закрепилось в его сознании и о чем он незадолго до смерти говорил Д. П. Маковицкому: «Волконский, генерал-майор, богатый человек, и он шел на это дело, зная, что завтра его закуют...»¹

Декабрист был не только приверженцем определенной политической программы, но и живым воплощением соответствующих ей нравственных норм, особого типа общественного поведения². Даже когда эта программа утратила актуальность, этический кодекс, сложившийся в декабристскую эпоху, оставался нужен и интересен будущим поколениям, и, ставя новые задачи, эти поколения вновь и вновь возвращались памятью к тем духовным ценностям, которые создали первые борцы с царизмом, к тем человеческим качествам, которые они проявили.

Конечно, в разное время интерес к декабристам был более и менее интенсивным. О декабристах вспоминали, с ними спорили, у них учились, их опыт принимали в расчет при поисках иных путей. Их критиковали и отрекались от сходства с ними. И все же не будет преувеличением сказать, что история и люди в России на протяжении всего XIX века стали такими, какими они стали, потому что его первую четверть завершил 1825 год. И они были бы иными, если бы декабрьские события того года не состоялись бы или их увенчал бы другой исход.

Разумеется, литература не осталась в стороне от многогранного процесса усвоения уроков декабризма. Декабристская тема в той или иной степени вошла в творчество писателей разных поколений. Пушкин и Тютчев, Баратынский и Языков, Жуковский и Лермонтов, Герцен и Огарев, Некрасов и Толстой, Гончаров и Достоевский, Лесков и Полонский, Данилевский и Короленко — это лишь немногие из имен, которые следует вспомнить в этой связи. И каждый раз обращение к декабристам определялось и современностью, необходимостью найти путь к решению сегодняшних проблем.

Весь этот обширный материал до сих пор изучался избирательно и односторонне. Много написано об исто-

¹ Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, в 2-х томах, т. II. М., Гослитиздат, 1955, с. 176.

² Изучение декабристов под этим углом зрения явилось темой статьи Ю. М. Лотмана «Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория)». — В кн.: Литературное наследие декабристов. Л., Наука, 1975, с. 25—74.

рико-революционных поэмах Некрасова, о работе Толстого над романом о декабристах. А другие произведения, подчас характерные и значимые, не привлекали к себе достаточного внимания.

Наиболее серьезная попытка целостной постановки данной проблемы была предпринята Н. Л. Бродским в статье «Декабристы в русской художественной литературе»¹. Эта работа, написанная к столетию восстания 1825 года, выполненная на высоком научном уровне, богатая ценными библиографическими сведениями и тонкими замечаниями, не утратила своего значения по сей день. Но, естественно, рамки статьи вынудили автора ограничиться относительно беглыми характеристиками, порой называть факты, не подвергая их сколько-нибудь обстоятельному анализу. Представляет интерес и материал, собранный в позднейшей статье И. А. Битюговой².

Настало время уделить этой важной в научном отношении и идеологически значимой проблеме то внимание, которого она заслуживает. Осмысление декабризма русской литературой XIX — начала XX века должно стать предметом целостного и разностороннего анализа. В отличие от большинства имеющихся работ, авторы которых сосредоточивались на том или ином писателе или произведении, предстоит попытаться уяснить процесс овладения декабристской темой, направление и основные ступени ее эволюции.

Из сказанного, надеемся, читателю должен быть ясен тот конкретный смысл, который вкладывается в название этой книги. Проблема «Декабристы и русская литература» может рассматриваться в разных аспектах. В избранном нами аспекте ее сердцевина — это движение декабристской темы в русской литературе на протяжении почти столетия — с 1825 по 1917 год. Но — именно сердцевина. Потому что тема эта может быть увидена и исторически достоверно раскрыта лишь при условии более широкого, более разностороннего подхода к материалу. За движением декабристской темы нужно увидеть эволюцию социальной психологии. Нужно понять, почему писатели разных эпох, люди с различной общественной ориентацией возвращались памятью к декабрю

¹ Каторга и ссылка, 1925, № 8, с. 187—226.

² Битюгова И. А. «Декабристская» тема в русской литературе XIX века (20—70-е годы). — Труды Сталинирского гос. педагогического института, т. III, Тбилиси-Сталинир, 1957, с. 1—36.

1825 года. Что в современных событиях наталкивало их на это? Какие проблемы современности могли быть решены или прояснены в свете уроков, исторического опыта дворянских революционеров? Какими представлялись декабристы их мысленному взору? В каких формах запечатлела эти процессы русская литература?

Литературные факты, рассматриваемые в этой книге, как правило, относятся к периоду, последовавшему за поражением восстания декабристов. Такой подход может показаться небесспорным. Нам могут напомнить, что литература была спутницей декабристского движения на протяжении всей его истории. Немало стихов о декабристах и декабризме было написано в 1810-х и в первой половине 1820-х годов. В одних осмысливалась, пропагандировалась программа дворянских революционеров, в других создавались образы тех, кто впоследствии вышел на Сенатскую площадь. Не могут остаться за пределами темы «Пушкин и декабристы» такие произведения поэта, как «Вольность», послания к Чаадаеву, Кюхельбекеру и многие другие.

Конечно, не могут. В полной мере учитывая это, мы не абсолютизируем указанную хронологическую грань и в случаях, когда это представляется целесообразным, обращаемся к произведениям, созданным и до 1825 года. Но, намечая главное направление своего исследования, мы исходим из того, что место декабристов в русской литературе определилось лишь после 1825 года. Только после восстания стало возможно осмыслить их историческую роль, дать целостную характеристику декабризма как общественного явления. Только после того, как декабристы свершили свою историческую миссию, и по мере того, как определялось, в чем эта миссия состояла, какой след оставили деятели тайных обществ в русском освободительном движении, представало в подлинном свете отношение к ним тех или иных деятелей нашей литературы. Булгарин до 1825 года выглядит сторонником декабристов, расточает им похвалы и получает с их стороны ответные знаки внимания. А после разгрома восстания он обретает свое подлинное место — в ряду ненавистников и непримиримых врагов дворянских революционеров. Дельвиг до восстания затевает издание альманаха «Северные цветы», конкурирующего, соперничающего с «Полярной звездой». А после 14 декабря этот альманах оказывается хранителем декабристских традиций, печатает произведения сибирских узни-

ков. Количество подобных примеров можно многократно увеличить.

Три части этой книги характеризуют не просто взгляды трех поколений, а три психологически разных подхода к декабризму.

«Современники» — это и сами дворянские революционеры, и их сверстники, люди, которые сформировались в той же общественной атмосфере. Их оценка декабристов — в каком-то смысле самооценка. Это те, кто говорил или думал: «И я бы мог...» Здесь центральная фигура, конечно, Пушкин.

Во второй части — «Наследники» — речь идет о тех, кто вырос в обстановке, сложившейся после разгрома восстания, кто ощущал себя продолжателями дела, начатого декабристами, а также о тех, кто пытался подвергнуть пересмотру наследие дворянских революционеров. Это поколение Герцена.

И, наконец, — «Потомки» — те, для кого события на Сенатской площади были историей, предметом размышлений о важном, поучительном этапе прошлого. Они сопоставляли это прошлое с настоящим, пытались с его помощью глубже разобраться в закономерностях и в перспективах исторического процесса. Отношение к декабристам на этом этапе зримо зависело от отношения к современным революционерам: к народовольцам, участникам схватки с царизмом, потрясшей Россию в 1905 году. Здесь главное внимание уделено Льву Толстому.

Границы между частями книги лишь отчасти определяются хронологией. Главное в другом. Перед нами три точки зрения, с которых рассматривался и оценивался декабризм, три ступени его познания. Выделение этих трех ступеней позволяет, на наш взгляд, ощутить динамику в воззрениях русского общества на облик и деятельность дворянских революционеров и в том, как отражала эти воззрения русская литература.

Успех или неуспех решения задачи, поставленной перед этой работой, определяется многими факторами, но особого внимания заслуживают два из них. Первый — это опора на материал, мера полноты, с которой он будет охвачен. Мы не стремимся обойти то, что И. П. Павлов называл «черной работой в науке» — накопления и сопоставления фактов. И природа интересующего нас явления, и степень его изученности таковы, что оно не может быть понято, пока не будет полноценно описано. «Чтобы понять, — учил В. И. Ленин, — нужно эмпири-

чески начать понимание, изучение, от эмпирии подниматься к общему»¹.

Читатель найдет здесь известное количество однотипных фактов, перекликающихся цитат. Это необходимо для уяснения не только того, что определенное явление или точка зрения имели место, но и того, какова была их количественная мера, их значение в рассматриваемый период. Важно видеть, где речь идет о своеобразном, необычном взгляде, а где — об укоренившейся, общепринятой или распространенной концепции. Каждый вывод должен базироваться на аналитическом обзоре фактов.

Второй — это способы анализа собранного материала, учет специфики, которая присуща разным его пластам. Стихи Пушкина или Некрасова, которые многократно становились предметом внимания исследователей, и малоизвестные, а то и совсем забытые романы беллетристов конца XIX века должны рассматриваться по-разному.

Одно дело — произведения, непосредственно изображающие деятельность тайных обществ, события 1825 года, совсем другое — роман из эпохи Смутного времени или трагедия, описывающая заговор знати против царя в древней Грузии, — вещи, в которых декабристская проблематика обсуждалась иносказательно или подспудно.

Способ изучения в каждом случае должен определяться особенностями изучаемого материала. Иногда необходимо проникновение в смысл отдельного слова, в детали образной ткани. Иногда нужен взгляд с высоты, охватывающий целый период в его наиболее общих свойствах и тенденциях.

Эта книга — поисковая и по замыслу, и по путям его реализации. Автор отдает себе отчет в том, что не все они окажутся плодотворны в одинаковой степени. Но он убежден, что и обретения и утраты, которые выявятся при рассмотрении такой темы, могут дать материал для плодотворных размышлений о сложности, многослойности связей между историей литературы и общественной мысли в России. Появится дополнительная возможность ощутить, как чутко реагировала литература на мысли и чувства сменявших друг друга поколений, как продолжалась на страницах поэм и романов идеологическая борьба, как нерасторжимы были для русского писателя память о прошлом и тревоги современности.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 187.

Часть первая

Современники

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ. ЖУКОВСКИЙ. ТЮТЧЕВ. ПОЭТЫ-ДЕКАБРИСТЫ:
РАЕВСКИЙ, ГЛИНКА, КЮХЕЛЬБЕКЕР, ОДОЕВСКИЙ. А. А. ШИШКОВ.
ЧААДАЕВ. ГРИБОЕДОВ. ДЕЛЬВИГ. БАРАТЫНСКИЙ. ЯЗЫКОВ.
ДАВЫДОВ. ВЯЗЕМСКИЙ. ПУШКИН



«Вчерашний день будет, без сомнения, эпохой в истории России». Автор этих строк, написанных 15 декабря 1825 года и напечатанных в официальной газете «Русский инвалид», вряд ли мог подозревать, как близок он окажется к истине. Разумеется, составленное им описание событий на Сенатской площади должно было вызвать негодование к кучке бунтовщиков и восхищение благородством и самообладанием государя императора. «Две возмущившиеся роты Московского полка... построились в батальон-карре перед Сенатом; ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединилось несколько человек гнусного вида во фраках. Небольшие толпы черни окружали их и кричали *ура!*.. Его величество наконец решился, вопреки желанию сердца своего, употребить силу. Вывезены пушки, и немногие выстрелы в несколько минут очистили площадь. Конница ударила на слабые остатки бунтовавших, преследуя и хватая их». «Происшествия вчерашнего дня», как повествовалось далее, без сомнения, горестны для всех русских и должны были оставить «скорбное чувство в душе государя императора», хотя «мятежники» не нашли себе других пособников, кроме «немногих пьяных солдат и немногих же людей из черни, также пьяных»¹. Стрельба картечью по мятежному каре определялась как «меры строгости».

В попытках очернить повстанцев и представить в ужасном свете их намерения власти поистине переходили все границы. Декабристы, по их уверениям, «умышляли» не только «умерщвление императорской фамилии, безначалие, разграбление имуществ», но даже «убиение всех мирных граждан». Делалось все возможное, чтобы убедить население, что «никогда строгость не могла быть необходимее, никогда общественная польза не требовала мер столь решительных и быстрых, как в сих важных и печальных обстоятельствах», что правительство было поставлено в «горестную необходимость прибегнуть к

¹ Русский инвалид, 1825, 19 декабря, № 300, с. 1206, 1207.

многочисленным арестованиям. В таких обстоятельствах государственное благо не позволяет медлить: надлежало усугубить разыскания и открыть самый корень заговора, дабы схватить все его нити»¹.

Разумеется, не оказалось недостатка в поэтах, готовых излагать те же сентенции в рифмованном виде. Появилось несколько эпитафий на смерть Милорадовича, в которых всячески подчеркивалось, что «жертвою он пал злодея»², «пал в славе от руки бесславной»³. Некий А. Севринов изливал свое негодование к декабристам и витийствовал, что «гнев господень»

Сотрет их плод с лица земного
И семя их между людей,
Да не свершат завета злого
Против закона и властей.
Поставив их, подобно цели,
В лицо им тучи стрел пустил,
И умысл злобный, что имели,
В тщету и в прах преобратил⁴.

П. И. Шаликов спешил «поднести государю императору прилагаемые стихи, излившиеся из души... по прочтении всего, что было обнародовано об известных происшествиях»:

Ты воскресил Петра в себе
И дал урок самой судьбе,
Что от небес стяжавший царство
Разрушит злобу и коварство...⁵

С. Висковатов обращался к царю с верноподданными уверениями:

...Тот не Росс, кто аду внемлет,
Мятежным пламенем горит...
Монарх! Забудь сих жертв Геенны.
Россияне — прямые — верны:
Привыкли обожать царей⁶.

Одним словом, придворная поэзия сделала что могла, чтобы дать Герцену дополнительное основание отметить, что «высшее общество» «при первом ударе гро-

¹ Русский инвалид, 1826, 7 января, № 5, с. 19.

² Яковлев М. Надгробие графу Милорадовичу. — Русский инвалид, 1825, 22 декабря, № 302, с. 1216.

³ Федоров Б. На смерть графа М. А. Милорадовича. — Календарь муз на 1826 год. СПб., 1826, с. 154.

⁴ Там же, с. 153.

⁵ Князь П. И. Шаликов. Материалы для его биографии. — Русская старина, 1901, № 1, с. 97, 98.

⁶ Новости литературы, 1826, кн. XV, февраль, с. 100.

ма, разразившемся над его головой после 14 декабря, растеряло слабо усвоенные понятия о чести и достоинстве»¹.

Позиции подлинной русской литературы были, конечно, иными. Они отразили всю неоднородность ощущений, которыми было охвачено русское общество под влиянием следовавших друг за другом известий о восстании на Сенатской площади, о волне арестов, о приговоре, вынесенном участникам тайных обществ, о казни их руководителей. И восхищение, и осуждение, и смятение, и испуг, и сочувствие жертвам царской расправы, и непонимание целей, которые эти люди ставили перед собой.

Неудивительно, что многое из написанного в первые дни и месяцы, последовавшие за «происшествием 14 декабря», приблизительно и неполно отражало те чувства, которые испытывали писавшие. Неудивительно, что чувства эти не могли быть сразу правильно поняты и беспристрастно оценены. Здесь следует вспомнить о вступлениях двух поэтов, отношение которых к декабристам долго представлялось в искаженном виде. Речь идет о Жуковском и Тютчеве.

Многokrатно фиксировалось внимание на том, что Жуковский отказался от вступления в тайное общество, что в годы, предшествовавшие восстанию, декабристы остро критиковали поэзию и общественную позицию Жуковского: то, что он «оделся в ливрею», то, что его стихи «растлили многих и много зла наделали»². Но самым сильным аргументом, который побуждал видеть в Жуковском недруга декабристов, было его письмо к А. И. Тургеневу, которое он написал 16 декабря и в котором подробно описывал день восстания, проведенный им в Зимнем дворце. Именно это письмо привело к тому, что отношение Жуковского к декабристам ставилось в один ряд с отношением к ним Булгарина и Греча³. В наши дни прямолинейное и примитивное толкование этого документа подвергается обоснованному пересмотру. Еще Г. А. Гуковский писал: «Что же касается его пись-

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах. т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 209.

² Рылеев К. Ф. Стихотворения, статьи, очерки, докладные записки, письма. М., Гослитиздат, 1956, с. 303.

³ Авербух А. Образ Рылеева в легендарно-поэтической традиции.— Историко-литературные опыты, т. II. Иркутск, 1930, с. 77.

ма к А. И. Тургеневу от 16 декабря 1825 года, в котором он бранил декабристов на чем свет стоит, бранил пошло и даже глупо, то оно доказывает только, что он очень испугался разгрома восстания и что, следовательно, он чувствовал себя несвободным от подозрений правительства хотя бы за дружеские отношения с декабристами»¹.

Биографы поэта с основанием напоминают, что к моменту, когда писалось это письмо, Жуковский не знал о целях и намерениях декабристов многого, что узнал впоследствии. Не знал и о принадлежности к заговору людей, моральный облик которых был в его глазах вне сомнений, в частности, Н. И. Тургенева. Все это, очевидно, сыграло свою роль.

Но главное все-таки в другом — в состоянии растерянности, смятения чувств и мыслей, которое владело тогда Жуковским. В том, что произошло 14 декабря, он в первый момент увидел только одно — угрозу гибели России. Он так и начинает письмо: «Мой милый друг. Провидение сохранило Россию... В этот день все было на краю гибели: минута, и все бы разрушилось» (ПСС, т. XII, с. 100)². И далее та же мысль возникает вновь и вновь: «Я с ужасом подумал, что судьба России на волоске, что ее существование может через минуту зависеть от толпы бешеных солдат и черни, предводимых несколькими безумцами... Все решилось к спасению России... известие об окончании ужасного дела, которого конец мог бы быть гибелен для России» (ПСС, т. XII, с. 102, 103) и т. д. «Чего хотела эта шайка разбойников?» — восклицал Жуковский, и вопрос этот был в его устах отнюдь не риторическим: он действительно не имеет представления о целях, а тем более о какой-либо программе руководителей восстания. «Разбойники-возмутители», говорит он, хотели «просто пролития крови и убийства, которого цели понять невозможно. Тут видно удивительно бесцельное зверство. И какой же дух

¹ Жуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., Художественная литература, 1965, с. 30. См. также оценку этого письма Р. В. Иезуитовой в ее статье «Жуковский и декабристы» (Огонек, 1983, № 5, с. 19—20).

² Далее в главе все ссылки на произведения и письма Жуковского, кроме особо оговоренных, даются в тексте. При этом приняты следующие сокращения: ПСС — Жуковский В. А. Полн. собр. соч. Под ред. А. С. Архангельского. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1902; Собр. — Жуковский В. А. Собр. соч. М.—Л., Гослитиздат, 1959—1960. РС — Русская старина, 1902, № 4.

низкий, разбойничий! Какими бандитами они действовали! Даже не видно и фанатизма, а просто зверская жажда крови, безо всякой даже химерической цели» (ПСС, т. XII, с. 104—105).

Жуковский не жалеет бранных слов для характеристики «бунтовщиков». Кюхельбекер, о котором он будет так заботиться на протяжении двух последующих десятилетий, о смягчении участи которого он будет не раз просить, которому будет посылать книги и сочинения которого пытаться напечатать, Кюхельбекер, по характеристике, данной ему в письме к А. И. Тургеневу, «смешон» и «бешен». «Он способен в своем фанатизме отважиться на что-нибудь отчаянное, чтобы приобрести какую-нибудь известность. Это зверь, для которого надобна клетка» (ПСС, т. XII, с. 104). Бестужевы, Одоевский, Рылеев и другие — «мелкая дрянь», «презренные злодеи, которые хотели с такою безумною свирепостью зарезать Россию» (ПСС, т. XII, с. 104).

Но интересно отметить, что течение времени, когда писалось это письмо, состояние и настроенность Жуковского не были неизменны, и в конце послания начинают явственно звучать иные ноты. Жуковский задумывается о том, будет ли «ужасное происшествие» иметь «последствия благотворные». Он вспоминает, что вечером 14 декабря он «думал, как бедственно окровавлен этот торжественный день, какое будущее представляется для России, какая первая минута для нового императора, какое воспоминание для него на целую жизнь, под каким мрачным покровом для него Россия, какая недоверчивость должна вселиться в его сердце! Все было кончено, но утешение не входило в душу. Но на другой день совсем иная мысль. Зачинщики мятежа взяты. День был кровавый; но то, что произвело его, не принадлежит новому царствованию, а должно быть отнесено к старому» (ПСС, т. XII, с. 105). Он как бы стремится подвести черту под происшедшим. Он ждет, что новый царь уверует в «любовь народную», в то, что «на него полагаются, его уважают», что он примет власть над страной «для блага России». «Будем надеяться лучшего», — завершает он свое письмо (ПСС, т. XII, с. 106).

Но «надежды лучшего» оказались беспочвенны. Каждый день, следовавший за трагическими событиями, оставлял все меньше места для иллюзий. Жуковский узнал то, чего он еще не знал 16 декабря: об участии в тайных обществах его близких друзей: братьев Турге-

невых, М. Ф. Орлова, Н. и А. Муравьевых. Отречься от них было для него невыносимым: «...Разве могу,— писал он,— не утратив собственного к себе уважения... жертвовать связями целой моей жизни» (РС, с. 80).

Жуковским овладевают приступы глубокой тоски. Устой, казавшиеся прежде незыблемыми, внезапно заколебались. Здоровье поэта ухудшается. Он близок к отчаянию и все чаще задумывается о смерти. Между тем впереди — важнейшая миссия, от успешного выполнения которой, по его мнению, зависела судьба России: царь поручил Жуковскому воспитание своего сына.

Было время, когда Карамзин, человек, боготворимый Жуковским, пытался своей «Историей государства Российского» наставить на путь истинный Александра I и тем благотворно повлиять на судьбу страны. Теперь Жуковский, получивший возможность воздействия на будущего царя Александра II, надеялся сделать то, чего не смог или не успел сделать его учитель и предшественник. Он готовился свершить свой «подвиг честного человека».

«Я теперь пропал для литературы...— писал Жуковский Вяземскому.— Я принадлежу наследнику России. Эта мысль сияет передо мною, как путеводная звезда. На всю свою жизнь смотрю только в отношении к этой высокой, животворной мысли»¹. Сознание высокой ответственности обострило стремление разобраться в происшедшем, объяснить его, извлечь из него уроки и донести их до сознания человека, которому предстояло занять престол Российской империи. С этими мыслями Жуковский в мае 1826 года уехал за границу. В Дрездене он вместе с А. И. и С. И. Тургеневыми изучает труды по истории революций в Западной Европе и другие работы, позволяющие уяснить закономерности и ведущие тенденции исторических процессов. Многие из читанных тогда книг хранят пометы Жуковского, который настойчиво проводил параллели между событиями западной и русской истории. Порой они весьма красноречивы. «Сопротивление позволено как защита в минуту нападения,— пишет Жуковский.— Оно не может быть позволено как мщение». Действия Николая I на Сенатской

¹ Письмо вписано в дневник А. И. Тургенева после записи от 5 января 1827 г. Цит. по статье А. Н. Веселовского «В. А. Жуковский и А. И. Тургенев в литературных кружках Дрездена (1826—1827 г.)». — Журнал Министерства народного просвещения, 1905, № 5, отд. наук, с. 168.

площади он готов воспринять как «защиту в минуту нападения». Но последующее «мщение» участникам восстания безусловно осуждено. Другая запись свидетельствует о том, что Жуковский приходит к пониманию революции как следствия определенного хода вещей: «Если революции противозаконны как принцип, то они неизбежны и последовательны как факт, который не что иное, как результат предыдущего развития. Что должно, следовательно, быть единственной целью высшей власти? Это сделать революции невозможными. Но это нельзя сделать силой...»¹

Аналогичную мысль высказывает Жуковский и в письме к А. И. Тургеневу от 4(17) декабря 1827 года. «Открытый и великодушный образ действия есть знак и в то же время залог могущества. Меры, предпринимаемые для сохранения спокойствия, по большей части бывают истинною причиною волнений; вместо того, чтобы умиротворить, они возбуждают беспокойство»².

Обширный и показательный материал о размышлениях Жуковского над недавними политическими потрясениями содержат письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Они писались в дни систематического общения Тургенева с Жуковским и буквально пронизаны упоминаниями о поэте. Жуковский, или, как часто именует его А. Тургенев, «Жук», фигурирует едва ли не в каждом письме. Особый интерес представляет письмо А. Тургенева, сохранившее для нас притчу о золоте и голике — одно из первых и немногих произведений Жуковского, прямо проистекающих из его размышлений о выступлениях декабристов и к тому же обойденное вниманием исследователей поэта.

В письме от 21 марта 1827 года А. И. Тургенев писал брату: «Сию минуту принес ко мне для тебя Жуковский сочиненную им басню в прозе, тебе посвященную. Вот копия. Оригинал сохраняю и пришлю к тебе при первом случае.

«Кусок золотой руды лежал в горниле на сильном огне. Голик смотрел на него из угла и так рассуждал сам с собою: «Бедное золото! Жаль мне тебя! Как тебя жгут и мучат. Какому жестокому тирану досталось ты в руки!» Между тем огонь погас и золото вышло чистым

¹ См.: Библиотека В. А. Жуковского в Томске, Изд-во Томского гос. университета, 1978, с. 520.

² Жуковский В. А. Письма к А. И. Тургеневу, М., изд-во «Русский архив», 1895, с. 233.

из горнила». Далее приписано рукою Жуковского: «Из него сделали крест, и люди стали в нем обожать символ спасения!» Глупый голик! Тебе ли судить о золоте! Положи в огонь тебя — затрепишь! разлетишься дымом! и после тебя останется горсточка пепла! А золото? и в самом пылу огня не роптало оно на судьбу свою! Оно верило Тому, кто положил его в горн, знало, что без огня не быть ему чистым, и даже радовалось жгучему пламени, которое возвышало его достоинство. Огонь палит! это правда! но золото должно быть чистым. Кто осмелится сказать, видя его очищенным: жаль, что его клали в горн? Голик может охать, смотря на огонь, потому что он голик! Но тот, кто сам золото, скажет смиренно: огонь на минуту! а чистота навсегда! Золотую руду можно остаться в темном недре земли; но на белом свете надобно быть чистым золотом. Это то же, что сказал один практический мудрец: чистой совести довольно, чтоб умереть; но жить нельзя без достоинства. Посвящено Николаю Ивановичу Тургеневу»¹.

Несмотря на значительные отличия в мироощущении Жуковского, с одной стороны, и декабристов — с другой, они были близки ему, по крайней мере, в двух отношениях. Во-первых, он ценил их безупречную нравственность, он видел в них образец самопожертвования, готовность пострадать за других. Второе — это вражда к крепостному праву. «Ни моя жизнь, ни мои знания, ни мой талант не стремили меня ни к чему политическому, — писал он А. И. Тургеневу. — Но когда же *общее дело* было мне чуждо?»² Общим для него и декабристов было неприятие крепостничества. И в «Записке о Н. И. Тургеневе», продуманном документе, где взвешено каждое слово, Жуковский не утаил от августейшего адресата своей солидарности с исповедуемой Тургеневым «мыслью о необходимости освобождения крестьян». «Он, — писал Жуковский, — хотел просто иметь влияние на мнения, хотел распространить несколько здравых идей и особенно произвести в сочленах своих убеждение в пользу свободы крестьян» (ПСС, т. X, с. 19).

В апреле 1830 года Жуковский принял решение обратиться к царю с просьбой об амнистии уже не для одно-

¹ Тургенев А. И. Письма к Н. И. Тургеневу. Лейпциг, Ф. А. Брокгауз, 1872, с. 19—20.

² Жуковский В. А. Письма к А. И. Тургеневу, с. 229.

го Н. И. Тургенева, но для всех участников восстания. Это было беспрецедентное событие за все годы борьбы, которую вели передовые круги русского общества во имя облегчения участи декабристов, это был подвиг в самом прямом и подлинном значении этого слова. Если записка о Н. И. Тургеневе представляла собой юридический документ, автор которого скрупулезно уяснял меру вины данного лица и ратовал за справедливость в отношении к нему, то апрельское письмо — это политический манифест, итог раздумий о декабризме. Обстоятельства не позволили представить этот манифест царю, но он был создан. Более того, он сохранился в разных редакциях, свидетельствующих о том, как настойчив был Жуковский, предпринимая все новые и новые попытки достичь поставленной им перед собой великой цели. Жуковский думал о декабристах и помогал им всю жизнь — и до создания апрельского письма, и в последующие десятилетия. Но никогда более он не возвысился до выступления, исполненного такого мужества и такой обобщающей силы. Когда он писал это письмо, в нем сложилось то представление о декабризме, которое определяло все его последующие действия.

Напомнив в начале о своем прошлом заступничестве за Н. И. и А. И. Тургеневых, Жуковский пишет: «...Теперь осмеливаюсь сделать более: говорить о других осужденных» (РС, с. 74). В ранней редакции эта фраза звучала еще проникновеннее: «Теперь осмеливаюсь сделать более: сказать о других осужденных то, что давно уже порывается к вам из глубины моего сердца» (РС, с. 74). «...Преступление сих несчастных, — писал поэт царю, — есть преступление политическое, плод заблуждения, произведенного и духом времени, под влиянием которого образовалась их молодость, и войнами, в которые столько пылких, неопытных, невозмужалых умов столкнулись с идеями неуспокоенной Европы, и, смею сказать, самим государем Александром, который с благими намерениями возбудил столько свободных идей и не дал им надлежащего направления» (РС, с. 74—75). Нужно ли говорить о том, в каком противоречии находилось это объяснение причин, приведших к восстанию, с официальной позицией властей!

Для Николая декабристы были «горстию извергов», которые «желали и искали, пользуясь мгновением, исполнить злые замыслы, давно уже составленные... ниспровергнуть престол и отечественные законы, прекра-

титель порядок государственный, ввести безначалие»¹. Жуковский же говорил, что они «не иное что, как жертвы заблуждения», они сами не сознавали, что делали, и исцелены перенесенными несчастиями от былых иллюзий. Декабристов, доказывал Жуковский, нельзя считать «разбойниками», «преступниками, испорченными целою жизнью низких пороков». «...Они жертвы заблуждения, смутившего рассудок, поколебавшего самую волю, но весьма далекого от низости и неизлечимости порока. В других обстоятельствах они были бы гражданами полезными; многими даже могло бы гордиться отечество» (РС, с. 76, 77).

Жуковский и сейчас, как и тогда, когда хлопотал об участии Н. И. Тургенева, мыслит реалистически. Он не просит для декабристов амнистии полной и подлинной, но добивается смягчения их участи. Он хочет видеть их в Сибири не ссыльными преступниками, не жильцами острога, а людьми, которые разработают Сибирь для просвещения, положат в ней «основание общественной образованности». Он пытается апеллировать не только к милосердию, но и к осмотрительности монарха, намекая, что освобожденные декабристы будут представлять меньшую опасность для властей, чем вызывающие сочувствие жертвы произвола. «...Что после них останется, если не изменится судьба их? Кости и гробы. А пока они живы, хотя Россия вообще и забыла о них, все же иногда их печальная участь будет тревожить умы, как страшное сновидение» (РС, с. 78).

Жуковский напоминает Николаю о «первой минуте» его царствования, когда он показал себя «столь достойным» своего назначения. Амнистия декабристам создала бы «другую истинно великую минуту» царствования, когда «мужественный царь» явился бы «ангелом милости». Он вспоминает себя в этот день и свое письмо к А. И. Тургеневу. Тогда он выражал надежду, что «ужасы» могут произвести «последствия благотворные» (ПСС, т. XII, с. 105). Теперь он убеждает царя: «Твори добро постоянное из бедствия минувшего» (РС, с. 79).

Апрельское письмо к Николаю, как уже говорилось, было своеобразным итогом раздумий Жуковского о декабристах. Здесь он с максимальной определенностью, до которой он не поднимался никогда ни до, ни после

¹ Декабристы и тайные общества в России. М., 1906, с. 109, 117.

тех дней, заявил, что декабристы не «разбойники», не «преступники», что их деятельность обусловлена объективными предпосылками, обстоятельствами, временем.

Те мысли, то понимание событий, которые Жуковский выразил в этом письме, зрели, вынашивались на протяжении пятилетия — с 1826 по 1830 год. Раздумья о «происшествии 14 декабря» и судьбах его участников пронизывают все — небогатое в количественном отношении, но значительное по эмоциональной насыщенности — творчество Жуковского тех лет. Искать в этих произведениях прямые аллюзии, намеки на происшедшее, скрытое от ока цензуры изображение декабристов значило бы грубо исказить, огрублять идейный и эмоциональный мир Жуковского. Речь идет о другом. Жуковский второй половины 1820-х годов погружен в мысли о декабристах, и мысли эти не могли не отдаваться гулким эхом в его стихах: и в том, что он переводил, и как переводил, и в темах и в тональности его оригинальных произведений.

В 1827 году Жуковский написал стихотворную притчу «Солнце и Борей». Борей хвалится своей силой и могуществом:

С ревом, свистом я летаю,
Всем верчу, все возмущаю,
Все дрожит передо мной!
Так не я ли царь земной?
И труда не будет много
То на деле доказать!
Хочешь власть мою узнать?
Вот гляди: большой дорогой
Путешественник идет;
Кто скорей с него сорвет
Плащ, которым он накрылся,
Ты иль я?..

(Собр., т. I, с. 372)

Но все усилия Борей, стремящегося в неистовой злобе сорвать с путешественника плащ, оказались тщетны. Солнце же действовало иначе:

И при первом Солнца взгляде,
Оживленный теплотой,
Путешественник по воле
Плащ, ему не нужный боле,
Снял с себя своей рукой.
Солнце весело блеснуло
И сопернику шепнуло:
«Безрассудный мой Борей!
Ты расхвастался напрасно!

Видишь: злобы самовластной
Милость кроткая сильней!»

(Собр., т. I, с. 373)

Можно ли сказать, что в Борее аллегорически изображен Николай I, что этим и объясняется появление в тексте стихотворения слова «царь», что мораль притчи заключала в себе совет властям изменить свое отношение к декабристам и вообще к противникам правительства: «милость кроткая», дескать, вернее приведет к желаемому результату, чем «злоба самовластная»? Нет, конечно. Но можно ли сказать, что между содержанием этого стихотворения и событиями, предшествовавшими его созданию, между ним и раздумьями Жуковского о происшедшем и происходящем не было ничего общего?

А вот другое стихотворение, предположительно датированное 1826 годом, то есть, по-видимому, самое близкое по времени написания к трагедии 14 декабря поэтическое творение Жуковского — вольный перевод из Уланда «Был у меня товарищ».

Был у меня товарищ,
Уж прямо брат родной.
Ударили тревогу,
С ним дружным шагом, в ногу
Пошли мы в жаркий бой.
Вдруг свистнула картеча...
Кого из нас двоих?
Меня промчалось мимо;
А он... лежит родимый,
В крови у ног моих.

(Собр., т. I, с.371) ¹

Было бы нелепо изображать Жуковского, идущего «дружным шагом в ногу» с Рылеевым и Бестужевым «в жаркий бой» на Сенатской площади. Этого не могло случиться. Но случилось иначе. Поэт в состоянии горя и растерянности думает о друзьях, вчерашних собратях по литературе, вдруг выбывших из жизни. Он ощущает пустоту, одиночество. И его тревога, его скорбь, его ропот против жестокости судьбы, его верность идеалам добра и гуманизма выливаются в строки:

В той жизни, друг, сочтемся;
И там, когда сойдемся,
Ты будь мне верный брат.

¹ На зависимость этого стихотворения от событий 1826 г.— «года расправы, казни и ссылки», обращал внимание А. Корнеев. См. его статью «Ты будь мне верный брат». Жуковский и декабристы.— Литературная Россия, 1983, 4 февраля, № 6, с. 17.

С такой силой прозвучавшее здесь слово «брат» будет на протяжении последующих лет переходить из одного произведения Жуковского в другое. Причем переходит не просто слово, но его эмоциональный ореол. Брат — жертва, он гибнет во имя добра, заслужив нашу любовь и память.

С нами был твой чистый брат,
Срок земной его свершился,
Он с землей навек простился,
Он опять на небо взят,
Ты им дан за их утрату,
Твой черед благотворить
И отозванному брату
На земле заменой быть.

(Собр., т. I, с. 376)

Лучших бой похитил ярый!
Вечно памятен нам будь,
Ты, мой брат, ты под удары
Подставлявший твердо грудь...

(Собр., т. II, с. 159)

Самое совершенное творение Жуковского тех лет — баллада «Торжество победителей» (вольный перевод из Шиллера), которая открывала стихотворный отдел альманаха «Северные цветы на 1829 год». Она повествует о торжестве греков, покоривших и разрушивших Троию. Но не торжественно, а горестно звучат строфы Жуковского. Не гимн победе слышится в них, а скорбная тризна по погибшим героям. Пал «град священный», «грудой пепла стал Пергам», «град великий сокрушился». Толпу густую илионских дев и жен ведут в далекий плен.

И с победной песнью дикой
Их сливался тихий стон
По тебе, святой, великий,
Невозвратный Илион.

(Собр., т. II, с. 157)

Победная песнь — дика, тихий стон жертв находит отклик в сердце поэта. Скорбит и Агамемнон, обзирающий полки победителей:

И незапный мрак печали
Отуманил царский взгляд:
Благороднейшие пали..
Мало с ним пойдет назад.

(Собр., т. II, с. 158)

Легкомысленные счастливицы тешат себя верой в справедливость судьбы. Нет, суд богов часто оказывался слеп.

Сколько бодрых жизнь поблѣкла!
Сколько низких рок щадит!
Нет великого Патрокла;
Жив презрительный Терсит.

(Собр., т. II, с. 159) ¹

Для Жуковского не существует или, по крайней мере, не существенна победа одного лагеря над другим. Героизм вызывает его восхищение, гибель героя — скорбь. В балладе прославлено мужество Ахилла:

Слава дней твоих нетлепна;
В песнях будет цвеств она...

Но прославлен и враг Ахилла — Гектор:

Смерть велит умолкнуть злобе
(Диомед провозгласил):
Слава Гектору во гробе!
Он краса Пергама был;
Он за край, где жили деды,
Веледушно пролил кровь;
Победившим — честь победы!
Охранявшему — любовь!

Кто, на суд явясь кровавый,
Славно пал за отчий дом:

¹ Необходимо иметь в виду, что в ряде мест Жуковский заострил мысль Шиллера, ввел определения, отсутствующие в оригинале и усиливающие трагизм и эмоциональное звучание перевода. Стихам Жуковского:

*Благороднейшие пали,
Мало с ним пойдет назад —*

в немецком тексте соответствуют:

Von dem hergeführten Volke
Bracht er wenig nur zurück.

Нет у Шиллера слов «суд... слеп», противопоставления *великого* Патрокла *презрительному* (т. е. достойному презрения, презренному) Терситу:

Wohl dem Glücklichen mag's ziemen,
Ruft Oileus' tapfer Sohn,
Die Regierenden zu rühmen
Auf dem hohen Himmelsthron!
Ohne Wahl verteilt die Gaben,
Ohne Billigkeit das Glück;
Denn Patroklos liegt begraben,
Und Thersites kommt zurück.

См.: Schillers Werke in 5 Bänden, B. 1, Berlin u. Weimar, Aufbau-Verlag, 1965, s. 182—183.

Тот, почтённый и врагом,
Будет жить в преданьях славы.

(Собр., т. II, с. 160)

Торжество победителей преходяще, не вечно и горе побежденных:

Все велькое земное
Разлетается, как дым:
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим...

(Собр., т. II, с. 161)

Неизменны, неподвластны времени лишь нравственные ценности: гуманизм, верность идеалам добра, честности и великодушия.

В «Северных цветах на 1829 год» были помещены и переведенные Жуковским отрывки из «Илиады», где прозвучали те же темы и настроения, которыми пронизано «Торжество победителей». Переводчик имел здесь особенно благоприятные возможности для выражения своих сокровенных мыслей: во-первых, потому, что он переводил не единый, слитный текст Гомера, а сводил отобранные фрагменты из пяти песен, а во-вторых, потому, что они перемежались со стихотворными вставками, написанными самим Жуковским. Темы раздумий поэта те же: мужество и самоотверженность героев, беззаветная верность долгу, а главное — скорбь о потерянном друге. словно в продолжение горестных строф стихотворения «Был у меня товарищ» звучат здесь слова Ахиллеса:

...Какая в том польза, когда потерял я Патрокла,
Друга нежнейшего, милого мне, как сиянье дневное?..

Далеко от любимой отчизны

Пал он, а я не пришел отразить ненавистную гибель.
Что я? Родительских мирных полей суждено не видеть мне;
Жизни Патрокла спасти я не мог; не мог быть защитой
Стольким друзьям благородным...

(ПСС, т. V, с. 41)

Отрывки из «Илиады» составляют органическую часть торжественно-траурной сюиты, навеянной поражением декабристов и прозвучавшей в стихах, которые появились в «Северных цветах на 1829 год».

В отличие от Жуковского, материал, который может быть привлечен для уяснения отношения Тютчева к декабристам, весьма скуден. Здесь в центре нашего внимания — стихотворение «14 декабря 1825 года» (1826). Хотя написано о нем немало, современный исследователь имел основание заметить: «Нельзя сказать, что этому

стихотворению повезло в отечественном литературоведении»¹. Многие авторы акцентировали его «антидекабристскую направленность». Н. Л. Бродский характеризовал его как «стихотворение, полное укоров, неприязни к участникам декабрьского заговора»²; С. Гессен увидел в нем «громы и молнии на их головы»³. По мнению Л. Гроссмана, стихотворение заключало в себе «осуздённые декабристских мучеников, а на светлой ризе тютчевской музыки — единственное тёмное пятно»⁴. Н. К. Пиксанов, цитируя эти стихи, возмущался тем, что Тютчев «ничего другого не нашел сказать... в те месяцы, когда казнили пятерых декабристов, остальных же рассылали по Сибири»⁵. «Возмутительные стихи Тютчева против декабристов,— писал В. Стахов,— глумящиеся над памятью казнённых...— для нас не поэзия, а нечто совершенно противное поэзии, потому и посрамленное жизнью подлинной»⁶. «...Свободомыслие автора этих стихов и весьма относительно, и весьма проблематично,— говорится в статье И. В. Петровой.— Тютчев очень резко говорит о бессмысленности исторического дела декабристов; для него они не жертвы «самовластья», а лишь жертвы собственной «мысли безрассудной»⁷.

Интересно, что подобным образом осмысливали стихотворение Тютчева не только литературоведы, но и поэты. Так, В. Михеев спустя несколько десятилетий адресовал декабристам такие строки:

Увы! неправедным упреком
Вас и поэт не пощадил:
Он в заблуждении высоком
Лишь безрассудство находил.

¹ Лебедев Е. Н. Романтический мир молодого Тютчева.— В кн.: История романтизма в русской литературе. Романтизм в русской литературе 20—30 годов XIX в. (1825—1840). М., Наука, 1979, с. 97.

² Бродский Н. Л. Декабристы в русской художественной литературе.— Каторга и ссылка, 1925, № 8, с. 192.

³ Гессен С. Декабристы перед судом истории. Л.—М., 1926, с. 177.

⁴ Цит. по кн.: История романтизма в русской литературе, с. 97.

⁵ Пиксанов Н. К. Дворянская реакция на декабризм.— В кн.: Звенья, вып. II, М.—Л., Academia, 1933, с. 158.

⁶ Стахов В. О поэтической природе романа.— Звезда, 1963, № 10, с. 201.

⁷ Петрова И. В. Некоторые вопросы мировоззрения Ф. И. Тютчева.— Ученые записки Магнитогорского гос. педагогического института. Кафедра русской и зарубежной литературы, вып. 1. Магнитогорск, 1960, с. 85.

Пусть в заблуждении — об этом
Я не вступаю в поздний спор.
Но оклеветан был поэтом
Немой народа приговор.
Пусть вероломство — я не спору,
Пусть безрассудство — признаю,
Но вероломство — злему горю
Собрать — в задавленном краю;
А безрассудство тех, кто к свету
Пошел, на битву вызвав тьму.
Пятнать презреньем — не поэту
И не народному уму¹.

В. Михеев, к творчеству которого нам предстоит еще вернуться, был поэтом-демократом, он воспитывался на декабристских традициях, сталкиваясь с преследованиями цензуры. Совсем иными были убеждения некоего Александра Тинякова, напечатавшего в 1907 году стихотворение «Революционерам»:

Не вашими кровавыми руками
Престол и храм свободе созидать;
Вы были, суть и будете рабами,
Тюрьмой вы рождены — и умирать
Вам суждено в цепях и за стенами!
Неведома вам страсти благодать,
Дешевой краской выкрашено знамя,
К которому вы мните мир собрать...
Дохнет судьба — и смоет эту краску,
И смерть, сломив кичливое древко,
Сама создаст неожиданную развязку!
Груз ваших дел затонет глубоко,
И поглядит презрительно потомок
На груды ваших нищенских котомок².

Этот вопль озлобленного мещанина, обезумевшего от страха перед революцией и излившего свои чувства в стихах столь же реакционных, сколь и беспомощных, не заслуживал бы упоминания, если бы не одна интересная деталь: в качестве эпиграфа к этому стихотворению А. Тиняков избрал строчки Тютчева:

И ваша память от потомства
Как труп в земле схоронена.

До какой же степени он был убежден, что стихотворение Тютчева антидекабристское, антиреволюционное, если с такой безапелляционностью взял его в союзники!

Неоднократно высказывалась и другая, конечно, более близкая к истине точка зрения, согласно которой

¹ Северный край, 1905, 14 декабря, № 297.

² Орловская речь, 1907, 4 ноября, № 270, с. 3.

Тютчев осуждает декабристов, не солидаризируясь, однако, и с самодержавием. «Либеральное порицание самовластья (полюс вечного холода) сочетается в стихотворении с осуждением восставших...»¹ — утверждала И. А. Битюгова. «Стихотворение это двойственно, — писал Д. Д. Благой. — В нем звучит несомненное осуждение российского «самовластья», сравниваемого с «вечным полюсом», с «железной зимой», звучит и эмоциональное сочувствие декабристам, пожертвовавшим жизнью за «безрассудную» попытку борьбы с самодержавием». Вместе с тем «Тютчев произносит в своем стихотворении и глубоко несправедливый обвинительный приговор декабристам, опираясь в этом якобы на суд самого народа»². «К осужденным у поэта не нашлось слова сочувствия, — утверждает К. В. Пигарев. — Но вместе с тем он был далек и от апологии торжествующего самодержавия». Вина декабристов «оправдывается и смягчается виной самовластья. Но самовластье же и поразило декабристов своим карающим «мечом», и в этом оно по своему праву, ибо на его стороне «закон». Исследователь видит в этом стихотворении «бесповоротное осуждение декабристов, «безрассудно» отважившихся на заранее обреченное дело и ставших «жертвой» своего безрассудства»³.

Своеобразие позиции Тютчева, которую большинство исследователей лишь констатировало, попытался объяснить Г. И. Чулков. По его мнению, «в петербургской монархии он (Тютчев. — Л. Ф.) усматривал тот же духовный ущерб, который пугал его в революции... Политические формы сами по себе мертвы; они оживают и приобретают значительность в зависимости от их религиозно-культурного содержания; монархия может быть так же безбожна, как и революция; политика сама в себе не заключает положительного критерия»⁴.

Если в стихотворении Тютчева и можно усмотреть осуждение декабристов, то осуждены не их идеалы, не цели, которые они ставили перед собой, а отсутствие

¹ Битюгова И. А. «Декабристская» тема в русской литературе XIX века (20—70-е годы), с. 4.

² Благой Д. Д. Литература и действительность. М., Гослитиздат, 1959, с. 432—433.

³ Пигарев К. В. Ф. И. Тютчев и его время. М., Современник, 1978, с. 44—46.

⁴ Чулков Г. И. Стихотворение Тютчева «14 декабря 1825 года». — Урация. Тютчевский альманах, 1803—1928. Л., Прибой, 1928, с. 76, 78.

у них политического реализма, правильного представления о соотношении сил противоборствующих сторон. Это осуждение энтузиазма с позиций скептицизма. Но скептическое отношение к возможности «растопить «вековую громаду льдов» вовсе не включало в себя сочувствия ей. Нимало не удивительно, что летом 1825 года М. П. Погодин слышал от Тютчева: «В России канцелярия и казармы. Все движется около кнута и чина»¹.

Скептицизм сочетается с оппозиционностью и не только у Тютчева. «Оппозиция — у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: она может быть домашним рукоделием про себя или в честь своих пенатов, если набожная душа отречется от нее не может, но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа». Это писал человек, оппозиционность настроений которого в 1825 году вряд ли кто-нибудь взял бы под сомнение, за которым укрепилась репутация «декабриста без декабря» — П. А. Вяземский².

В марте 1826 года, когда участники восстания томились в застенках Петропавловской крепости, Вяземский горячо убеждал Жуковского именно в том, что их «развратило самовластье», что политика правительства и привела к появлению «мыслей безрассудных»: «Я охотно верю, что ужаснейшие злодейства, безрассуднейшие замыслы должны рождаться в головах людей, насильственно и мучительно задержанных. Разве наше положение не насильственное? Разве не согнуты мы в крюк? Откройте не безграничное, но просторное поприще для деятельности ума, и ему не нужно будет бросаться в заговоры, чтобы восстановить в себе свободное кровообращение, без коего делаются в нем судороги». Приводя эти слова, Н. К. Пиксанов писал: «Я не знаю других дворянских заявлений 1826 года, равных этому письму Вяземского по твердости и убежденности. По этому письму... Вяземского следует считать непризнанным декабристом»³. Но он не заметил сходства этих рассуждений с направлением, в котором продвигалась мысль безапелляционно отринутого им Тютчева.

Тютчев винил декабристов за «безрассудную» недо-

¹ Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.—Л., Academia, 1933, с. 21.

² См.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. XIII. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937, с. 222. Далее ссылки на это издание (т. I—XVII) даются в тексте указанием тома и страницы.

³ Звенья, вып. II, 1933, с. 147.

оценку неизмеримых сил правительства. Им не на что было рассчитывать:

Зима железная дохнула —
И не осталось и следов¹.

Вяземский едва ли не теми же словами объяснял Пушкину в письме от 28 августа — 6 сентября 1825 года, что тот сам «частью виноват в обрушившихся на него репрессиях: «Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом. Мороз сделал свое, вот и все!» (т. XIII, с. 221).

«Вас развратило самовластье» — уже этим первым стихом Тютчев показывает, что, не солидаризируясь ни с восставшими, ни с правительством, он все же относится к ним по-разному. Вина декабристов — следствие тех качеств, которые сложились под тлетворным влиянием верхов. Таким образом, на самовластье лежит ответственность за осуждаемые Тютчевым действия восставших. Закон, покаравший декабристов, неподкупен и беспристрастен, но самовластье осуждено. Не за то, что меч его поразил декабристов, а за то, что оно их развратило, толкнуло на вероломство.

Не стремление к свободе, не упование «вечный плюс растопить» осуждает поэт. Вспомним стихи «К оде Пушкина на вольность» (1820), славящие поэта, который, «огнем свободы пламеня и заглушая звук цепей», породил своей лирой искры, которые, «как пламень божий, ниспадали на чела бледные царей»,

Счастливы, кто гласом твердым, смелым,
Забыв их сан, забыв их трон,
Вещать тиранам закоснелым
Святые истины рожден!

(с. 238)

Тютчев верит, что тираны «закоснели» все же не окончательно, и «силой сладкогласья» можно превратить «друзей холодных самовластья» в друзей добра и красоты. Но, ясно дав понять, что самовластье антипод добра и справедливости, Тютчев все же советует Пушкину «граждан не смущать покою и блеска не мрачить венца», «смягчать, а не тревожить сердца».

Неверие в успех совершаемых насильственным путем общественных преобразований должно было много-

¹ Тютчев Ф. И. Соч. в 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1984, с. 263. Далее в главе ссылки на стихи Тютчева, кроме случаев, особо оговоренных, даются в тексте указанием страницы 1-го тома этого изд.

кратно укрепиться в Тютчеве под влиянием событий, происшедших в последующее пятилетие. Революционные выступления в Италии, Германии, Испании потерпели поражение. Живший в те годы в Европе Тютчев был очевидцем этих событий. Иллюзии, которые он мог питать в 1820 году, к 1826-му были уже, по-видимому, в прошлом.

Стихотворение «14 декабря 1825 года» неоднократно сопоставлялось с поэтическим откликом Тютчева на поражение польского восстания — «Как дочь родную на закланье...». «Такую же двойственность находим и в стихотворении Тютчева, написанном пять лет спустя в связи с польским восстанием»¹, — считает Д. Д. Благой. «Столь же внутренне противоречивый характер носит и стихотворный отклик Тютчева на подавление польского восстания»², — соглашается с этим К. В. Пигарев.

В проблематике обоих произведений действительно есть общие черты. Но при некотором их внешнем сходстве они глубоко различны, и это различие не обращало на себя достаточного внимания исследователей Тютчева. Между тем оно касается самой сути дела — авторской позиции в отношении описываемых событий. Декабристов покарало самовластье («меч его вас поразил»), «самовластье», вызывающее у Тютчева нескрываемую неприязнь. «Народ», который счел восстание декабристов «вероломством», «поносит» их имена. Поэт ни словом не солидаризируется с этими действиями. Он не причастен ни к каре, ни к поношению. Он, как совершенно верно отметил Г. И. Чулков, «зритель исторической трагедии»³.

В стихах «Как дочь родную на закланье...» поэт далеко не «зритель» и позиция его однозначна. Он сторонник и участник расправы над повстанцами. Самовластье решительно и резко отодвинуто в сторону — «не за коран самодержавья кровь русская лилась рекой!». «Это мы над горестной Варшавой удар свершили роковой». «Прочь от нас венец бесславья...» «...Нас одушевляло в бое не чревобесие меча».

Сие-то высшее сознанье
Вело наш доблестный народ.
Путей небесных оправданье
Он смело на себя берет.

¹ Благой Д. Д. Литература и действительность, с. 433.

² Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. М., Изд-во АН СССР, 1962, с. 46.

³ Чулков Г. И. Стихотворение Тютчева «14 декабря 1825 года», с. 73.

Он чует над своей главой
Звезду в незримой высоте
И неуклонно за звездою
Спешит к таинственной мете! ¹

Подавление восстания, таким образом, полностью оправдано государственными интересами. «Гроза спасительная» необходима, чтобы «державы целость соблюсти».

Но каковы бы ни были точки соприкосновения и отличия интересующего нас стихотворения Тютчева от стихов, написанных по поводу подавления польского восстания, особенно важно акцентировать другое: укоренившаяся привычка рассматривать «14 декабря 1825 года» лишь в контексте стихотворений Тютчева на политические темы ведет к неточным, чтобы не сказать неверным его толкованиям, а порою и к прямой недооценке этого произведения. Такая недооценка проникла даже в блестящую статью Н. Я. Берковского, принадлежащую к лучшему, что когда-либо написано о Тютчеве. «Нас не должны смущать непосредственные политические высказывания Тютчева, холодные и вялые слова, написанные им по поводу «Вольности» Пушкина, едва ли дружелюбные строки, обращенные им к декабристам, — писал исследователь. — Тут перед нами не весь Тютчев, не самый беспорный. Тут больше биографии Тютчева, чем поэзии его» ².

Думается, что дело обстоит не так. Здесь перед нами самый беспорный и подлинный Тютчев, здесь сказано самое органичное и сокровенное, что было в его поэзии. Здесь — на нехарактерном для себя материале — Тютчев обнажил трагический конфликт между субъективным стремлением и невозможностью воплотить его в жизнь, конфликт, на котором строятся многие шедевры его лирики.

Ива склонилась над водой и «дрожащими листьями, словно жадными устами, ловит беглую струю». Тщетно! «Хоть томится, хоть трепещет каждый лист твой над струей» (с. 81), она бежит мимо и смеется над бесплодным и неосуществимым стремлением ивы к желанной влаге. Тщетно стремление сердца высказать себя. Чувства, мечты, таинственно-волшебные думы обречены таиться в душевной глубине: «Их оглушит наружный шум,

¹ Тютчев Ф. И. Соч. в 2-х томах, т. 1. М., Правда, 1980, с. 70.

² Берковский Н. Я. Ф. И. Тютчев. — В кн.: Тютчев Ф. И. Стихотворения. М.—Л., Советский писатель, 1962, с. 20—21.

дневные разгоня́т лучи. Внимай их пенью — и молчи!..»
(с. 61).

Тщетно станет человек завидовать свободному полету коршуна, который взвился высоко к небу:

Природа-мать ему дала
Два мощных, два живых крыла —
А я здесь в поте и в пыли,
Я, царь земли, прирос к земле.

(с. 92)

Тщетно рвется ввысь струя сияющего фонтана:

Лучом, поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.

(с. 99)

Такова и участь «смертной мысли»: тщетно она рвется к небу. «Длань незримо роковая» кладет предел ее стремлениям, преломляет и свергает с высоты ее упорный луч.

Именно эта убежденность в тщетности всех людских устремлений воплотилась в горьких строках «Бессонницы»:

Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый Рок настиг —
И мы, в борьбе, природой целой
Покинуты на нас самих.

(с. 41)

Она же лежит в основе поэтического отклика Тютчева на поражение декабристов. Она продиктовала осуждающие строфы, обращенные к тем, кто не отдал себе отчета в «неотразимости» Рока, кто восстал против Закона, обрешшего на гибель «жертв мысли безрассудной».

Очевидно, что коллизия человеческих стремлений и всеильной судьбы, убежденность в бессилии человека перед исконным несовершенством мироустройства — одна из сквозных идей Тютчева, определяющих самое существо его философии и поэзии. Но Тютчев не был бы самим собой, если бы его творчество было замкнуто лишь рамками этой коллизии. Тютчев противоречив и многомерен. «Два голоса» (1850) — это не только название одного из его стихотворений. Два голоса, один из которых заключает призыв к смирению, а другой — бунтарское начало, звучали во всей его поэзии и всей его деятельности.

И нельзя не вспомнить, что через четверть века после того укора, который Тютчев бросил безрассудству смельчаков, надеявшихся растопить вечный полюс пламенем своей крови, в поэзии его прозвучал другой голос:

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.

Пушкай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто ратуя пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

(с. 142)

* * *

Обширный материал по интересующей нас теме содержат стихи о декабризме и декабристах, которые создавали на каторге и в ссылке сами участники восстания.

Большинство членов тайных обществ отдавало себе отчет в том, что их выступление против царизма было событием большого значения, и не раз пытались объяснить побудительные мотивы и смысл своих действий. Первые попытки сделать это предпринимались уже в показаниях, которые узники Петропавловской крепости давали следственной комиссии, в их обращениях к царю.

В казематах, в сибирских рудниках стали создаваться мемуары, авторы которых стремятся выявить закономерность возникновения дворянского революционного движения, уяснить его корни, разобраться в том, почему оно потерпело неудачу и что оставило потомкам. В исторических трудах М. С. Лунина, в его «Взгляде на русское тайное общество с 1816 до 1826 года», в «Разборе донесения тайной следственной комиссии», написанном им совместно с Никитой Муравьевым, в ряде других работ декабристы разоблачали лживость и предвзятость правительственной концепции происшедшего, воскрешали истину о намерениях и действиях тех, кто вышел 14 декабря на Сенатскую площадь. В этом широком контексте нужно рассматривать и стихи декабристов, посвященные восстанию 1825 года и его участникам.

Член Северного и Южного тайных обществ, убежденный республиканец Ф. Ф. Вадковский, человек разносторонних дарований: поэт, композитор, музыкант, ма-

тематик, — написал на каторге стихотворение «Желания». Он рассказал в предельно доступной форме, к чему стремились декабристы, раскрыл, что включала в себя их программа, которую царизм всеми силами стремился утаить. Он показал, что «желания» декабристов в том и состояли, чтобы удовлетворить насущные потребности народа: уничтожить крепостной гнет, сократить сроки солдатской службы, покончить с телесными наказаниями, освободить слово от цензуры, ввести представительное правление.

Вот за что хотели мы нашу кровь пролить:
Чтобы кровию той волюшку тебе купить,
Чтобы на Руси цепь народа разорвать,
Чтоб солдатшкам в службе век не вековать,
Чтоб везде и всем одинаковый был суд
И чтобы никто больше не слышал про кнут...¹

Поэты-декабристы были людьми разных судеб, разного психического склада. Одни оставались неколебимо верны идеалам своей юности, другие переоценили начало своего пути, взглянули новыми глазами на смысл и значение своих действий. Иные ощущали душевный надлом, не избегали приступов слабости и даже покаянных срывов. Нужно уловить все многообразие оттенков, отразившее особенности биографий разных поэтов, и тех взглядов, к которым они пришли в конце жизни. И тогда, сквозь это многообразие, увидится и общее, то, что позволяет говорить о близости, глубинном единстве стихов, посвященных этой теме разными поэтами.

Попытку разобраться в них естественно начать со стихов В. Ф. Раевского. Традиция закрепила за этим человеком имя «первого декабриста». Действительно, Раевский раньше большинства членов тайных обществ вступил на путь революционной пропаганды, писал стихи, выражавшие гневный протест против существующих порядков, создал непревзойденные образцы декабристской публицистики — «О рабстве крестьян», «О солдате». И арестован он был задолго до Рыльева и Кюхельбекера — в феврале 1822 года. Его «тюремные» стихи писались за три с лишним года до восстания на Сенатской площади. Уже тогда жизнь побудила его бросить взгляд на свою прошлую деятельность, оценить ее. Оценка Раевского была непреклонной. Он имел основания сказать, что судьбу свою «сурову» «с терпением мра-

¹ Поэзия декабристов. Л., Советский писатель, 1950, с. 700.

морным сносил, нигде себе не изменил»¹. В стихах, обращенных из тираспольской темницы к друзьям в Кишинев, звучит голос не подсудимого, но грозного судьи. Он клеймит «бессовестное чело» «черного трибунала», который не ищет «правды обнаженной», в глазах которого закон «есть дерзновенный звук и мертвый». Он обличает порядки, царящие в стране,

Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, на плаху...²

Впереди был суд, приговоривший Раевского к смертной казни, замена этого приговора тюремным заключением, годы, проведенные в одиночных камерах Петропавловской крепости и польской крепости Замостье, ссылка в Сибирь, где Раевский прожил свыше сорока лет.

Там, в селе Олонки, близ Иркутска, через четверть века после послания «К друзьям в Кишинев» (1822) Раевский создал одно из самых сильных, самых выстраданных произведений декабристской ссылки — стихотворение «Мой милый друг, твой час пробил...», известное под названием «К дочери» (1848). Обращенное к старшей дочери Раевского и приуроченное к ее замужеству, оно имеет, конечно, и более широкий адрес — это обращение к молодому поколению, которое должно верно оценить сделанное отцами, сберечь и продолжать их дело.

Возвращаясь памятью к тем дням, когда он ступил на путь борьбы, Раевский видит теперь несопоставимость своих сил с теми, которые он чаял сокрушить: «Я... пустил чрез океан безбрежный челнок мой к цели роковой». Он «боролся долго» «с разъяренными волнами». Он

...смело верил в провиденье;
Но гром ударил в тишине...
Как будто бы в ужасном сне
На бреге диком и бесплодном,
Почти безлюдном и холодном,
Борьбой измученный пловец
Себя увидел, как пришлец
Другого мира.

Но поверженный борец, осужденный нести свой крест

¹ Раевский В. Ф. Полн. собр. стихотворений. М.—Л., Советский писатель, 1967, с. 154.

² Там же, с. 155.

«в молчаньи рабском», не признает справедливости обрушившейся на него кары. Его судьи отвратительны с их «смехом торжественным», «предательскими» вопросами. «Их лица мрачнее стен моей темницы».

И вот теперь, ослабленный многолетним заключением, болезнями, разочарованием, «мученик святой» спрашивает, что осталось в его измученной душе «от пламенных страстей, надежд, возвышенных мечтаний». И отвечает:

Вера в провиденье,
Познанье верное людей,
Жизнь без желаний, без страстей,
В болезнях сила и терпенье,
Все та же воля, как закон,
Давно прошедшего забвенье
И над могилой сладкий сон!

Здесь особенно важна «вера в провиденье», которая явственно перекликается с рассказом о том, каким молодой вольнолюбвец вступил когда-то в борьбу «с бурей и грозой и с разъяренными волнами». Он «смело верил в провиденье». Годы борьбы, поражений, разочарований изменили его, подтолкнули на переоценку ценностей, обострили духовное зрение, но не заставили отречься от той веры, которая когда-то вела его в неравный бой. Она живет в нем и ныне.

Вряд ли нужно оговаривать, что слова «вера в провиденье» не должны пониматься лишь в узком, буквальном смысле. Перед нами емкий эвфемизм, обозначающий веру в высокое, прославление самоотверженности. Признав, что он не видел «награды за терпенье» и «цели... желанной не достиг», узник не отрекается от прошлого и со сдержанной гордостью вспоминает о том, что

Странника везде одушевлял
Высоких дум, страстей заветный пламень.

Эпитет «высокий» — один из наиболее распространенных компонентов декабристского словаря — будет в дальнейшем повторен неоднократно: «гореть к высокому любовью», «достигнуть высокие тайны». Глядя в прошлое, поэт не обходит молчанием и «прежние ошибки», но видит свое оправдание в верности избранного им пути:

Не для себя я в этом мире жил...
Не падаю, иду вперед с надеждой,
Что жизнь тревожной и мятежной
Я нашу жизнь и счастье оплатил...

Он завещает дочери, а с ней — молодому поколению жалеть людей, уметь прощать им слабости и заблуждения.

...не карай судом и приговором
Ошибки их. Ты знаешь, кто виной,
Кто их сковал железною рукой
И заклеил и рабством и позором¹.

Он вновь обвиняет несправедливую, уродующую человека власть. Его заветы — заветы человека, умудренного горьким опытом, но не сломленного. Он зовет новых людей на святой подвиг, на то, чтоб идти по жизни «поросшей стезей», не надеясь на пышные хвалы, и этот призыв, в сущности, заключает в себе пожелание, чтобы они жили и боролись так же самоотверженно, так же не ждали награды за принесенные жертвы, как это делали в свое время и их отцы.

Наряду с Раевским к декабристам старшего поколения принадлежал Федор Глинка. Судьбы их сложились по-разному. Арестованный после восстания 14 декабря, Глинка сравнительно недолго пробыл в заключении, а затем жил в Петрозаводске под надзором полиции. Как установил В. Г. Базанов, в каземате Петропавловской крепости у Глинки сложился замысел одного из самых популярных его стихотворений — «Песнь узника»². Если в 1830-х годах тема «узничества» вообще ассоциировалась с судьбами декабристов, то к стихотворению Глинки это относится в наибольшей степени.

Современники увидели в узнике образ декабриста, сломленного заключением и обращающего к царю мольбы о пощаде. Распространяя стихотворение, они, как это нередко случалось с произведениями вольной поэзии, «подправляли» его в желательном для себя духе и опускали строки, адресованные Николаю³. Но если прочесть их в контексте всей песни, то они приобретают смысл, который ускользал и от читателей, и от исследователей Глинки.

О русский царь! в твоей короне
Есть драгоценнейший алмаз;
Он значит: милость есть на троне...
О русский царь, помилуй нас!

¹ Раевский В. Ф. Полн. собр. стихотворений, с. 180—183.

² См.: Глинка Ф. Н. Избр. Петрозаводск, 1949, с. 429.

³ См. текст, опубликованный в сборнике «Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века». Л., Советский писатель, 1970, с. 387, а также примечание С. А. Рейсера на с. 820.

И ночь прошла; с рассветом ясным
За ней день новый воссиял;
А бедный узник в каземате
Все ту же песню повторял¹.

Тщетны оказались надежды на царя. Алмаз-то, как выяснилось, не такой драгоценный, как думал несчастный узник. Действительность опровергает его надежды: милости на троне нет.

Шли годы, и с течением времени Глинка все более переходил на консервативные общественно-политические позиции. Но память о декабристах навсегда оставалась для него свята. И в этом отношении показательны написанные в 1856 году «Стихи о бывшем Семеновском полку», в которых дала себя знать гордость Глинки своим декабристским прошлым.

Особенно сложным, изменчивым было осмысление событий 1825 года в творчестве Кюхельбекера. В 1827 году в камере Шлиссельбургской крепости он написал стихотворение «Тень Рылеева», самое раннее из дошедших до нас произведений, созданных им после разгрома восстания. В первых его строках обрисован сам Кюхельбекер — человек, сохранивший верность тем идеалам, за которые боролся. Он и здесь — «поклонник пламенной свободы». Он в заключении, но свободен духом: его «думы» — «вольные». Воспоминания о прежних днях прерываются появлением образа, «узнику знакомого», образа Рылеева. Казненный год назад вождь Северного общества несет своему товарищу по борьбе привет

Из области, где нет тиранов,
Где вечен мир, где вечен свет,
Где нет ни бури, ни туманов.
Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
Счастливец, я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью!
И ты — я знаю — пламенел
К отчизне чистою любовью.

Рылеев пришел, чтобы помочь своему другу заглянуть в будущее и проникнуться верой в него. Прежде поэт, лежавший «на узничьем одре», считал, что «не придут обратно дни былые://Прошла пора надежд и снов». Нет, говорит ему Рылеев,

Поверь: не жертвовал ты снам,
Надеждам будет исполненье!

¹ Глинка Ф. Н. Избр., с. 120.

И это чудесное пророчество сбывается: раздвигаются тюремные стены, исчезают затворы, и восторженный певец видит исполнение той великой цели, во имя которой пожертвовали собою герои 14 декабря:

На Русь святой
Свобода, счастье и покой!¹

Стихотворению Кюхельбекера принадлежит свое и значительное место в декабристской поэзии. В нем па-шел сильное и правдивое воплощение образ Рылеева, бестрепетного борца, погибшего смертью мученика и оставшегося в глазах потомства высоким символом самоотверженности, беззаветной преданности делу освобождения родины. В нем — вера в то, что борьба, которую вели Рылеев и Кюхельбекер, не была напрасной, что «темницы рухнут» и свобода будет уделом новых поколений.

Судьбы участников восстания, оказавшихся в застенке после разгрома, складывались по-разному. Неодинаковой была тяжесть кары, которую обрушил николаевский режим на своих поверженных противников. Неодинаковой была и сила сопротивления этой каре. Участь Кюхельбекера оказалась из самых тяжелых. К нему с момента разгрома восстания и до последнего дня было приковано мстительное внимание самодержца.

После заключения в Шлиссельбургской и Динабургской крепостях Кюхельбекера с фельдъегерем отправили в Баргузин. Тяжкий физический труд, которым ему пришлось заниматься, был ему не под силу и окончательно подорвал его здоровье. У него прогрессировал туберкулез. К осени 1845 года он ослеп. И наконец, на стол царя лег «всепопданнейший доклад» шефа жандармов А. Ф. Орлова, где сообщалось, что «поселенный в Курганском округе Тобольской губернии государственный преступник Вильгельм Кюхельбекер 11 числа Августа умер». На полях этого документа, сохранившегося в фондах III Отделения, рукой Дубельта написано: «Его величество изволил читать 4 сен. 1846»².

За два десятилетия, проведенные в застенке и ссылке, упадок физических и духовных сил не раз давал

¹ Кюхельбекер В. К. Избр. произведения в 2-х томах, т. 1. М.—Л., Советский писатель, 1967, с. 211—212. Курсив мой. — Л. Ф.

² Литературное наследство, т. 59. Декабристы-литераторы, т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 475.

себя знать. Следы этого упадка хранят и стихи Кюхельбекера. В стихотворении «19 октября 1828 года» поэт бросил в свое прошлое взгляд, полный печали и безнадежности:

Какой волшебною одеждой
Блистал пред нами мир земной!
С каким огнем, с какой надеждой,
С какою детской слепотой
Мы с жизнью вступали в бой.
Но вскоре изменила сила,
И вскоре наш огонь погас;
Покинула надежда нас,
И жизнь отважных победила!¹

Еще большая мера душевной слабости сказалась в стихотворении «На новый год» (1831). Кюхельбекер вернулся мыслью к событиям 14 декабря, ко дню,

когда ужасным, общим потопленьем
Вдруг были сорваны и в даль увлечены
Все, все мои златые сны,
Мои надежды и мечтанья
Все алчной бездною поглощены
И самые желанья
В растерзанной моей груди задушены
Рукою холодной страданья...

Вернулся — для чего? Чтоб прославить Николая I, которого он называет «наследником юным» «венца и доблести Петра»:

Но мужа, кто тогда неколебим,
Когда падут, как дождь, перуны
И расступается земля пред ним,—
Такого мужа да прославят струны!²

Упомянутый в конце стихотворения «дерзостный мятеж», поставленный вместе с «бледным мором» — холерой в ряд бедствий, от которых поэт хотел бы уберечь отечество,— это характеристика не только польского восстания, но и выступления декабристов.

Покаянные настроения сказались и в других стихотворениях начала 1830-х годов.

Не презри твоего созданья;
Твое творенье я, творец!
Нечистые мои мечтанья
Сорви, исторгни, как волнец;

¹ Кюхельбекер В. К. Избр. произведения в 2-х томах, т. 1, с. 214.

² Там же, с. 230.

Низвергни в море преступленья
Грех буйной юности моей;
Даруй мне тихие моления;
Очисти взор моих очей! —

воскликает он в «Молитве». А в «Молитве узника»:

Боже мой! тяжки мои преступленья,
Мэрила нет моим тяжким делам...¹

Читая эти строки, можно подумать, что Кюхельбекер был безнадежно сломлен и склонен бесконечными покаяниями искупать «преступления» своей молодости. Но это не так. Он сохранил способность Антея испытывать прилив новых сил, прикасаясь к Земле. Такой Землей была для него поэзия. Когда он обращался к поэзии, когда мыслил себя поэтом, сама его участь представлялась ему иной.

Предел безмолвный, темный уголок,
Немая пристань, где наставник — рок,
Спасительный, но в строгость облеченный,
Назначил мне приют уединенный, —
Святыней будь сегодня для меня!
Я ныне полон чистого огня:
Объемлет горный пламень грудь поэта...

«Безмолвный уголок», «спасительный» «наставник-рок», «приют уединенный», ставший святыней, — эти мирные перифразы так далеки от реальности, окружавшей узника Кюхельбекера, они пришли в его стихи из мирных «сельских элегий», воспевавших благость уединения. Но нет в этих словах смирения с неволей, они воспевают то внутреннее освобождение, которое дарит поэту «чистый огонь» его высокого искусства. Полный этого огня, поэт чувствует себя выше, свободнее и счастливее тех, кто обладает бранными благами мира, своих гонителей и палачей:

Пусть упиваются любимцы счастья
Отравой земною сладострастья...
Они умрут, и сложет червь их кости,
Имен их не помянут даже гости,
Участники распутных их пиров:
Я узник, но мой жребий не таков.

Крылатые создания души спасут их творца от забвенья:

¹ Кюхельбекер В. К. Избр. произведения, в 2-х томах, т. 1, с. 288.

...Тот, на чьем челе печать избранья,
Тот и в далеких будет жить веках;
Не весь истлею я: с очей потомства
Спадет покров мгновенной слепоты
И стихнет гул вражды и вероломства.
Умолкнет злоба черной клеветы,
Забудут заблужденья человека,
Но вспомнят чистый глас певца...¹

Сознание своей высокой миссии, вера в то, что грядущие поколения не будут «слепы», подобно современникам, ведет к тому, что Кюхельбекер бросает своим гонителям слова гневного обвинения. Не правый суд обрек поэта на его нынешнюю участь, а «гул вражды и вероломства», «злоба черной клеветы». Называет ли Кюхельбекер «заблужденьями человека» свое решение выйти на Сенатскую площадь? Трудно сказать, но если и так, слава «чистый глас певца», он славит поэта-вольнолюбца, поэта-трибуна. В полете поэзии для Кюхельбекера всегда крылось бунтарское начало:

В поэтов верует народ,
Мгновенный обладатель трона,
Царь не поставлен выше их
В потомстве Нерона клеймит бесстрашный стих!²

Как и в поэтических декларациях начала 1820-х годов, Кюхельбекер воскрешает имена своих великих предшественников: «божественного изгнанника» Данте, «бессмертного труженика» Тасса, страдальца Камюэнса:

Вы образцы мои, вы мне пример.
Мне бед путем ко славе предлетели,
Я бед путем стремлюся к той же цели.
Не плача же достоин жребий мой:
Я на земле, в тюрьме я только телом,
Но дух в полете радостном и смелом
Горе несется, за предел земной³.

Как не вспомнить здесь стихотворение «Поэты» (1820), которым Кюхельбекер откликнулся когда-то на ссылку Пушкина. Укрепляя в «певце Руслана» веру в грядущее торжество над «шипеньем змей», «криком филина и врана», он вспоминал участь Мильтона, Озерова, Тасса, для которых «земная жизнь» была «полна и скорбей и отравы», которые «в дальний храм безвестной славы//Тернистою дорогой шли».

¹ Кюхельбекер В. К. Избр. произведения в 2-х томах, т. 1, с. 248—249.

² Там же, с. 150.

³ Там же, с. 249.

В 1823 году в стихотворении «Участь поэтов» Кюхельбекер клеймит «сонм глушцов бездушных и счастливых», по вине которых страдают поэты: «мрут с голоду Камознс и Костров; Шихматова бесчестит осмеянье».

Потомство вспомнит их бессмертную обиду
И призовет на прах их Немезиду!¹

А два десятилетия спустя в стихотворении «Участь русских поэтов» Кюхельбекер зовет Немезиду на прах поэтов дворянской революционности, жертв царизма. И первый из них Рылеев, вновь прославленный как борец за свободу:

Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был влюблен...
Стянула петля дерзостную выю.

Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной оболщенье мечтою,
Пожалися годиною роковою...²

Пушкин, чьему «священному челу» шлет пулю «рука любовников презренных», Грибоедов, «чей блестящий перунами полет сияньем облил бы страну родную» и кто был разорван на части «чернью глухой», сам Кюхельбекер, брошенный «в черную тюрьму», в «мороз безнадежной ссылки».

За полгода до смерти Кюхельбекер вписал в дневник стихотворение «На смерть Якубовича» (1846), оно посвящено декабристу Александру Якубовичу, скончавшемуся в ссылке в Енисейске. При жизни Кюхельбекер и Якубович не любили друг друга и даже враждовали, но сейчас, когда этого человека не стало, Кюхельбекер сказал о другом — о том, что роднило их, что он горд их общей принадлежностью к той славной когорте, которую составили лучшие люди своего времени.

Он был из первых в стае той орлиной,
Которой ведь и я принадлежал...
Тут нас, исторгнутых одной судьбиной,
Умчал в тюрьму и ссылку тот же вал...³

Кюхельбекер не избегал ни приступов слабости, ни покаянных срывов — мы не пытались утаить их или умалить их значение. Но тем дороже выстраданный итог,

¹ Кюхельбекер В. К. Избр. произведения в 2-х томах, т. 1, с. 185.

² Там же, с. 314.

³ Там же, с. 316.

к которому пришел умирающий в нечеловеческих физических и моральных страданиях слепой поэт. Не поверженной жертвой видел он себя, а одним из орлиной стаи — и с этим чувством ушел из жизни...

Верность героическому прошлому, вера в идеалы добра и торжество справедливости проходит красной нитью сквозь тюремную лирику декабристов. Но с наибольшей силой и выразительностью они сказались в творчестве А. И. Одоевского. В стихотворении «Воскресенье», самом раннем из написанных после ареста и дошедших до нас (18 апреля 1826 г., Петропавловская крепость), поэт видит себя «забытым в тюрьме», но воспевающим «и славу вышнего, и на земле спасенье». «Из гроба пел я воскресенье»¹, — говорит он. В конце 1826 или начале 1827 года было написано стихотворение «Сон поэта»:

В темнице есть певец народный.
Но — не поет для суеты:
Срывает он душой свободной
Небес бессмертные цветы.

Он не ищет ни венца, ни обольщающих похвал, но он призывает почтить

...сон его священный
Как пред борьбою сон борца².

Нередко мысль о конечном торжестве исторического дела декабристов выражалась Одоевским аллегорически, на материале исторических сюжетов. В стихотворении «Тризна» (1828), опубликованном без подписи автора в «Северных цветах на 1831 год», воскрешены события IX века, когда норвежские князья потерпели поражение при Хафрсфьуре. Скорбно и твердо звучат слова Скальда:

Утешьтесь! За павших ваш меч отомстит.
И где б ни потухнул наш пламенный жизни,
Пусть доблестный дух до могилы кипит,
Как чаша заздравная в память отчизны³.

В поэзии Одоевского нашла глубокое и сильное выражение вера в торжество идеалов, за которые боролись декабристы. Но есть в ней и другое — углубленные раздумья о смысле и значении их борьбы, попытка оценить эту борьбу с позиций будущего, вскрыть ее исторический

¹ Одоевский А. И. Полн. собр. стихотворений. Л., Советский писатель, 1958, с. 55.

² Там же, с. 60.

³ Там же, с. 70.

смысл. Они воплощены в его стихотворении «Элегия» («Что вы печальны, дети снов?..», 1829). Право на «горькие думы», на печальный взгляд назад имеет не каждый, утверждает поэт. Тем, кто прошел свой путь, «едва касаяся земли», кто «следов не врезали в граните и не оставили в сердцах», тем незачем глядеть «на путь пройденный». Иное дело — тот, кто «духом был борец», кто «пылал огнем бесплодным и порывался в мир душой», кто, «искусив все жизни силы, стяжал страдальческий венец». Такой человек имеет право и основание задаться вопросом, были ли оправданы принесенные им жертвы, нужна ли была его деятельность, «как званый гость или случайный, пришел он в этот чудный мир».

Безрадостная действительность, темница, бессрочная разлука со всеми, кто был дорог, казалось, подсказывали лишь один пессимистический итог. И все же вывод, к которому приходит поэт, оказался иным.

Едва слетят
Потомков новых поколенья,
Иные звенья заменят
Из цепи выпавшие звенья...

Будет ли путь и этих новых поколений бессмыслен и бесцелен? Все восстает против утвердительного ответа на этот вопрос.

...В нас порывы есть святые,
И чувства жар, и мыслей свет,
Высоких мыслей достоянье...¹

Поражение, заключение, мучительные годы одиночества и горестных раздумий — ступени тяжкого, но не напрасно пройденного пути. Незримо «в лазурь небес восходит зданье», каждое поколение вносит в это свой вклад.

Шедевром Одоевского, произведением, где и его блестящий поэтический талант, и стойкость бойца проявились в наибольшей степени, стали знаменитые стихи «Струн вещей пламенные звуки...». Им принадлежит особое место не только в творчестве Одоевского, но и во всей декабристской поэзии. Это стихотворение было впервые опубликовано Герценом и Огаревым в «Голосах из России» без подписи автора, имя которого долго оставалось неизвестным. Но и тогда, когда авторство Одоевского было установлено, когда строка «Из искры возгорится пламя» стала эпиграфом к ленинской «Искре»,

¹ Одоевский А. И. Полн. собр. стихотворений, с. 81.

она была подписана не именем поэта, а словами «Ответ декабристов Пушкину».

Такая подпись отвечала самому существенному в содержании стихотворения, написанного от имени всех узников, томившихся в «каторжных порах» и скрепленных единством судьбы, мысли и воли. «Мы», «наш» — эти слова проходят сквозь все стихотворение. Но не случайно, конечно, и то, что написал его именно Одоевский. Здесь нашло наиболее сильное и концентрированное выражение то, что воплотилось и в других стихах «поэта декабристской каторги».

Первой строкой стихотворения поэт выражает убеждение в том, что пророчество Пушкина: «не пропадет ваш скорбный труд», «оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа» — что пророчество это сбудется: звуки пушкинских струн — «вещие». Но у Одоевского вера в торжество революционных идеалов получила более определенное и твердое выражение, чем в послании Пушкина.

Пушкин призывал декабристов с достоинством снести горечь поражения и тяжесть обрушившейся на них кары: «храните гордое терпенье». Одоевский ответил: «Своей судьбой гордимся мы». Он гордился тем, что им довелось свершить, и тем, что они не сломлены: «за затворами тюрьмы в душе смеемся над царями».

Повторив в чуть измененном виде пушкинскую строку «Не пропадет ваш скорбный труд» — «Наш скорбный труд не пропадет», Одоевский развил эту мысль на основе собственного понимания тенденций революционного развития. Не пропадет потому, что борьба, которую вела кучка героев, превратится в борьбу всего народа. Они подняли «святое знамя», и под ним «сберется» «просвещенный наш народ», просвещенный пониманием своих подлинных интересов, в сознании своих прав и своей силы. Эта мысль и воплотилась в крылатых словах «Из искры возгорится пламя». Деятельность декабристов была «искрой», «пламенем» — народное движение. Участниками этого движения Одоевский видит себя и своих соратников. «Огонь свободы», который «мы» зажжем «вновь», — и порождение той, прежней искры, и нечто иное, более широкое, мощное, неодолимое. Он и довершит победоносно дело, начатое 14 декабря, дело освобождения народов от царей.

Многие декабристы верили в грядущее торжество дела, ради которого они в 1825 году бестрепетно пожерт-

вовали собой. Но никто не увидел историческую перспективу так прозорливо, никто не сказал об этом с такой афористической законченностью и художественной силой, как это сделал Одоевский.

* * *

Как известно, декабризм представлял собой широкое движение, охватившее в той или иной степени едва ли не всю передовую дворянскую интеллигенцию. Это движение несводимо только к деятельности тайных обществ, оно имело множество оттенков, оно сформировало свою систему общественных воззрений, нравственность и эстетику. Оно имело центр и периферию. Существовало большое количество людей, которые, не будучи организационно связаны с тайными обществами, служили их базой, их идеологической средой и идеологическим резервом.

Некоторые из этих людей привлекались к следствию и даже оказались в застенке. Другие жили под подозрительными взглядами властей. Все или почти все они восприняли разгром восстания и казнь его руководителей как гибельный удар по своим надеждам и чаяниям, как общественную катастрофу. Но, конечно, чувства, которые они испытывали, в своих истоках отличались от декабристских, а со временем эти различия еще более углубились.

Характерным представителем таких околодекабристских кругов был Александр Ардалионович Шишков. Современники имели одностороннее представление о Шишкове и явно недооценивали его. Его третировали как бездарного, трегьесортного версификатора, высмеивали «неслыханное» подражательство его произведений. Вышедшая в 1951 году книга В. С. Шадури «Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии», по существу, впервые позволила увидеть Шишкова, поэта-вольнюльца и незаурядного человека, в подлинном свете. Несмотря на тщательность и плодотворность разысканий В. С. Шадури и большой объем архивных материалов, введенных им в научный оборот, в нашем представлении о Шишкове поныне остается немало темных мест. Сведения о переломных моментах его биографии, факты, на которых строится представление о его общественно-политических позициях, отрывочны и неполны. «Однако и те немногочисленные данные, которыми мы рас-

полагаем,— пишет В. С. Шадури,— позволяют заключить, что самые близкие личные и идейные связи у него были с А. С. Пушкиным, В. К. Кюхельбекером, декабристской молодежью». Дядю поэта, убежденного консерватора А. С. Шишкова, особенно смущало то, что его племянник дружил с «непорядочными» людьми и писал «возмутительные стихи»¹.

После разгрома восстания Шишков был доставлен в Петербург и оказался в Петропавловской крепости. Явных улик против него не было, и его решили освободить. Но в 1827 году последовал новый арест: на этот раз в руках властей находились материалы, серьезно компрометирующие Шишкова, в том числе его послание к А. Г. Ротчеву.

Известно, что Ротчев написал стихотворение, в котором аллегорически изображал разгром восстания декабристов. Это стихотворение стало в свое время предметом пристального полицейского разбирательства. Надо полагать, что Шишкову убеждения Ротчева были известны полнее и лучше, чем агентам III Отделения, и уж подавно лучше, чем их сегодня представляем себе мы. Поэтому есть все основания думать, что поэтические формулы, на которых строится послание Шишкова к Ротчеву, заключают в себе нечто большее, чем только сгущение декабристских «слов-сигналов» — за ними стоит конкретное содержание, понятное и автору и адресату. Шишков славит великое назначение поэта:

Когда его золотые струны
О славе предков говорят;
Когда от них сердца кипят
И битвой дышит ратник юный
И мать на бой благословляет чад.

Затем появляется образ, возникший, видимо, под влиянием пушкинской строки «Под гнетом власти роковой». Шишков восклицает:

Души возвышенной порывы
Сильнее власти роковой

и обращается к Ротчеву с призывом к творчеству — притом к творчеству, совершенно определенно, недвусмысленно охарактеризованному:

О, пой, мой бард, да с прежней славой
Нас познакомит голос твой,

¹ Шадури В. С. Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, Заря Востока, 1954, с. 50.

Но не лелей сограждан слуха
Роскошной лютнею твоей:
Они и так рабы страстей,
Рабы вельмож, рабы царей...

И последними стихами поэт повторяет мысль, выраженную уже в первой строфе: высокое назначение поэта в том, чтобы звать сограждан на борьбу:

Рабов воздвигнуть ото сна
Труба Тиртеева нужна,
А не свирель Анакреона ¹.

Как прямую политическую аллюзию истолковал эти строки начальник Московского жандармского управления генерал А. А. Волков в донесении А. Х. Бенкендорфу. Шишков, пояснял он, не советует Ротчеву «нежить слух» любовными стихами, «но для удобнейшего возбуждения к свободе согласовать звуки свои с звуками трубы Тиртея, древнего певца республиканцев»².

Год спустя Шишков опубликовал стихотворение «Бард на поле битвы». Уже построение, тональность, образный и стиховой строй этого произведения, сознательно и демонстративно ориентированного на рылеевские думы, ясно давали понять, о чем стремился напомнить поэт своим читателям.

Сделанное для успокоения цензуры примечание, уведомляющее, что «отрывок сей взят из одного старинного испанского романа, содержание которого относится ко времени владычества мавров в Испании», красноречиво свидетельствовало, что сам автор хорошо отдавал себе отчет в том, как будет истолковано его произведение, и загодя принимал меры, чтобы это истолкование не сделало его стихи неприемлемыми для цензуры.

У внимательного читателя вряд ли могло возникнуть сомнение, что скорбь Барда в думе Шишкова вызвана теми же событиями, что и скорбь Скальда в стихотворении Одоевского «Тризна». Но Шишков не только поет песнь прощанья и скорбит о погибших. Он зовет «к битве новой».

Нам вождь — и мщенье, и обида,
И стон друзей, и слезы жен,
И угнетенных слабый ропот,
И победивших наглый хохот...

¹ Поэты 1820—1830-х годов, т. 1. Л., Советский писатель, 1972, с. 407.

² Шадури В. С. Друг Пушкина..., с. 345.

Барду видится иной час, когда он будет не «вершить обряд печальной тризны», а славить мстителей, обративших в бегство «вражеские ряды»:

Тогда, певец побед и чести,
На их разбросанных костях
Прославлю дух правдивой мести;
Родится жизнь в моих струнах,
И голос барда, голос смелый,
Из края в край промчит молва,
И незабвенные слова
Услышат дальние пределы¹.

Верность декабристским идеалам сохранял после разгрома восстания и П. Я. Чаадаев. В конце 1810-х и начале 1820-х годов Чаадаев принадлежал к декабристскому кругу, разделяя главные цели и убеждения членов тайных обществ: он был противником самодержавия и с бескомпромиссной враждебностью относился к крепостному праву. Средство избавления от них Чаадаев видел в военной революции и приводил при этом как образец испанскую революцию 1820 года. «Происшедшее, — писал он по этому поводу, — послужит отменным доводом в пользу революций. Но во всем этом есть нечто, ближе нас касающееся...»²

Поражение европейских революций усиливает скептицизм и пессимизм Чаадаева. Подобное состояние пережили в ту пору, как известно, и многие декабристы. У Чаадаева оно было особенно глубоким и многократно усилилось, когда его единомышленники потерпели в 1825 году поражение в решающей схватке с царизмом. Мирощущение Чаадаева последекабрьской поры выразилось в «Философических письмах», над которыми он работал в конце 1820-х — начале 1830-х годов и первое из которых напечатал в 1836 году в «Телескопе».

Оно прозвучало как грозный обвинительный акт современному обществу, «необычайной пустоте и обособленности» его социального существования. Провидение, говорил Чаадаев, отвело России печальную участь. Все благие побуждения не ведут здесь к желаемому результату. Тщетно Петр хотел просветить нас, «но мы не дотронулись до просвещения». Тщетно стремился Александр I «приобщить нас к своему славному предназначению». В этом контексте Чаадаев и упомянул о восстании на Сенатской площади: «...Вернувшись из этого

¹ Поэты 1820—1830-х годов, т. 1, с. 409, 410.

² Чаадаев П. Я. Соч. и письма, т. II. М., 1913, с. 53.

триумфального шествия чрез просвещеннейшие страны мира, мы принесли с собой лишь идеи и стремления, плодом которых было громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад»¹.

Эти слова побудили современного исследователя утверждать, что, «перейдя на либеральные позиции, П. Я. Чаадаев осудил революционные методы действия, в том числе и выступление декабристов. Он дает отрицательную оценку этому выступлению в «Философических письмах»². Подобная точка зрения опирается в известной мере на свидетельство приятеля Чаадаева М. И. Жихарева, писавшего впоследствии, что «огромное декабристское происшествие» «сочувствием и симпатиями Чаадаева... никогда не пользовалось. В общем настроении его пониманья и в общей связи его идей, оно было даже движением неосновательным, ошибочно задуманным, несообразным с целью, бесплодным, годным только на задержание и отдаление всякого рода преуспевания. Но оно близко и болезненно касалось наиболее чувствительных струн его духа и сердца по отношениям тесной короткости с большей частью из самых видных и заметных его участников...»³

Думается, что дело было все же не в «короткости» отношений Чаадаева с декабристами. Вся логика его рассуждений побуждает иначе толковать это место «Философического письма». Идеи и стремления, может быть, были и хорошими, но «неисповедимый рок» кладет печать бессмысленности, безысходности на все, происходящее в России. Видимо, не только восстание было в глазах Чаадаева несчастьем, но и его разгром и последствия этого разгрома.

В этой связи стоит вспомнить и уничтожающую характеристику самодержавия — «национальной власти», унаследовавшей дух «свирепого и унижительного чужеземного владычества» — татаро-монгольского ига⁴, и гневное обличение крепостничества — «рокового греха», «ужасной язвы», которая «превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы»

¹ Чаадаев П. Я. Соч. и письма, т. II, с. 117.

² См. об этом: Берелевич Ф. И. П. Я. Чаадаев и декабристы. — Ученые записки Тюменского гос. пед. института, т. 5. Кафедра истории, вып. 2. Тюмень, 1958, с. 173.

³ Жихарев М. И. П. Я. Чаадаев. Из воспоминаний современника. — Вестник Европы, 1871, № 9, с. 13.

⁴ Чаадаев П. Я. Соч. и письма, т. II, с. 111.

вы»¹. Власти отнюдь не увидели в «Философическом письме» осуждения революционных методов, напротив, они восприняли его как отголосок 14 декабря².

Человеком декабристского поколения был и А. С. Грибоедов. Связанный тесными дружескими и идейными узами с членами тайных обществ, он после поражения восстания подвергся аресту и едва не разделил судьбу своих друзей и единомышленников. Выпущенный с «очистительным аттестатом», Грибоедов делал все что мог для облегчения участи декабристов, попавших на каторгу. «Слезы негодования и сожаления дрожали в глазах благородного,— писал Петр Бестужев,— сердце его обливалось кровью при воспоминании о поражении и муках близких ему по душе, и, как патриот и отец, сострадал о положении нашем. Не взирая на опасность знакомства с гонимыми, он явно и тайно старался быть полезным. Благородство и возвышенность характера обнаружились вполне, когда он дерзнул говорить государю в пользу людей, при едином имени коих бледнел оскорбленный властелин!..»³

Менее чем за два месяца до своей трагической гибели Грибоедов обратился с поистине душераздирающей мольбой к Паскевичу употребить свое влияние на царя для облегчения участи Александра Одоевского. «Благодетель мой бесценный,— говорится в письме.— Теперь без дальних предисловий просто бросаюсь к вам в ноги, и если бы с вами был вместе, сделал бы это, и осыпал бы руки ваши слезами. вспомните о ночи в Тюркменчае перед моим отъездом. Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского»⁴. Грибоедов погиб, не узнав, оказали ли его мольбы влияние на судьбу Одоевского. Но мы знаем, что его усилия не были безрезультатны, что в 1832 году каторжный приговор Одоевскому был отменен, его отправили на поселение в Иркутскую губернию, а спустя пять лет определили в Кавказский корпус.

Одоевский непрестанно занимал мысли Грибоедова с того дня, как он узнал об участи, постигшей молодого

¹ Чаадаев П. Я. Незданные философические письма. — Литературное наследство, т. 22—24. М., 1935, с. 23.

² См. об этом: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., Наука, 1969, с. 248—249.

³ Цит. по кн.: Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. Изд. 2. М., Изд-во АН СССР, 1951, с. 546.

⁴ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч., т. III. Пг., 1911, с. 242.

поэта. В стихотворении «Освобожденный», написанном, по-видимому, вскоре после того, как Грибоедов был выпущен с гауптвахты Главного штаба, он передает сложную гамму наполняющих его чувств: ему «возвращены очарования», он снова «черпает из чаши нескудеющих отрад», упиивается «вольностью и негой чистой». Но тяжкая мысль омрачает его существование:

Но, где друг?.. но я один!
Но давно ль, как привиденье,
Предстоял очам моим
Вестник зла? Я мчался с ним
В дальний край на заточенье¹.

Мысль об Одоевском сливается с мыслью, что такой же могла быть и его, Грибоедова, собственная судьба. «И я бы мог...»

По-видимому, несколько позднее было написано стихотворение, в котором образ Одоевского получил более развернутое, более эмоционально насыщенное и исполненное трагизма воплощение:

Я дружбу пел... Когда струнам касался,
Твой гений над головой моей парил,
В стихах моих, в душе тебя любил,
И призывал, и о тебе терзался!..
О мой творец! Едва расцветший век
Ужели ты безжалостно пресек?
Допустишь ли, чтобы его могила
Живого от любви моей сокрыла?²

Особый интерес представляет для нас план трагедии «Радамист и Зенобия», над которой Грибоедов работал, по-видимому, с лета 1826 по лето 1827 года, то есть после своего освобождения. Подавленный иной трагедией, происшедшей на его глазах, стремясь постигнуть ее причины, Грибоедов пытается осмыслить их на материале далекого прошлого. Он «думает о междоусобице, цареубийстве, о вопросе отношения к царю, думает о царе — следователе и допросчике, о подготовке и силах восстания, размышляет над ролью народа», и в его замысле отчетливо проступают «осколки аналогичной тематики, облеченные в историческую одежду древнего Рима и древних Грузии и Армении»³.

Первый акт знакомит зрителя с обстановкой, в которой разворачивается действие. Царь Радамист «едва тверд

¹ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч., т. I, с. 17—18.

² Там же, с. 18.

³ Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы, с. 534—535.

на собственном престоле». Следует важный разговор с римлянином Касперием, который говорит о ценности свободы, о том, что самопожертвование должно проистекать не из фанатичной преданности подданного монарху, но быть оправдано «благороднейшей целью». Тщетно Радамист «пытается подкупить его притворною приязнью, корыстию, честолюбием. Касперий непоколебим». Оставшись один, Радамист рассуждает об антагонизме между моралью гражданина и деспотической системой: «К чему такой человек, как Касперий, в самовластной империи, — опасен правительству...» Иное дело — Арфаксат: тот «знает только царево слово, которое ему вместо совести и славы». Он возвышен — «первый по Радамисте».

Армасил, «славный воин, воспитанный в Риме», становится выразителем недовольства, охватившего знать. Он «прерывает молчание и своею откровенностью и убеждением невольно исторгает у каждого одно желание: смерть утеснителя». Как и современники Грибоедова, участники заговора недовольны, в частности, засилием «иноземцев», которым поручены «все главнейшие места воинские и все поборы».

Многие претензии заговорщиков к «нынешнему царю» выдают их «мелкие страсти». Кто-то чувствует себя обойденным, ему не досталась должность, на которую он, по собственному убеждению, имел права. Ашод более всех «пылает» «против Радамиста»: его брат погиб «насильственной смертью», он мечтает о мщени. Но Армасил не доверяет ему: «Он вскормлен в царедворцах, вчера еще дышал милостию царицы, ныне мгновенно возбужден против него одним внезапным случаем, — но кто поручится: завтра не обратится ли опять слабодушием в ревностного ласкателя?» Звучат слова, которые должны вдохновить немногочисленных участников заговора на бестрепетную борьбу с тираном: «...Не во множестве сила, когда дело правое, но в испытанном, надежном, несомненном мужестве участников».

Несмотря на опасения Армасила, Ашод включается «в тайное умышление против Радамиста». «Ашод горит нетерпением отомстить царю, Армасил об одном его просит — о совершенном бездействии, о скромном сохранении тайны. Ашод обещает более: он на себя берет убить царя. Армасил всем в свете закликает его не предаваться сему нетерпению, ибо он прочих тем губит, не свершив ничего; наконец говорит, что их дело слишком зрело, еще несколько мгновений, и кто поручится, что они не

будут преданы — участников слишком много, в которых он не уверен, и потому надобна решимость; последнее слово — сходбище ночью и потом за оружие». Армасил и Ашод задуманы Грибоедовым как два противопоставленных друг другу типа участников заговора: «Характер Армасила самый основательный: он не скор, но тверд в поступках и более молчалив; опасность его не пугает, но неосторожности не простит себе. В 3-м действии совершенное развитие его характера, которому Ашод во всем противоположен».

Опасения Армасила, по-видимому, оказываются обоснованными: именно Ашод выдает царю планы заговорщиков. Во втором акте «Ашод хочет заколоть Радамиста, тот удерживает его, притворное соучастие, выманивает у него тайну, потом свирепствует». «В 3-м заговорщики ссорятся о будущей власти, в эту минуту устремляется на них Радамист».

Очень красноречивы скупые упоминания Грибоедова о взаимоотношении заговорщиков и народа. «Вообще надобно заметить, что народ не имеет участия в их деле, — он будто не существует». Автор, однако, смотрит на события слишком глубоко и зрело, чтобы видеть лишь в участии народа панацею от всех зол. Не идеализируя ни участников заговора, ни массы, он видит всю глубину различий в их устремлениях, отсутствие взаимопонимания между ними. «В 3-м действии возмущение делается народным, но совсем не по тем причинам, которыми движимы вельможи: восстав сама собою, мгновенно, грузинская дружина своими буйствами, похищениями у граждан жен и имуществ, восстанавливает их против себя»¹.

Трагедия, как известно, не была завершена, и дошедший до нас набросок плана позволяет лишь гипотетически судить о возможном развитии ее конфликта. Но его перекличка с конфликтом, только что разыгравшимся на глазах Грибоедова, со всей несомненностью давала себя знать. 9 декабря 1826 года, то есть в пору раздумий над «Радамистом и Зенобией», Грибоедов в письме к Бегичеву советует ему перечитать Плутарха и многозначительно добавляет: «Ныне эти характеры более не повторяются». Он размышляет над повторениями в истории, ему видятся «странные сближения» (как выразился Пушкин) — между эпохой, описанной Плутархом, и современностью.

¹ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч., т. I, с. 256—261.

Материал для интересных и показательных выводов можно получить и уяснив характер и предпосылки той реакции, которую вызвал разгром восстания у А. А. Дельвига и Е. А. Баратынского. В том, как каждый из них воспринял события 1825 года, как искал свое место в последекабрьской России, как выражал свое отношение к жертвам николаевских репрессий, сказалось то индивидуально неповторимое, что было присуще каждому из этих писателей, что определялось особенностями биографии, психологического склада. Но кроме того, было и общее, и это общее — уже черты судьбы не отдельного человека, а определенного круга, известного слоя общества. Иными словами, можно видеть не только индивидуально неповторимое, но и характерное, типичное. За отношением к декабризму Баратынского и Дельвига стоит единое в своей основе явление, которое и заслуживает внимания в первую очередь.

Молодой Дельвиг, не будучи, конечно, ни в малой мере революционером, был вольнолюбцем, стремление к свободе — глубинная суть его творчества и всего его образа мыслей. «Свобода для мечтаний и веселья, рифмующаяся со словом «огорода», — идеал, конечно, скромный, — писал И. Виноградов. — Но она в поэзии Дельвига сестра той самой «свободы», за которую боролись декабристы»¹. И С. Б. Рассадин, признавая, что «крайне вульгарно было бы насильственно, задним числом принимать Дельвига в революционное братство декабристов», подчеркивает и другое: «...Безмятежность бытия, веселье и даже, казалось бы, вовсе малочтенное безделье приобрели в стихах Дельвига характер независимости от деспотических узаконений тогдашнего общества»².

Как уже говорилось, декабризм, представляющий собой широкое идеологическое движение, которое вмещало пеструю гамму разнообразных оттенков, имел свой центр и свою периферию. Естественно, что между центром и периферией движения были существенные отличия, а порой возникали и противоречия. Противоречия эти нередко оказывались достаточно острыми, выливались и в личные конфликты, и в публичную полемику.

¹ Виноградов И. О творчестве Дельвига. — В кн.: Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., Изд-во писателей..., 1934, с. 36.

² Рассадин С. Б. Цена гармонии (О поэзии Антона Дельвига). — Вопросы литературы, 1972, № 4, с. 113.

И внешняя «вражда» могла порой затемнять глубинное единство.

Дельвиг идейно формировался в среде, из которой вышли будущие декабристы. Еще лицеистом он вместе с Пуциным, Кюхельбекером, Вольховским входил в кружок, в котором велись постоянные «беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне...»¹. Можно себе представить, какие высказывания должен был слышать из уст Дельвига Пушкин, чтобы сделать свою известную надпись к портрету лицейского товарища:

Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,
Что коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил —
Нерон же без него правдиву смерть узрит.

(т. II, с. 133)

Соль противопоставления в том, что если Нерон был олицетворением жестокости и безудержного произвола, то Тит после подавления восстания в Иерусалиме пытался снискать популярность мягкими способами правления. «Дней александровых прекрасное начало» дало повод называть Титом молодого русского императора. Дельвиг же высказывал убеждение, что и «либеральный» тиран должен быть уничтожен без пощады.

«Опасные» для него разговоры Дельвиг, по свидетельству директора Лицея Энгельгардта, ведет и позднее². Он вступает в «Зеленую лампу», которая была, как известно, дочерним учреждением Союза благоденствия. Радикально настроенная молодежь окружает Дельвига и в Вольном обществе любителей российской словесности. Здесь происходит его сближение с Рылевым.

Вместе с Кюхельбекером и Баратынским он становится мишенью известных доносов В. Н. Каразина, который в записке министру внутренних дел Кочубею от 2 апреля 1820 года писал, что «в самом Лицее Царском-сельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей... это доказывают почти все вышедшие отсюда. Говорят, что один из них, Пушкин, по высочайше-

¹ Пуцин И. И. Записки о Пушкине и письма. М., Гослитиздат, 1956, с. 68.

² Отчеты Государственной Публичной библиотеки за 1895 год. Приложения, с. 33—34.

му повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом...»¹

Дельвиг вместе с другими литераторами принимал участие в переводе тираноборческой трагедии Гиро «Маккавей», которую предполагалось использовать в агитационных целях, и других произведений неблагонадежного с точки зрения властей содержания. Его имя было включено в «Алфавит декабристов», и, хотя следственная комиссия легко установила его непричастность к деятельности тайных обществ, сама эта «ошибка» достаточно симптоматична.

Многое из сказанного о Дельвиге может быть повторено и применительно к одному из его ближайших друзей — Баратынскому. Он тоже был взращен оппозиционной средой, вел разговоры антиправительственного характера, где, по собственному его свидетельству.

...для холопа иль невежды
Не притворяясь, часто мы
Браним указы и псалмы².

Он тоже попал в каразинский донос. Узы дружбы связывали его с «милыми братьями» Бестужевым и Рылеевым, которые собирались выпустить в свет его первое собрание стихотворений. Именно неблагонадежная политическая репутация, подозрительные дружеские связи, оппозиционный характер творчества были истинной причиной того, что Александр I на протяжении нескольких лет настойчиво отклонял все ходатайства, направленные на смягчение участи молодого поэта, который томился в Финляндии в наказание за проступок, совершенный им еще в стенах Пажеского корпуса.

В начале 1820-х годов декабристы надеялись повлиять на творчество Баратынского, побудить его к созданию произведений оппозиционного и даже агитационного характера. Но вскоре стало ясно, что эти надежды не оправдались, и в канун декабрьского восстания прежняя идейная близость сменяется известным охлаждением. Склонность к психологическому анализу, рано определившаяся как одна из главных особенностей творчества Баратынского, оказалась чужда декабристам, перестав-

¹ Цит. по кн.: Базанов В. Г. Ученая республика. М.—Л., Наука, 1964, с. 139.

² Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М., Наука, 1983, с. 85.

шим «веровать в его талант». Намерение Рылеева и Бестужева подготовить сборник стихов Баратынского осталось неосуществленным.

Аналогичные сдвиги происходят и в личных, и в литературных контактах Дельвига. Отношения между Дельвигом, с одной стороны, и Рылеевым и Бестужевым, с другой, стали особенно натянутыми, когда стало известно намерение Дельвига издавать альманах «Северные цветы». Это намерение не в малой мере определялось прогрессирующим расслоением, размежеванием сил в Вольном обществе любителей российской словесности. Радикальное крыло общества тяготело к «Полярной звезде», а умеренная часть его членов — к «Северным цветам». Формулировка издательского объявления, появившегося в «Сыне отечества» и извещавшего, что «Северные цветы», издание книгопродавца Сленина, вступает в непосредственное соперничество с «Полярной звездой», заключала в себе глубокий смысл. Речь шла о борьбе не только за авторов и подписчиков, но и об идейном соперничестве, о противостоянии разных тенденций в литературной и общественной жизни.

Восстание 14 декабря не вызвало у Дельвига сочувствия. Особенно резко отозвался он об участии в событиях этого дня писателей. «Напиши мне о московском Парнасе,— просит он Баратынского 8 января 1826 года, — надеюсь, он не опустел, как петербургский. Наш погибает от низкого честолюбия. Из дурных писателей хотелось попасть в еще худшие правители. Хотелось дать нам такой порядок, от которого бы надо было бежать на край света. И дело ли мирных муз вооружаться пламенниками народного возмущения. Бунтовали бы на трагических подмостках для удовольствия мирных граждан или бы для своего с закулисными тиранами; проливали бы реки чернил в журнальных битвах и спокойно бы верили законодателям классической или романтической школ и исключительно великому Распорядителю всего»¹. Надо думать, у Дельвига было более чем приблизительное представление о «порядке», который хотели дать стране декабристы. Но убеждение в том, что писателям надлежало держаться вне схватки, в отдалении от прямых политических столкновений, укоренилось в нем глубоко.

¹ Дельвиг А. А. Соч. Л., Художественная литература, 1986, с. 311.

Тем не менее репрессии, последовавшие за разгромом восстания, легко могли затронуть и Дельвига. Как писал позднее в своих воспоминаниях А. И. Дельвиг, крупный, благонамеренный чиновник, генерал, смотревший на декабристов со снисходительным осуждением, «в 1825 г. Рылеев, А. Бестужев и Дельвиг редко выдались, и это обстоятельство, может быть, спасло Дельвига от участи, постигшей членов тайных обществ». Участники литературных вечеров, проходивших на квартире Дельвига во второй половине 1820-х годов, избегали разговоров о политике и по той причине, что «катастрофа 14 декабря была еще очень памятна. Размножившиеся же вновь учрежденные жандармы и шпионы III Отделения собственной его величества канцелярии, в числе которых были и литераторы, не давали о ней забывать. Вообще Дельвиг избегал разговоров об этой катастрофе»¹.

Но важнее, чем слова, которые говорил или не говорил Дельвиг, были дела, поступки, в которых выявилось его отношение к участникам разгромленного восстания. То, что он делал в те годы, явно показывало, что в час беды бывшие разногласия оказались менее существенны, чем то, что объединяло разные фракции оппозиционно настроенных кругов русского общества в первой половине 1820-х годов. Издатели «Северных цветов», вчерашние конкуренты «Полярной звезды», оказались хранителями и продолжателями традиций декабристского альманаха. Подвергая себя огромному риску, Дельвиг и его друзья печатали в «Северных цветах» стихи участников восстания на Сенатской площади. Так, были напечатаны «Партизаны» (1824) Рылеева, «Пощада певца» (1823), «Ночь» (1828), «Луна» (1828), «Смерть» (1828) Кюхельбекера, «Тризна» (1828), «Бал» (1825) Одоевского.

19 октября 1826 года, в день первой лицейской годовщины после разгрома восстания, Дельвиг написал стихотворение «Снова, други, в братский круг...», где тепло и грустно упомянул двух друзей-лицейстов, томившихся в «каторжных норах», — Кюхельбекера и Пущина.

Но на время омрачим
Мы веселье наше, братья,
Что мы двух друзей не зрим
И не ждем в свои объятья.

¹ Дельвиг А. И. Мои воспоминания. М., 1913, с. 53—54.

Нет их с нами, но в сей час
В их сердцах пылает пламень.
Верьте. Внятен им наш глас,
Он проникнет твердый камень¹.

И Дельви́г, и Баратынский принадлежали к тому кругу, позиции которого в последекабрьскую пору глубоко и выразительно охарактеризовал Герцен: «Не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места — все это при деспотическом режиме называется быть в оппозиции. Правительство косилось на этих *праздных людей* и было ими недовольно. Действительно, они представляли собой ядро людей образованных, дурно относящихся к петербургскому режиму» (т. VII, с. 213). И хотя Баратынский включен в «мартиролог» жертв николаевского режима, составленный Герценом, а Дельви́г — нет, в их общественной позиции, в путях их духовной эволюции было много общего. Но стоит указать и на одно важное отличие. Близость Баратынского к кругу дворянских революционеров в преддекабрьские годы, и его сочувствие жертвам расправы, последовавшей за поражением на Сенатской площади, воплотились в его стихах. Из произведений первой половины 1820-х годов здесь должны быть упомянуты «Пиры», «Буря», эпиграмма «Отчизны враг, слуга царя...», а из написанных после возвращения из финской ссылки — «Стансы» (1827).

С волнением смотрит поэт на «родные степи», «в неге сладостной» любит «степного неба сводом желанным». Но возврат в «приют младенческих годов» означал прощание с дорогим прошлым.

Промчалось ты, златое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя
И, наблюдая, восскорбил.
Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье,
Но принесло ли плод оно?..²

«Благо» — как известно, одно из самых характерных «слов-сигналов» декабристского лексикона. Но стремление к благу оказалось бесплодным. Скорбь Баратынского родственна скорби пушкинского Сеятеля, «благие

¹ Дельви́г А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., Советский писатель, 1959, с. 193.

² Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы, с. 124.

мысли и труды» которого вызывают лишь сожаление о потерянном времени и людской неблагодарности.

Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других ¹.

Последние два стиха (перефразировка слов Саади, которые Пушкин взял эпитафией к «Бахчисарайскому фонтану») использовались во второй половине 1820-х годов для иносказательного напоминания о декабристах. Но об этом речь впереди.

Теперь предстоит обратиться к группе писателей, которые были близки к декабристам в первой половине 1820-х годов, но позднее перешли на консервативные позиции. Это Н. М. Языков, П. А. Вяземский, Денис Давыдов.

Языкову принадлежит одно из самых острых, политически непримиримых откликов на поражение декабристов:

Не вы ль убранство наших дней,
Свободы искры огневые!
Рылеев умер, как злодей! —
О, вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей! ²

Создание этого стихотворения было, конечно, закономерным фактом, естественным продолжением того, что писалось Языковым в первой половине 1820-х годов. Его вольнолюбивая лирика тех лет пронизана декабристскими темами и настроениями, и выражались они с такой страстностью и бескомпромиссностью, какую не часто можно видеть даже в стихах членов тайных обществ. Он ищет вдохновение «в тех веках, когда люди сражались за свободу» ³. Под несомненным влиянием рылеевских дум Языков пишет «Песнь барда во время владычества татар в России» (1823), стихотворение, пронизанное скорбью из-за недостаточной революционности современ-

¹ Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы, с. 124.

² Языков Н. М. Собр. стихотворений. Л., Советский писатель, 1948, с. 106.

³ Письмо к А. М. Языкову от 20 декабря 1822 г. — Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период жизни (1822—1829) (Языковский архив, т. 1). СПб., 1913, с. 29. Далее сокращенно: Языковский архив.

ников, не находящихся в себе тех сил для отпора деспотизму, какие находились у их предков.

...Вы сокрылись, века полночной славы,
Побед и вольности века!
Так сокрывается лик солнца величавый
За громовые облака.
Но завтра солнце вновь восстанет...
А мы... нам долго цепи влечь:
Столетия протекут — и русский меч не грядет
Тиранства гордого о меч!¹

С еще большей прямоотой и горечью прозвучала та же тема в элегиях «Свободы гордой вдохновень!..» (1824) и «Еще молчит гроза народа...» (1824). Оба стихотворения, впервые напечатанные Герценом и Огаревым в «Полярной звезде», не случайно приписывались Рылееву. Русский ум скован, свобода угнетена. Рабская Россия, «гремя цепями, склонивши выю», молится за царя, вместо того чтобы «восстать» против него.

Пред адской силой самовластья,
Покорны вескому ярму,
Сердца не чувствуют несчастья
И ум не верует уму².

Чтобы представить себе, как Языков воспринял поражение восстания и события последующих месяцев, перелистаем письма, которые он писал родным в конце 1825 и начале 1826 годов. Писать об этом прямо, разумеется, было нельзя, но если проникнуть в своеобразную эпистолярную манеру Языкова, многое станет ясным. 29 декабря 1825 года в письме, посланном из Петербурга в Симбирск, Языков пишет: «Мне кажется, что литература и жизнь семейственная доставляют удовольствия самые прочные, которые наименее подчинены самовластию судьбы, прихотям сильных земли и даже температуре в обширном значении». И, подробно развив эту мысль, завершает свое рассуждение многозначительной фразой: «Вот все, что я имел вам сказать при теперешних обстоятельствах; будут другие — скажу иное...» И это письмо, и отосланное на следующий день письмо сестре, содержащее краткое упоминание, что «происшествие 14 декабря прекратило выход «Полярной звезды», написаны на траурной бумаге — факт, конечно, не случайный и весьма многозначительный.

¹ Языков Н. М. Собр. стихотворений, с. 27.

² Там же, с. 50.

22 января 1826 года поэт пишет П. М. Языкову: «Думаем, что и в вашу глушь дошел слух о треволнении 14 Декабря прошлого 1825 года. Татаринов расскажет вам многое, чего вы не читали и не слыхали по сей части...» Письму не все доверишь, но клокочущие чувства ищут выхода, и Языков с нарочитым бесстрашием продолжает: «Очкины оба, наши приятели, чуть было не пострадали задами. Их хватали за знакомство с одним из участников в деле 14 Декабря, заставили переночевать у квартального, возили по всем полицейским инстанциям, наконец допросили во дворце — и отпустили: ибо в их бумагах и словах, кроме вздора, ничего не нашли. Вот каково, наш почтеннейший, в какие времена нам довелось жить! Что же до нас касается, то это дело до нас вовсе не касается: мы живем спокойно, пока бог грехам нашим терпит. Сверх того, один из нас по монаршей милости получил повышение ранга чиновного или, сказать яснее, чин титулярного советника. Ты знаешь, как приятны таковые дары счастья, и можешь себе представить, что мы благосклонность его к себе приняли радостно и с распитием шампанского... — что и вам советуем по сему случаю сделать. Конечно, сия награда стоила и трудов многолетних и ревности постоянной, но кому не приятно трудиться, когда видишь пользу от трудов своих и внимание к оным сильным мира сего!»¹ Мы позволили себе привести, может быть, слишком пространную цитату, чтобы дать возможность читателю ощутить негодование, которое крылось за внешним спокойствием и безразличием этого язвительного монолога.

В письмо от 14 февраля поэт внес свое стихотворение «Вторая присяга», содержащее прямой отклик на недавние политические события:

...И я неявный либерал,
Моей торжественной присяге
Ни на словах, ни на бумаге
И вообще не изменял.
Когда ж к ушам Россиянина
Дошла разительная весть,
Что непонятная судьбина
Не допустила Константина
С седла на царство пересесть;
Когда, не много рассуждая,
Сената русского собор
Царем поставил Николая,
А прежняя присяга вздор,—

¹ Языковский архив, с. 233—238.

Благоговейно подражаю
Престола верному столбу,
Я радостно мою судьбу
Другой харите поверяю...¹

Полно злой иронии и замечание в письме к П. М. Языкову от 9 июня 1826 г.: «Вы верно имеете уже манифест о учреждении Верховного суда: прекрасно написан». Но самое важное из писем на эту тему Языков написал 2 сентября под влиянием слухов о том, что предстоящая коронация будет сопровождаться смягчением участи декабристов. Языков выражает надежду, «что судьба несчастных возмутителей сильно облегчится — дай бог! И это надобно сделать и по человечеству, и по политике: первое не дает никому права отнимать жизнь у себя подобного или превращать ее из прекрасной в адскую, а вторая велит быть осторожною даже голове венценосной и руке, по манию которой судят, осуждают, пытаются и вешают! А нечего сказать: смягчение наказаний из отсечения головы в вечную или 20-летнюю, что равно, каторгу напомнило бы равномерно милосердые поступки императрицы Анны Ивановны. Кроме того, кажется, пора увериться всякому, что дух времени не слушает указов и всегда пойдет своей дорогой и построит, что ему надобно! Ирод может истребить множество людей, заслужить имя, которым потомки бранят величайших извергов, но Христос ему недоступен: вера чистейшая и прекрасная осветит вселенную, и божественное всегда восторжествует. Сравнение истинно поэтическое! Не правда ли?»² Это сравнение декабристов с Христом, а властей с Иродом было не только поэтическим, но и политическим. Оно может служить наряду с гневной инвективой «Не вы ль убранство наших дней...», одним из самых ярких и несомненных свидетельств бескомпромиссности позиций, которые занимал в то время Языков.

Но пройдет лишь несколько лет — и он со всей так свойственной ему искренностью и страстностью отречется от этих позиций. В сборнике стихов, который он выпустит в 1833 году, не найдется места для произведений декабристского цикла. И исследователи нескольких поколений будут в некоторой растерянности останавливаться перед казавшимся необъяснимым противо-

¹ Языковский архив, с. 240.

² Там же, с. 255, 260.

речием: вольнодумство, революционность ранних стихов и реакционные позиции, на которые поэт переходит в 1830—1840-е годы, неистовое славянофильство, мракобесные нападки на Герцена, Грановского, Чаадаева.

Между тем, как на это справедливо указывал М. К. Азадовский, «в действительности перед нами единый и целостный органический путь развития поэта»¹. Языков всегда оставался верен себе в том смысле, что он никогда не изменил восторженной, пронзительной любви к России. Он был предан «огневым искрам свободы», пока это отвечало его патриотическим побуждениям, пока счастье и благоденствие родной страны связывалось для него с избавлением от адской силы самовластья, с падением вековых цепей, с восстанием против царя.

Но он легко перешел к религиозности и апологии славянофильской доктрины, когда именно в них увидел выражение интересов России. Этот поразительно резкий перелом напророчен уже в 1826 году, в принципиально важном послании «К Вульфу, Тютчеву и Шепелеву», написанном непосредственно после стихотворения «Не вы ль убранство наших дней...». (Список первого из них датирован 7 августа 1826 г., автограф второго — 27 августа.)

Как о прошлом говорит Языков о временах, когда в его стихах звучала тема, занимавшая значительное место и в декабристской поэзии:

Надежда творческая славы,
Манила думы величавы
К браннолюбивой старине:
На веча Новграда и Пскова,
На шум народных мятежей...

Он сосредоточен на сегодняшнем дне: «Мы... скрижали древности седой о настоящем вопрошаем».

Так мы готовимся, о други,
На достохвальные заслуги
Великой родине своей!
Нам поле светлое открыто
Для дум и подвигов благих,
Желаний полны мы живых;
В стране мы дышим знаменитой,
Мы ей гордимся...

Написанные вскоре после того, как были казнены декабристы, эти слова и сами по себе звучали достаточно красноречиво. Но Языков пошел дальше, прямо под-

¹ Языков Н. М. Собр. стихотворений, с. X.

черкнул, что прославляемая им великая родина — страна, покорная царям, что «жестокие мятежи» не влияют на его чувства и суждения.

Жестоки наши мятежи,
Кровавы, долги наши брани;
Но в них является везде
Народ и смелый и могучий,
Неукротимый во вражде,
В любви и твердый и кипучий,
Так с той години, как царям
Покорна северная сила,
Веков по льдяным степеням
Россия бодро восходила —
И днесь красуется она
Добром и честью военной...¹

Вся будущая идейная эволюция Языкова предсказана этими стихами с полной определенностью. Столь страстное и бескомпромиссное отречение от своего декабристского прошлого не могло не сделать его неприимимым врагом тех, кто в 1830 и 1840-х годах хранил наследие дворянских революционеров и стремился продолжить их дело.

В последние годы жизни Языков пишет злобные стихотворные памфлеты, направленные против Чаадаева, Герцена, Грановского и справедливо расцененные прогрессивной общественностью как поэтические доносы. Добролюбов, высоко ценивший творчество молодого Языкова, когда поэт «лучшую часть своей деятельности посвящал изображению чистой любви к родине и стремлений чистых и благородных», с горечью отметил, что «источник их был не в твердом, ясно сознанном убеждении, а в стремительном порыве чувства, не находившего себе поддержки в просвещенной мысли... Языков не мог удержаться сознательно на этой высоте, на которую его поставило непосредственное чувство; у него недоставало для этого зрелых убеждений и просвещенного умения определить себе ясно и твердо свои стремления и требования от своей музыки»².

Сходной в главном направлении, но вместе с тем во многом иной была эволюция, которую довелось пережить Денису Давыдову. Общественные позиции Давыдова, его отношение к декабристам явились предметом ряда глу-

¹ Языков Н. М. Собр. стихотворений, с. 110—111.

² Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 2. М.—Л., Гослитиздат, 1962, с. 340, 342.

боких аргументированных исследований¹. Как показывает собранный в них материал, Давыдов принадлежал к оппозиционно настроенным кругам русского дворянства и подобно декабристам был «сторонником конституции, представительного правления, уничтожения крепостного права, был недоволен внешней и внутренней политикой Александра I, в частности военными поселениями»². Он писал вольнолюбивые стихи, квалифицировавшиеся властями как «возмутительные сочинения». Басню Давыдова «Голова и ноги» декабрист В. И. Штейнгель назвал в ряду произведений, способствовавших развитию «либеральных понятий», наряду с «сочинениями Пушкина, дышащими свободой»³. Однако, сочувствуя многим целям, которые ставили перед собой декабристы, Давыдов решительно расходился с ними в том, каким путем эти цели могут быть достигнуты. С особенной ясностью это проявилось в откровенном и гневном письме, которое Давыдов написал П. Д. Киселеву. В нем, в частности, говорилось: «Мне жалок Орлов с его заблуждениями, вредными ему и бесполезными для общества; я ему говорил и говорю, что он болтовнею своею воздвигает только преграды службе своей, которой он мог бы быть истинно полезен Отечеству! Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не страхнуть самовластие с России. Этот домовый долго еще будет давить ее тем свободней, что, расслабившись ночью грезой, она сама не хочет шевелиться, не только привстать разом. Но мне она не внимает! Как военный человек я все представляю себе в военном виде. Я представляю себе свободное правление как крепость у моря, которую нельзя взять блокадою, приступом — много стоит, смотри Францию. Но рано или поздно поведем осаду и возьмем ее осадю... И осада все будет продвигаться, пока, наконец, войдем в крепость и раздробим монумент Аракчеева... Но Орлов об осаде и знать не хочет, он идет в крепость по чистому месту, думая, что за ним вся Россия

¹ См.: Пугачев В. В. Общественно-политические взгляды Д. В. Давыдова. — Ученые записки Горьковского гос. университета, 1962, вып. 57, с. 90—118; Его же: Денис Давыдов и декабристы. — В кн.: Декабристы в Москве. Сб. статей. М., Московский рабочий, 1963, с. 107—142; Попов М. Я. Денис Давыдов. М., Просвещение, 1971.

² Пугачев В. В. Денис Давыдов и декабристы, с. 134.

³ Общественные движения в России в первую половину XIX века, т. I. СПб., 1905, с. 490.

двигается, а выходит, что он да бешеный Мамонов, как Ахилл и Патрокл (которые хотели вдвоем взять Трои) предприняли приступ»¹.

Если вслушаться в эти слова, становится ясно, что расхождение Давыдова с декабристами касались главным образом тактики, наиболее рационального способа достижения цели. Для него, как и для них, желанная перспектива — «стряхнуть самовластие», взять крепость, именуемую «свободным правлением», и «раздробить монумент Аракчеева», который был в ту пору мрачным символом мракобесия и обскурантизма.

Но Давыдов расценивает трудности, стоящие перед декабристами, более реалистично, чем это способны были сделать декабрист М. Ф. Орлов и его единомышленники. Он видит, что народ не готов к тому, чтобы поддержать тех, кто собирается вести его на приступ: «Россия сама не хочет шевелиться, не только привстать разом». Отсутствие опоры на массы, на Россию — вот для Давыдова главная причина того, почему на замыслах декабристов лежит печать обреченности: они думают, что за ними «вся Россия движется», но в действительности одиноки и потому бессильны. Но то, что самовластие рано или поздно падет, для Давыдова не подлежит сомнению, и при всем скептическом отношении к деятельности Орлова и Мамонова сравнение с Ахиллом и Патроплом красноречиво говорит о том, как воспринимались Давыдовым мужество и самоотверженность декабристов.

Позднее, уже после поражения восстания, Давыдов писал: «Находясь всегда в весьма коротких сношениях со всеми участниками заговора 14 декабря, я не был, однако, никогда посвящен в тайны этих господ...»² Первое из этих утверждений — чистая правда. Помимо М. Ф. Орлова и своего двоюродного брата В. Л. Давыдова, поэт находился «в весьма коротких отношениях» и с А. А. Бестужевым, и с Ф. Н. Глинкой, и с Н. М. Муравьевым, и с И. Г. Бурцевым, и с А. И. Якубовичем. А то, что он не был посвящен в их тайны, как и последующие уверения в его готовности участвовать в «усмирении» их бунта, противоречит фактам. Имеется свидетельство М. Дмитриева-Мамонова, где говорится

¹ Письмо Д. В. Давыдова П. Д. Киселеву от 15 ноября 1819 г. Подлинник в ИРЛИ АН СССР, фонд П. Д. Киселева. Цит. по статье В. В. Пугачева «Денис Давыдов и декабристы», с. 134—136.

² Давыдов Д. В. Соч. М., Гослитиздат, 1962, с. 495.

об участии Давыдова в работе над программными документами «Ордена русских рыцарей». Критика, которой Давыдов подвергал Орлова и Мамонова в цитированном выше письме, говорит о его хорошей осведомленности об их намерениях. Наконец, для того, чтобы отказаться от вступления в тайное общество, нужно было знать, что оно собой представляет. И декабристы, предлагавшие Давыдову вступить в общество, были уверены, что он не выдаст их властям. И Давыдов их доверие полностью оправдал.

В литературе о Давыдове высказывались обоснованные предположения, что в случае успеха восстания декабристов он, несомненно, примкнул бы к ним. Но случилось иначе, и трагедия на Сенатской площади еще более укрепила в Давыдове и ранее испытываемое им скептическое отношение к попыткам «приступом» «страхнуть самовластие с России». Под влиянием происшедшего углубляется его национализм, и переход на более консервативные общественные позиции приводит его в 1836 году к созданию «Современной песни», включавшей злые нападки на «Философическое письмо» и выступления Чаадаева в московских салонах.

Нет слов, «Современная песня» — сложное произведение и должна быть увидена и оценена во всей ее противоречивости. Верно, что она подтверждает отрицательное отношение Давыдова к крепостничеству, что он гневно клеймит помещиков, эксплуатирующих крестьян и издевающихся над ними. Верно и то, что Давыдов разоблачает либеральное фразерство, разрыв слова и дела. И все же не следует умалять значение того факта, что «Современная песня» написана с отчетливо реакционных позиций, и видеть в ней лишь «полемику» с Чаадаевым — значит обходить молчанием самую суть дела. Poleмику с Чаадаевым вел и Пушкин. Видя, что многое в «Философическом письме» «глубоко верно», он странно и неловко говорил и о том, что «далеко не во всем согласен» с его автором (т. XVI, с. 392, 393). Но Пушкин спорил с Чаадаевым в частном письме, и высказанные им доводы никак не могли повредить адресату. А «Современная песня», получившая широкое распространение, прозвучала в унисон не с Пушкиным, а с действиями тех, кто обрушил репрессии на смельчака за то, что в темную ночь николаевского царствования он пытался разбудить современников.

Вяземский немало пережил и Давыдова, и Языко-

ва. Он смотрел на декабристов с большей исторической дистанции и с учетом факторов, которые на Давыдова и Языкова влиять не могли. И характер происходивших в нем изменений, и формы, в которых они проявлялись, дают богатый материал для раздумий.

«Декабрист без декабря» — эту крылатую формулу более полувека тому назад ввел в обиход С. Н. Дурылин, сделав ее заглавием первой серьезной работы об общественно-политических позициях Вяземского, работы, которая по сей день не утратила своей ценности¹. С тех пор это выражение повторялось многими исследователями, и не без основания: в ней уловлены и существо позиции Вяземского, и главное противоречие этой позиции. Конечно, ее нужно понимать не только в том смысле, что Вяземский был декабристом, который не принял участие в восстании. Дело в том, что Вяземский был декабристом и в то же время не был им.

Говоря о декабризме Вяземского, следует прежде всего вспомнить о его знаменитой оде «Негодование» (1820), которая в доносе III Отделению с полным основанием была охарактеризована как «катехизис заговорщиков», то есть декабристов. «...По своему тираноборческому пафосу, — говорит М. И. Гиллельсон, — «Негодование» — наиболее декабристское стихотворение Вяземского, перекликающееся с сатирой Рыльева «К временщику», с гражданской лирикой В. Ф. Раевского»². А по утверждению С. Н. Дурылина, «у редкого из декабристов можно отыскать столь яркое нападение на одну из основ крепостного государства — на насильственное выжимание податями и поборами экономических соков из крепостных масс. Ни в «Деревне» Пушкина, ни в «Горе от ума» нет такого нападения». Вяземский «оказался в своих стихах не только поэтом *декабризма*, каким был Пушкин, но и поэтом *декабря*, каким был Рылеев: «катехизис» заканчивается прямым призывом на Сенатскую площадь»³.

К этому стоит добавить, что, когда спустя десять лет Вяземский помянул «Негодование» в «Моей исповеди», записке, переданной Бенкендорфу и доложенной шефом III Отделения царю, он прямо заявил, что не отказался

¹ Дурылин С. Н. (Николай Кутанов). Декабрист без декабря. — В кн.: Декабристы и их время, т. II. М., Изд-во АН СССР, 1932, с. 201—290.

² Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский, с. 271.

³ Дурылин С. Н. Декабрист без декабря, с. 215, 218.

от взглядов, которые выразил в этом стихотворении. «Писано оно было в Варшаве, — сообщал Вяземский, — в самую эпоху борьбы или перелома мнений, и, разумеется, должно носить оно живой отпечаток мнений, которым я оставался предан и после их падения»¹.

Отличие в позициях Вяземского, с одной стороны, и декабристов, с другой, конечно, проявилось наиболее очевидно, когда Вяземский отказался вступить в тайное общество. Николай I по-своему объяснил этот факт: «...отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других». Уязвленный Вяземский так ответил на это предположение: «Благодарю за высокое мнение о уме моем, но не хочу променять на него мое сердце и мою честь. В таких словах отзывается или неумышленность неведения, или эхо замысловатой клеветы. Нет, те, которые меня знают, скажут, что ни сердце, ни ум мой не свойства расчетливого и промышленного». А спустя много лет Вяземский объяснил действительную причину своего отказа стремлением сохранить полную независимость своих мнений и поступков. «Всякая принадлежность к тайному обществу есть уже порабощение личной воли своей тайной воле вожаков. Хорошо приготовление к свободе, которое начинается закабалением себя»².

Ю. М. Лотман с полным основанием отвергал попытки видеть в расхождении Вяземского с декабристами некий симптом его «поправения». «Заполняя само понятие свободолюбия другим содержанием, чем декабристы, Вяземский тем не менее шел в эти годы по пути углубления критики реакции, обострения отношений с правительством. Вера в близость общественных перемен, стремление их ускорить не покидали Вяземского и в эти годы»³.

В период, последовавший за разгромом восстания, в дни, когда обширные дворянские круги предавали декабристов анафеме и солидаризировались с правительственными мерами, Вяземский, напротив, словно забыл о своих прежних разногласиях с членами тайных обществ — в письмах и записных книжках он клеймил па-

¹ Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 159.

² Там же, с. 155—156.

³ Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов. — Ученые записки Тартуского гос. университета, вып. 98. Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1960, с. 115.

лачей и оправдывал жертв. Даже в записке, предназначенной для царя и правительственных кругов, он недвусмысленно рукой писал о «смутах 14 декабря»: «Сей бедственный для России день и эпоха кровавая, за ним следующая, были страшным судом для дел, мнений и помышлений настоящих и давно прошедших»¹.

Чтобы представить себе все вызывающее звучание этих слов, нужно вспомнить, как тщательно заботились власти о том, чтобы восстание на Сенатской площади именовалось не иначе, как «происшествие 14 декабря». Когда Пушкин, давая объяснения по поводу распространявшегося в списках отрывка из элегии «Андрей Шенье», имел неосторожность назвать его «несчастливым бунтом», это вызвало суровую отповедь Государственного совета, постановившего, что «по неприличному выражению Пушкина в ответах насчет происшествия 14-го декабря 1825 года («Несчастный бунт»)... поручено было иметь за ним в месте его жительства секретный надзор»².

Вяземский сделал несравнимо худшее. День разгрома восстания, который официальная пропаганда изображала днем спасения России от ужасов анархии и «безначалия», якобы уготованных ей декабристами,— этот день Вяземский назвал «бедственным». Еще более крамольным было определение последовавшей за ним эпохи как «эпохи кровавой». Более прямое и резкое обвинение, брошенное в лицо палачам, трудно себе представить.

Но если Вяземский позволил себе подобную откровенность в объяснениях с правительством, то еще недвусмысленнее и резче он выражал те же мысли, беседуя на страницах записной книжки с самим собой. «Кровь требует крови,— писал он.— Кровь, пролитая именем закона или побуждением страсти, равно вопит о мести, ибо человек не может иметь право на жизнь ближнего». Вяземский ведет спор с Карамзиным, который «говорил гораздо прежде происшествий 14-го и не применял слов своих к России: «честному человеку не должно подвергать себя виселице!». Это аксиома прекрасной, ясной души, исполненной веры к Провидению: но как согласите вы с нею самоотречение мучеников веры или политических мнений?.. Дело в том, чтобы определить теперь меру того, что *можно* и чего не должно *терпеть*».

¹ Вяземский П. А. Записные книжки, с. 155.

² Цит. по статье Л. Н. Майкова «Пушкин в изображении М. А. Корфа».— Русская старина, 1899, № 8, с. 310.

Вяземский напоминает стихи самого Карамзина о Риме, «некогда геройством знаменитом», а ныне состоящем лишь из убийц и жертв.

«Жалеть о нем не должно:
Он стоял лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно.

Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению народному». Декабристы были людьми, которые увидели, что «мера долготерпенья в России преисполнена», которые сказали, как сказал один из них, Пушкин: «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если б мы пропустили нынешний единственный случай»¹.

Вяземский задавался вопросом: «Достигла ли Россия до степени уже несносного долготерпения и крики мятежа были ли частными выражениями безумцев или преступников, совершенно по образу мыслей своих отделившихся от общего мнения, или отголоском *genfocse* общего ропота, стенаний и жалоб?» Россия, не правительство, не Сенат, не та «мнимая Россия», на борьбу с которой и поднялись декабристы, но Россия угнетенная и обездоленная, представители всех сословий и всех краев страны, только и могла бы решить по справедливости вопрос: «...Не преступны ли те, которые посягали на перемену вашего положения?.. Не ваши ли общие стенания, не ваш ли повсеместный ропот вооружил руки мстителей, хотя и не уполномоченных вами на деле, но действовавших тайно в вашем смысле, тайно от вас самих, но по вашему невыраженному внушению?»

Для Вяземского ответ на этот вопрос не вызывал сомнений. В то время как царизм стремился изобразить «делом всей России» расправу с участниками восстания, Вяземский уверенно утверждал, что именно борьба, на которую поднялись декабристы, была «делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом участвовала делом или помышлением, волею или неволею в заговоре, который был не что иное, как вспышка общего неудовольствия». Всю ответственность за происшедшее Вяземский возлагает на правительство: оно не хотело видеть необходимость преобразований, которые «есть и ныне, без сомнения, цель молитв всех верных сынов России, добрых и рассудительных граждан», не хотело понять, что «народы рано или поздно, утомленные недействительностью своих же-

¹ Цит. по кн.: Вяземский П. А. Записные книжки, с. 129.

ланий, зреющих в ожидании, прибегают в отчаянии к посредству *молите вооруженных*»¹. Оправдание декабристов Вяземский видел в том, что они были выразителями недовольства России, общего мнения, владевшего страной. В этом же он усматривал и источник своей собственной правоты и силы. «Могу утвердительно сказать, — заявлял он правительству, — что все мнения мои, самые резкие, были отголосками общего мнения, то есть в известной частной среде они имели невыраженный, но не менее в существе своем гласный отголосок в общем мнении».

Особое значение имеют те места «Исповеди», где Вяземский обращается к характеристике своих писем, которые называет «единственным обвинительным фактом в тяжбе», которого не в состоянии опровергнуть и в котором стремится «прямодушно» оправдаться. «Должно бы, — с чувством достоинства и внутренней независимости заявляет Вяземский, — обратить внимание на время, в которое писаны были сии письма, и, может быть, волнение, в их отзывающееся, отголосок тогдашней эпохи, отпечаток тогдашнего перелома и раздражения оправдывается самой сущностью событий».

Объясняясь с властями относительно содержания своих писем, Вяземский впадает в любопытное противоречие с самим собой. С одной стороны, он стремится снизить значение высказывавшихся в них суждений. «Частное письмо», уверяет он, лишь беседа с глазу на глаз, «род тайной исповеди». «Если они высказывают намерение действовать на эти лица или чрез них на другие и на общее мнение, если они в некотором отношении род поучений, разглашений, то предосудительность оных размеряется целью, на которую они метят». Но письма, адресованные близким родственникам, жене, не могут быть злонамеренными.

Однако спустя лишь несколько десятков строк Вяземский заявляет, что его письма отнюдь не были лишь «родом тайной исповеди» и преследовали цель действовать на определенных лиц и общее мнение: «В припадках патриотической желчи, при мерах правительства, не согласных, по моему мнению, ни с государственной пользою, ни с достоинством русской нации... я часто нарочно передавал стгоряча письмам моим животрепещущее соболезнование моего сердца: я писал часто в надежде, что правительство наше, лишенное независимых органов об-

¹ Вяземский П. А. Записные книжки, с. 127—131.

щественного мнения, узнает, перехвачивая мои письма, что есть, однако же, мнение в России, что посреди глубокого молчания, господствующего на равнине нашего общества, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего»¹.

Лишь учитывая эту установку Вяземского, можно правильно оценить те суждения, которые содержались в письмах, запечатлевших отклик на поражение декабристов и расправу с ними. Через четыре дня после казни руководителей восстания Вяземский писал жене: «Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо. Может быть, они и правы, а я виноват в своем образе мыслей, но я не могу, не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни!» Через три дня он вновь возвращается к тем же мыслям: «...О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибывает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место... Будут ли жены иметь позволение следовать за мужьями? Дай бог, чтобы по крайней мере частные примеры женских добродетелей выкупили эпоху нашу от позора и гнусности, коими она запечатлена»². Почти те же слова он повторил, говоря о женах декабристов в письме к А. И. Тургеневу: «Дай бог хоть им искупить гнусность нашего века»³. «...Я сострадаю жертвам, — писал он Жуковскому, — и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником их палачей... Все это дело во всех отношениях и последствиях огадило мне Россию...»⁴

В ноябре 1826 года Вяземский прочел «Абидосскую невесту» И. И. Козлова и обратил внимание на строки посвящения, относящиеся к Николаю I,

Чей первый царства день был днем бессмертной славы,
Спасеньем алтаря, России и Державы.

И откликнулся на них в письме к А. И. Тургеневу и Жуковскому словами, почти буквально совпадающими с тем, что писал о декабристах Пушкин: «Досадно и грустно. Хотел бы похвалить поэму, но рука не подымается упомянуть об эпистоле. Не наше дело судить, а все-таки

¹ Вяземский П. А. Записные книжки, с. 160—162.

² Остафьевский архив князей Вяземских, т. V, вып. 2. СПб., 1913, с. 52, 54—55.

³ Переписка А. И. Тургенева с князем П. А. Вяземским, т. I (Архив братьев Тургеневых, вып. 6). Пг., 1921, с. 43.

⁴ Остафьевский архив, т. V, вып. 2, с. 159.

сто двадцать братьев на каторге. Можно бы полжизнью купить забвение 14 декабря, а не то, что воспевать его, разве с тем, чтобы призывать милосердие на головы виновных и жертв»¹.

О том, как отнесся Вяземский к разгрому восстания и расправе с его участниками, о побуждениях, которыми руководствовались декабристы, о смысле их деятельности сохранилось много выразительных и дополняющих друг друга свидетельств. Но важно не только то, что он думал, как понимал ситуацию. Важно и то, что он чувствовал и как переживал происходящее. С этой точки зрения ни один из дошедших до нас документов не может сравниться с письмом, которое в 1826 году Вяземский написал Жуковскому. Здесь нашли себе место некоторые самые категорические формулировки, выразившие отношение Вяземского к участникам тайных обществ. Здесь выплеснулись страсти, клекотавшие в его душе, ненависть, отчаяние, гнев, которые ее переполняли.

Восстание на Сенатской площади в глазах Вяземского конца 1820-х годов — событие огромного исторического значения. «Ограниченное число заговорщиков ничего не доказывает, — писал он — *единомышленников* много, а в перспективе десяти или пятнадцати лет валит целое поколение к ним на секурс. Вот что должно постигнуть и затвердить правительство... Из-под земли, в коей оно теперь невидимо, но ощутительно зреет, пробьется грядущее поколение во всеоружии мнений и неминуемости, которое не будет подлежать следственной комиссии Левашовых, Чернышевых и Татищевых. Тогда что сделает правительство, опереженное временем, заснувшее на старом календаре?.. Доказательство тому, что я не одобрял ни начала, ни средств, кои покушались привести в действие, есть то, что пишу тебе из Москвы; но постигаю причины и, не оправдывая лиц, оправдываю действие, потому что вижу в нем неминуемое следствие бедственной истины... Не думаю, чтобы удалось мне обратить своими речами, но сказав их вслух тем, кому ведать сие подлежит, я почел бы, что недаром прожил на свете и совершил по возможности подвиг жизни своей. Например, я тебе проповедую очень бескорыстно, потому что уверен в недействительности слов моих над тобою, но мне все-таки легче, высказав то, что горело у меня на сердце. Жертвенник курится не с тем, чтобы вечно

¹ Остафьевский архив, т. II, вып. 2, с. 192.

шло благоухание, а с тем, чтобы не погаснуть или не лопнуть, если не будет исхода его пару»¹.

Декабристы знали, что-то по крайней мере знали об отношении к ним Вяземского. Их благодарность отразилась, в частности, в письме, которое прислал ему вскоре после освобождения из Петропавловской крепости Михаил Орлов: «Любезный друг, знаю всю твою дружбу и умею ее ценить... Как ты благородно чувствуешь, как ты берешь участие в друзьях твоих, как ты стоишь грудью за них и как ты не отходишь в несчастьи от тех, которых в счастье любил»².

Воспоминания Якушкиных сохранили для нас знаменательный факт: вечером 14 декабря 1825 года Вяземский пришел к Пушину, и, пренебрегая опасностями, с которыми был связан такой шаг, взял у него на сохранение портфель с рукописями декабристов, с автографами Рылеева и Пушкина, «Конституцией» Никиты Муравьева. Через тридцать лет он возвратил этот портфель владельцу³.

Естественно, что человек, который даже в письмах к жене и друзьям усматривал средство заставить правительство услышать голос «мнения общего», стремился использовать каждую, даже самую ограниченную возможность, чтобы это мнение прозвучало и в печати. Он опубликовал в «Московском телеграфе» написанную еще в конце 1810-х годов статью «О злоупотреблении слов», где выступил против тех, кто пытается придать порочный смысл слову «вольнодумец»: «По-настоящему вольнодумец тот, кто пользуется свободой мыслить»⁴. В те годы, когда, по справедливому замечанию М. И. Гиллельсона, «слово «вольнодумец» было синонимом слова «декабрист» и защита Вяземским вольнодумства являлась по сути дела оправданием свободолобивого духа декабризма»⁵, подобные заявления приобретали демонстративно оппозиционный смысл.

Со страниц «Московского телеграфа» Вяземский принял и другую попытку выразить сочувствие декабристам, попытку, замеченную властями и вызвавшую острую реакцию. В 1827 году в обширном, лично одобренном

¹ Остафьевский архив, т. V, вып. 2, с. 159—161.

² Литературное наследство, т. 60. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 38.

³ См.: Декабристы и их время, т. I, 1926, с. 67—68.

⁴ Московский телеграф, 1827, ч. 13, № 1, отд. 2, с. 16.

⁵ Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский, с. 144.

Николаем I, письме к Вяземскому его бывший собрат по «Арзамасу», ставший делопроизводителем Верховной следственной комиссии над декабристами, а позднее министром внутренних дел, Д. Н. Блудов писал, характеризуя статью Н. А. Полевого «Взгляд на русскую литературу 1825 и 1826 гг.»: «...На стр. 8 ставится вопрос: *что сделали русские в течение двух последних лет?* А ведь это годы 1825 и 1826. Ниже вы говорите: *в конце 24-го года мы надеялись продвинуться вперед; в 25-м эта надежда была обманута, как и многие другие... Сколько сладостных химер разрушено в течение этих двух лет!* Далее цитируются стихи Сади в переводе Пушкина. Я не могу поверить, чтобы вы, приводя эту цитату и говоря о друзьях умерших или отсутствующих, думали о людях, справедливо пораженных законом; но другие сочли именно так, и я представляю вам самому догадываться, какое действие способна произвести эта мысль»¹.

Блудов имел в виду следующие слова из статьи Полевого: «В эти два года много пролетело и исчезло тех резвых мечтаний, которые веселили нас в былое время... Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый, и часто (думая о тебе) с грустью повторяю слова Сади (и Пушкина, который нам передал слова Сади): *Одних уж нет, другие странствуют далеко!*»² Мы не знаем, какие основания имел Блудов считать Вяземского автором этих строк (вы говорите... вы приводите цитату...), но мы точно знаем по сохранившимся в Библиотеке им. В. И. Ленина библиографическим записям С. Д. Полторацкого, что Вяземский действительно был автором этого криминального абзаца³.

Пассаж Вяземского был отмечен и соответствующим образом прокомментирован в болгаринском доносе на «Московский телеграф»: «...Сожаление о погибших друзьях, на странице 9, было всеми понято и доставило большой ход журналу. В статье все жалуются на два последних года, т. е. 1825 и 1826 — время отлучки Тургенева и ссылки бунтовщиков. Все так ясно изъяснено, что не требует пояснений»⁴.

¹ Гиллельсон М. И. Письмо А. Х. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому о «Московском телеграфе». — Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1960, с. 420—421.

² Московский телеграф, 1827, ч. XIII, № 1, с. 9.

³ См. об этом: Пушкин. Исследования и материалы, т. III, с. 423.

⁴ Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II. СПб., 1889, с. 389.

Отсюда это перешло в письмо Блудова, которое Вяземский, вероятно, показал Пушкину, а может быть, и Баратынскому, и перефразировка Саади в «Стансах», а позднее и в восьмой главе «Евгения Онегина» стала уже почти принятой формой напоминания о судьбе декабристов.

Через несколько лет ту же формулу использовал для упоминания о декабристах и Белинский. «Вместе с Пушкиным,— писал он в «Литературных мечтаниях»,— появилось множество талантов, теперь большею частью забытых или готовящихся быть забытыми, но некогда имевших алтари и поклонников; теперь из них

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал»¹.

То, что Белинский имел в виду именно декабристов, подтверждается почти буквальным совпадением этого места статьи с тем, что он написал два года спустя о члене ранних декабристских организаций П. А. Катенине, упомянув его в числе писателей, лишаящихся своих алтарей и погибающих в Лете².

Но вернемся к Вяземскому. Под влиянием известия о казни пяти руководителей восстания он пишет стихотворение «Море». В нем отразилось то же настроение, которое пронизывало и письма, посланные им жене из Ревеля: «В наши строгие лета, Лета существенности лютой» лишь море сохранило чистоту. «Ни смертных хищная рука, ни рока грозного перуны» не возмутили морских волн.

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святости
Не опозорена лазурь.
Кровь ближних не дымится в ней;
На почве, смертным непослушной,
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной³.

Посылая это стихотворение Пушкину, Вяземский сопроводил его выразительным комментарием: «...Я пою или

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1953, с. 74.

² Там же; с. 164. См. об этом: Оксман Ю. Г. Белинский и политические традиции декабристов.— В кн.: Декабристы в Москве, с. 187.

³ Вяземский П. А. Стихотворения. Л., Советский писатель, 1958, с. 193.

вижду стгоряча, потому что на сердце тоска и смерть, частное и общее горе» (т. XIII, с. 289). Пушкин, конечно, понял политический подтекст стихотворения и написал на него ответ, вызванный не подтвердившимися впоследствии слухами, что Николай Тургенев был будто бы морем, на корабле, доставлен из-за границы в Россию.

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун Земли союзник.
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.

(т. XIII, с. 290)

Политическая острота пушкинского ответа долго делала невозможным его опубликование, но «Море» Вяземского было напечатано в «Северных цветах» в 1828 году. Негодование, боль, острое неприятие происходящего вызвали к жизни одну из наиболее острых политических инвектив Вяземского — стихотворение «Русский бог» (1828).

В 1830-е годы политическая тема, какой она звучала в «Негодовании», в «Унынии» (1819), в «Русском боге» и стихотворении «К ним» (1828 или 1829), уходит из творчества Вяземского. Но тоска, состояние безнадежности, назойливые мысли о беспечности дальнейшего существования, в которые погрузился Вяземский и которые он с большой силой выразил в стихах тех лет, были порождены атмосферой, сложившейся в России в результате поражения восстания декабристов. Иначе эти стихи понять нельзя. Его томит сознание своей ненужности, беспечности дальнейшего существования. Не стало сверстников, отторгнуты жестокой судьбой многие прекрасные имена.

А мы остались, уцелели
Из этой сечи роковой,
Но смертью ближних оскудели
И уж не рвемся в жизнь, как в бой.

Печально век свой доживая,
Мы запоздавшей смены ждем,
С днем каждым сами умирая,
Пока не вовсе мы умрем¹.

Острое, болезненное неприятие окружающего дает се-

¹ Вяземский П. А. Стихотворения, с. 266.

бя знать во многих произведениях Вяземского. Нет сомнения в том, что пессимизм, овладевший им в годы николаевского царствования, уходил корнями в последствия трагедии 14 декабря. Но сам Вяземский с годами становился все менее способен отдавать себе отчет в этом, и к концу жизни он пришел к полному пересмотру своего прежнего отношения к декабристам. Обширные письма, которые престарелый поэт писал в 70-х годах к издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу, — это словно спор с самим собой. Будто умелый режиссер окаймил полвека духовной истории Вяземского его письмами к Жуковскому и к Бартеневу, стремясь представить потомкам редкую по выразительности драму, которую можно было бы назвать «Вяземский против Вяземского».

Дело не в том, что Вяземский пересмотрел свои прежние оценки. Время и исторический опыт меняют отношение к событиям прошлого — это естественно. Дело в том, что Вяземский лишился способности видеть и оценивать эти события без аберрации, вызванной его отношением к революционерам последующих эпох. Годы не углубили воззрение Вяземского на события 14 декабря, а исказили его. Прошлое затянулось дымкой и утратило конкретность очертаний. Представление о различиях между декабристами и Белинским, между Рылеевым и Нечаевым исчезло. Все они слились в нечто единое, нечленимое и человеку, которого когда-то по праву можно было назвать «декабристом без декабря», глубоко враждебное. «Самая затея совершить государственный переворот на тех началах и при тех способах и средствах, которые были в виду, уже победоносно доказывает политическую несостоятельность и умственное легкомыслие этих мнимых и самозванных преобразователей. Были между ними благодущные, скажу, чистые личности, у которых ум зашел за разум, которые много зачитались и мало надумались. Их соблазняла слава гражданского подвига. Они мечтали, что стоит только захотеть, стоит только заключить союз благоденствия или какой другой, обязать себя клятвою, и дело народного спасения и перерождения возникнет, как будто само собою. Это были утописты, романтические политики».

Конечно, это рассуждение не только о декабристах и прежде всего не о них. Не о Союзе благоденствия, а вообще о союзах благоденствия. И ходом дальнейшего рассуждения Вяземский явно подтверждает это. Движение декабристов в его толковании — одно в ряду повторяю-

щихся явлений. «Все это история почти всех тайных обществ, особенно нашего. Много пало и падет жертв, по закону виновных, по нравственному и физиологическому суждению невинных или непорочных, в которых недуг был не самородный, а привитой. О несчастных можно, и даже должно сожалеть, будь они увлекатели или увлеченные; но все же из того не следует, что каждое несчастье должно возводить на амвон и преклонять пред ним колена, как пред святынею»¹.

Готовый сочувствовать судьбе «несчастных» участников движения, Вяземский всего более опасался, чтобы они не стали образцом для подражания, и потому не жалел полемических стрел для дискредитации их дела. «...Нельзя не прийти к заключению,— писал он,— что замыслы их были преступны и безумны не только противу правительства, но и противу России, которая не устояла бы, или, по крайней мере, надолго была бы потрясена, если покушение их увенчалось бы успехом. Оно залило бы Россию кровию, и эти передовые люди утоплены были бы в этой крови другими лицами *передовейшими*. Должно еще принять в соображение, что это покушение не было вынуждено нестерпимостию или роковою крайностию обстоятельств. В России могли быть злоупотребления и недуги, которые желательно было бы истребить и исцелить, но не нужно было доходить до пролития крови; а к сожалению, убийство у них было на первом плане и едва ли не единственным средством, чтобы достигнуть до цели, имевшейся у них в виду»².

И это писал человек, с такой убедительностью когда-то показавший, что выступление декабристов было проявлением того, что «мера долготерпения в России преисполнена», что народы, «утомленные недействительностью своих желаний, зреющих в ожидании, прибегают в отчаянии к посредству *молитв вооруженных*»³, что, лишь открыв «просторное поприще для деятельности ума», можно создать положение, когда «не нужно будет бросаться в заговоры, чтобы восстановить в себе свободное кровообращение, без коего делаются в нем судороги»⁴.

¹ Письмо к П. И. Бартеневу от ноября 1875 г.— По поводу бумаг Жуковского.— Русский архив, 1876, кн. II, с. 260.

² Письмо к П. И. Бартеневу от 21 ноября 1871 г.— Летописи Государственного литературного музея, кн. 3. Декабристы. М., 1938, с. 495—496.

³ Вяземский П. А. Записные книжки, с. 131.

⁴ Остафьевский архив, т. V, вып. 2, с. 160.

Сегодня Вяземский не может скрыть страха, который внушало ему влияние, оказываемое на русское общество Герценом и герценовской оценкой восстания 14 декабря. Он обрушивается на «журналистов», которые «по примеру Герцена... стали подогрывать остывшие и забытые предания: сперва все это делалось довольно скромно и в биографических размерах. А потом уже почти дошло до апофеозы. Что ни говори, а это уж лишнее. Подобные изображения вроде Плутарха могут иметь сильное влияние на молодые умы. Может быть, и сам Нечаев не зачитался ли этих повествований и не разгорелся ли подогретыми преданиями»¹. О людях, в которых Вяземский когда-то видел единомышленников, он говорит теперь как о недругах: «Они были политические Белинские. Как в нем, так и в них не было никакой основы, а была отвага, заносчивость и самонадеянность. Они могли бы при удаче все поколебать и даже ниспровергнуть. Но ничего создать не могли»².

Подобные идеи совпадали с тем, что думали и писали о декабристах многие реакционеры 70-х годов. Но ведь это большей частью были люди, которые имели весьма приблизительное представление о событиях 1825 года и нисколько не стремились его уточнить. А Вяземскому и в старости не отказала острота памяти. Чем же объяснить те анафемы, которые он посылал на головы своих бывших соратников, то нескрываемое раздражение, с которым он вспоминал об их деятельности? Не тем ли, что продолжателями дела декабристов оказались политические противники Вяземского, люди из враждебного ему лагеря? Не тем ли, что само освободительное движение пошло не теми путями, которые отвечали бы желаниям Вяземского? Полвека, минувшие после восстания на Сенатской площади, позволили увидеть и оценить смысл происшедших тогда событий глубже, чем это было сделано по их свежим следам. Вяземский его увидел, оценил и отшатнулся, отрекаясь и от своих друзей, и от своего прошлого.

* * *

И наконец — Пушкин. «О Пушкине и декабристах написаны горы бумаг. Кажется, — об этом уже «все» ска-

¹ Летописи Государственного литературного музея, кн. 3, с. 496.

² Там же, с. 497.

зано»¹. Этим словам М. В. Нечкиной более полувека. За последующие десятилетия «горы бумаги», о которых говорила исследовательница, многократно возросли. Особенно много было сделано для изучения взаимоотношений Пушкина с членами тайных обществ, влияния, которое оказала идеология дворянской революционности на становление личности и творчества поэта. Отсюда необходимость в какой-то степени ограничить, конкретизировать свою задачу. В центре нашего внимания будут декабристы и декабризм как тема раздумий и творчества Пушкина второй половины 1820-х годов.

Пушкин получил известие о разгроме восстания в декабре («В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь сии записки...» (т. XII, с. 310), — писал он впоследствии). По свидетельству тригорской обитательницы, рассказ которой был записан М. И. Семевским, дело происходило так: «...Однажды, под вечер, зимой — сидели мы все в зале, чуть ли не за чаем. Вдруг матушке докладывают, что приехал Арсений... Арсений рассказал, что в Петербурге бунт, что он страшно перепугался, всюду разъезды и караулы, насилие выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услышав рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен, говорил кое-что о существовании тайного общества, но что именно — не помню»².

В начале января на черновой рукописи «Евгения Онегина» были набросаны портреты декабристов: Рыльева, Кюхельбекера, Пущина. А во второй половине того же месяца в письме к Плетневу появляется первое упоминание об участниках разгромленного восстания: «...Неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит» (т. XIII, с. 256). Начиная с этого момента судьба «друзей, братьев, товарищей» красной нитью проходит сквозь письма, которые Пушкин посылал из Михайловского.

Осмысливая как целое разрозненные, сделанные по разным поводам пушкинские замечания, можно отчетливо видеть сквозные направления, в которых продвигается мысль поэта. Неоднократно, в разном контексте, раз-

¹ Нечкина М. В. О Пушкине, декабристах и их общих друзьях. (По неисследованным архивным материалам). — Каторга и ссылка, 1930, № 4, с. 7.

² Семевский М. И. Прогулка в Тригорское. — Санкт-Петербургские ведомости, 1866, № 157, 11 июня, с. 1.

ными словами он говорит о том, что не одобряет тот путь, который избрали участники восстания: «Я человек мирный» (т. XIII, с. 256), «...Я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел» (т. XIII, с. 257), «...Никогда не проповедовал ни возмущений, ни революции — напротив» (т. XIII, с. 259), «Бунт и революция мне никогда не нравились...» (т. XIII, с. 286).

Можно, конечно, сказать, что Пушкин считался с возможностью перлюстрации его переписки. Но ограничиться подобным объяснением и на этом основании отбросить приведенные высказывания как не соответствующие убеждениям поэта значило бы уйти от подлинного существа проблемы. Пушкин мог умалчивать в письмах о вещах, которые хотел сохранить в тайне, мог находить обтекаемые выражения для того, что стремился сообщить. Но он не называл черное белым и не использовал письма к Дельвигу или Вяземскому как средство довести до сведения властей заверения в своей благонадежности.

Более сложен другой вопрос: в какой мере утверждения Пушкина о том, что он никогда не проповедовал возмущений, что бунт и революция ему никогда не нравились, соответствуют действительности. Как известно, молодой Пушкин написал немало стихотворений, в которых можно видеть убедительное опровержение тех высказываний, которые мы находим в письмах 1826 года. Но ведь наша цель состоит не в том, чтобы «уличить» поэта в неточности каких-то его утверждений, а в том, чтобы уяснить эволюцию его взглядов. Если в прошлом Пушкин и «проповедовал возмущения», то к 1826 году он, по-видимому, пришел к осознанию бесперспективности решения стоящих перед Россией проблем революционным путем. Поражение восстания декабристов должно было укрепить в нем скептический взгляд на живительность семени, которое бросал когда-то «свободы сеятель пустынный» «в порабощенные бразды».

Не приходится брать под сомнение искренность всего, что говорил поэт в те дни о своем отношении к «бунту» и «революции». Искренен был Пушкин и тогда, когда писал позднее в записке «О народном воспитании»: «Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий»

(т. XI, с. 43). Он далек от того, чтобы осудить политические изменения, происшедшие в Европе вследствие Великой французской революции, но он убежден, что такие изменения становятся реальностью, когда они «вынуждены... силою обстоятельств и долговременным приготовлением». Те, кто игнорирует это, обрекают свои замыслы на заведомую неудачу.

Вскоре после записки «О народном воспитании», датированной 15 ноября 1826 года, поэт вновь противопоставляет события французской революции восстанию декабристов. 27 января 1827 года он давал показания относительно отрывка из элегии «Андрей Шенье», распространенного под заглавием «На 14 декабря»: «...В сем отрывке поэт говорит о взятии Бастилии, о клятве du jeu de paume¹, о перенесении тел славных изгнанников в Пантеон, о победе революционных идей, о торжественном провозглашении равенства, об уничтожении царей, — но что же тут общего с несчастным бунтом 14 декабря, уничтоженным тремя выстрелами картечью и взятием под стражу всех заговорщиков?»²

Хотя письма Пушкина пронизаны трогательной заботой о декабристах, сочувствием им, надеждами на смягчение их участи, Пушкин нигде и ни в какой форме не солидаризуется с избранным ими образом действий. Сквозь письма и заметки, запечатлевшие размышления Пушкина над тем, что официально называлось «происшествием 14 декабря», и над судьбами его участников, проходит несколько стержневых понятий.

Во-первых, «необходимость», «необъятная сила правительства, основанная на силе вещей» (т. XI, с. 43). Ситуация — «на всех стихиях человек — Тиранин, предатель или узник» (т. III, с. 21) — это трагическая необходимость. Необходимостью Пушкин признает «решимость и могущество», выразившиеся в «мерах правительства» (т. XIII, с. 262) после подавления восстания. Пушкин соглашался хранить свой образ мыслей про себя и не противоречить «необходимости» (т. XIII, с. 266).

Во-вторых, «несчастные» — те, кто не осознал «необходимости» и деятельность которых оказалась в противоречии с необходимостью. «С нетерпением ожидаю решения участи несчастных...» (т. XIII, с. 259), «...Дух и нра-

¹ Букв.: игра в мяч (фр.).

² Майков Л. Н. Пушкин в изображении М. А. Корфа. — Русская старина, 1899, № 8, с. 309.

вы того поколения, коего несчастные представители погибли в наших глазах» (т. XI, с. 43), «Несчастный заговор» (т. XII, с. 319), «несчастный бунт».

И, наконец, третье — «милость». «Я приехала просить милости, а не правосудия», — говорит Мапа Миронова императрице (т. VIII, с. 372)¹. Так же мог бы сказать и Пушкин. Не правосудия или справедливости он просит для декабристов, а снисхождения, великодушия, прощения, милости. «Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя» (т. XIII, с. 259). «...Крепко надеюсь на милость царскую» (т. XIII, с. 262). «...Того и гляди, что наших каторжников простит» (т. XIV, с. 122). В Петре I, которого Пушкин ставит в пример Николаю, он настойчиво акцентирует именно милосердие, то, что Петр «памятью... незлобен» (т. III, с. 40), «с подданным мирится; // Виноватому вину // Отпуская, веселится... // И прощенье торжествует, // Как победу над врагом» (т. III, с. 409). А за полгода до смерти, размышляя о том, чем он будет любезен народу, Пушкин лапидарно помянул дело, составившее целую полосу его жизни: «...Милость к падшим призывал» (т. III, с. 424).

Значит ли это, что Пушкин считал повстанцев виновными? И утвердительный, и отрицательный ответ на этот вопрос были бы далеки от истины. Реалистический взгляд Пушкина, не писателя-реалиста, но реалистически мыслящего политика, улавливал действительную суть коллизии. Было самодержавие, был возглавляемый им общественный лагерь, созданные им институты и совокупность разработанных ими этических норм. С точки зрения этого лагеря, декабристы были преступниками, нарушителями закона, обрушенная на них кара была справедливой и просить можно было лишь о смягчении этой кары, о прощении, о снисхождении, о милости.

Но декабристы тоже составляли лагерь, где действовали иные принципы, свои этические императивы. С точки зрения этого лагеря, то, что представлялось самодержавию преступлением, было проявлением гражданской доблести, выполнением морального долга, и кара, которой подверглись участники восстания, была жестокой и несправедливой.

Пушкин стоял выше ограниченности каждой из этих

¹ См. анализ этой реплики в статье Ю. М. Лотмана «Идейная структура «Капитанской дочки». — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1962, с. 15—16.

позиций. Он смотрел на трагедию «взглядом Шекспира». Отсюда необыкновенное по своей глубине замечание в записке «О народном воспитании»: «...Братья, друзья, товарищи поймут необходимость и простят оной в душе своей» (т. XI, с. 43). Значит, власти не только должны простить восставших, но и сами нуждаются в прощении. Не возобладания одного лагеря над другим, *нашей* правды над *их* правдой жаждет Пушкин, а торжества гуманизма, добра над злом, милосердия над мстительностью.

Пушкин был, конечно, не единственным, кто просил у царя милости для декабристов. Просил А. Ф. Орлов за своего брата, просил Грибоедов за А. И. Одоевского. Обычно просили за близких, за родных, за друзей. У Пушкина тоже были друзья среди жертв царской расправы. Но просил он за всех, за «наших каторжников». Все 120 «несчастных», в том числе и те, кого он ни разу не видел, стали для него в час невзгоды «друзьями, братьями, товарищами».

А между тем можно предполагать, что он по-разному оценивал деятельность разных участников восстания. Так, в «Стансах» (1826), стремясь поставить Петра I в пример Николаю («Во всем будь пращурю подобен...»), Пушкин строит стихотворение на аналогиях между событиями петровской и николаевской эпохи.

Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни,—

говорит он, давая понять царю, что и его дни могут стать «славными», несмотря на омрачившие их «мятежи и казни». Но Николай должен быть для этого справедливым и мудрым, как Петр:

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.

(т. III, с. 40)

Значит, среди тех, чьи «мятежи» «мрачили» дни Николая, тоже были Долгорукие, а были и буйные стрельцы?

Необходимо вернуться и к тем высказываниям Пушкина о декабристах, которые были сделаны в ходе его разговора с Николаем I в Москве. Мы располагаем, как известно, разными версиями этого разговора. А. Г. Хомутова так передает его со слов поэта: «Государь долго говорил со мною, потом спросил: «Пушкин, принял ли бы ты участие в 14-м декабря, если б был в Петербур-

ге?» — «Непременно, государь, все друзья участвовали в этом заговоре, и мне невозможно было бы отстать от них (не быть в их числе). Меня только и спасло, что я не был в Петербурге, и за это я благодарю Небо»¹. М. А. Корф передает другое изложение этого же эпизода со слов Николая I: «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я его между прочим. «Стал бы в ряды мятежников», — ответил он»². Принято считать, что свидетельство Корфа подтверждает сообщение Хомутовой, притом именно формула Корфа — более лаконичная и сосредоточивающая внимание на самой сути мужественного ответа Пушкина, — обычно цитируется в работах о поэте.

Между тем нетрудно заметить, что две версии разговора Пушкина с царем совпадают не полностью, и обнаружившиеся между ними отличия заслуживают внимания и анализа. Верно, конечно, что оба источника подтверждают исключительное мужество Пушкина, ответившего на вопрос царя так, что последствия этого ответа были трудно представимы. Но ведь важно не только то, что Пушкин стал бы в ряды мятежников, но и то, почему он это сделал бы, каковы были бы мотивы этого поступка. Корф ничего не говорил об этом, а из рассказа Хомутовой ясно: Пушкиным руководили бы при этом не политические, а этические императивы. Он не считал возможным просидеть в безопасном месте тот час, когда его друзья (правы они были или нет) пошли на верную гибель. Отступничество в такой момент было для Пушкина невозможно, и он сам бы поставил себя в ряды «несчастных».

Важно иметь в виду, что разговор Пушкина с Хомутовой велся по свежим следам событий, а разговор Николая I с Корфом имел место в апреле 1848 года, то есть через двадцать с лишним лет. Естественно, что царь забывал или опустил детали, а воспроизвел то, что его больше всего поразило, — само существо пушкинского ответа, а не сопровождавшие его аргументы.

С другой стороны, рассказ Хомутовой дает и психологически более правдоподобную версию. Решаясь на столь дерзкое в своей прямоте заявление, Пушкин, несомненно, стремился и как-то объяснить поступок, ко-

¹ Русский архив, 1867, стлб. 1066. Подлинник по-французски.

² Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа. — Русская старина, 1900, № 3, с. 574.

торый он совершил бы, находясь 14 декабря в Петербурге. Знакомясь с письмами, в которых Пушкин (через Бенкендорфа) обращался к Николаю I, можно видеть, что они обычно содержат объяснения тех поступков, в совершении которых его обвиняли власти, и эти объяснения зачастую близки к тем, которые дошли до нас через посредство Хомутовой.

И еще один — пусть косвенный, но заслуживающий внимания — аргумент в пользу «хомутовской» версии. Через несколько месяцев после разговора с царем Пушкин написал стихотворение «Акафист Е. Н. Карамзиной», которое начал словами:

Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный провиденьем
Святой владычице пловец
Свой дар несет с благоговеньем.

(т. III, с. 64)

Нельзя не заметить, что второй стих этого послания — поэтическая формула, в которую спрессована мысль, высказанная 8 декабря Николаю: «Меня только и спасло, что я не был в Петербурге, и за это я благодарю Небо».

Был в разговоре Пушкина с царем еще один момент, на котором стоит остановиться. Николай I рассказал Корфу: «На вопрос мой, переменился ли его образ мысли и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пушу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием — сделаться другим»¹. В чем была причина «долгого колебания» и «длинного молчания» Пушкина? Не он ли с первых месяцев царствования Николая I не раз говорил о своем желании «*вполне и искренно помириться с правительством?*» (т. XIII, с. 259).

Дело было, по-видимому, в одном важном отличии тех условий, на которых это примирение было желательно для Пушкина, от тех, которые предложил ему Николай. Как известно, 7 марта 1826 года Пушкин написал письмо Жуковскому, предназначенное для ознакомления с ним властей. В этом письме, в частности, говорилось: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен

¹ Русская старина, 1900, № 3, с. 574.

безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» (т. XIII, с. 265—266). Царь же требовал иного: он вторгался в «образ мыслей» поэта, требовал обещания «сделаться другим», не только «действовать», но и «думать» «впредь иначе». Отсюда и долгое колебание, предшествовавшее согласию, которым Пушкин ответил на предложение Николая.

В дни, когда Арсений привез в Михайловское известие о «бунте» в Петербурге, Пушкин завершал работу над четвертой главой «Евгения Онегина», дописанной 6 января 1826 года. Последняя строфа этой главы вместила в себя лирическое отступление, в котором явственно слышится отзвук размышлений о «братьях, друзьях, товарищах».

Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомнив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге,
Или, нежней, как мотылек,
В весенний впившийся цветок;
Но жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова,
Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит,
Чье сердце опыт остудил
И забываться запретил!

(т. VI, с. 94—95)

В этой строфе — торжество скептицизма, холодного разума над чувствами, неоправданным энтузиазмом, надеждами на будущее. Хотя Пушкин и говорил, что тот, кто «предан вере», — блажен, а тот, кто все предвидит, «жалок», сам он, конечно, ближе ко второму воззрению. «Стократ блажен» — сказано пронически (ср. десятую строфу восьмой главы — «Блажен, кто с молодости был молод»), и это особенно подчеркнуто резко сниженным, насмешливым сравнением: блаженный энтузиаст «покоится в сердечной неге, // Как пьяный путник на ночлеге».

«Жалок», несчастен тот, кому открылась беспощадная правда, чье сердце остужено опытом, но это неоправдано: возврат к миру иллюзий для него уже невозможен. Вспомним стихи Баратынского, которыми в свое время так восхищался Пушкин:

Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я...¹

¹ Баратынский Е. А. Стихотворения и поэмы, с. 110.

В контексте «Евгения Онегина» противопоставление этих двух психических складов, конечно, ассоциируется с антитезой: Ленский — Онегин. Но в контексте времени, с учетом того, чем были поглощены мысли Пушкина, когда он дописывал четвертую главу, напрашивается и другая антитеза. Они, в Петербурге,— те, кто предан вере, и он, в Михайловском, «чья не кружится голова»,

Чье сердце опыт остудил
И забываться запретил!

Через пятнадцать лет, читая в Париже курс «Лекций о славянских литературах», Адам Мицкевич обратился к воспоминаниям о днях, когда в 1826—1829 годах он систематически общался с Пушкиным. Рассказывая, в частности, о том «сильном впечатлении», которое произвел на Пушкина «разгром восстания», Мицкевич сказал: «Он еще не признавался даже самому себе в том, что до сих пор заблуждался, но в интимных разговорах иногда отзывался насмешливо о своих старых друзьях, по крайней мере об их идеалах»¹.

Это высказывание, разумеется, хорошо известно, но оно поминается редко, а предметом обстоятельного рассмотрения не становилось, кажется, никогда. Бесспорно, не все оценки Пушкина, которые мы находим в лекциях Мицкевича, могут быть некритически приняты. В «Лекциях о славянских литературах» дали себя знать и недостаточная осведомленность их автора, и последствия того охлаждения, которое возникло между ним и Пушкиным после польского восстания 1830—1831 годов. Следует, однако, помнить, что их «полемика сочеталась... с чрезвычайно высокой взаимной оценкой»². И нет никаких оснований подозревать Мицкевича в том, что сообщаемые им сведения недостоверны. К парижским лекциям применима характеристика, которую дал М. А. Цявловский некрологу, написанному Мицкевичем после смерти Пушкина: «В той части некролога, в которой Мицкевич выступает как критик произведений Пушкина, он не сказал ничего более или менее значительного. Зато там, где он поделился с читателями своими воспоминаниями о Пушкине, Мицкевич высказал о нашем великом поэте ряд интересных суждений, свидетельствую-

¹ Мицкевич А. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 4. М., Гослитиздат, 1954, с. 388.

² Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., Наука, 1976, с. 252.

щих и о большой близости, существовавшей между ними, и о глубокой интимности понимания сущности натуры Пушкина...»¹

Если же мы согласимся, что сообщаемые Мицкевичем сведения соответствуют действительности, то нужно не отмахиваться от них, а искать их объяснение. Можно сомневаться в том, насколько правильно проникал Мицкевич в мысли Пушкина, насколько верно он передавал то, в чем Пушкин «не признавался даже самому себе», но то, что Пушкин мог говорить Мицкевичу или при Мицкевиче «насмешливо о своих старых друзьях, по крайней мере об их идеалах», — несомненно. Тем более что мы располагаем и другими фактами, которые в известной мере согласуются со свидетельством Мицкевича. Когда Пушкин, вспоминая отклики декабристов на появление «Истории государства Российского», писал: «Молодые якобинцы негодовали» (т. XII, с. 306), можно ли не услышать насмешки или по меньшей мере иронии в этих словах? Поэт полемизирует с негодованием будущих декабристов, защищая Карамзина от несправедливой критики: «Несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, — казались им верхом варварства и унижения» (т. XII, с. 306).

Ни приведенный отрывок из «Автобиографических записок», ни слова, которые слышал из уст Пушкина Мицкевич, ни в малой мере не находятся в противоречии с тем сочувствием, которое вызывала у Пушкина судьба «несчастных». Это — ирония по поводу былых иллюзий, и иллюзий декабристов, и своих собственных. И человечество, и отдельный человек, если он наделен общечеловеческой мудростью, смеясь, прощается со своим прошлым.

В этой же связи можно вспомнить и скрытое упоминание о декабристах, содержащееся в пушкинской заметке «О графе Нулине»: «Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. «Граф Нулин» писан 13 и 14 декабря. — Бывают странные сближения» (т. XI, с. 188). Заметка о «Графе Нулине» доказывает, что содержание поэмы никогда не мыслилось Пушкиным как шутка, как рассказ о «соблазнительном происшествии»,

¹ Цявловский М. А. Пушкин и Мицкевич. — В кн.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., Изд-во АН СССР, 1962, с. 176.

случившемся в Новоржевском уезде. В ее основе лежали размышления о философии истории, о возможности разного развития исторических событий, ход которых мог оказаться не только таким, каким оказался в действительности, но и иным, «о том, как могут мелкие причины произвести великие...» (т. XI, с. 431).

Она была написана потому, что Пушкин, по его собственному признанию, не мог воспротивиться двойному искушению — пародировать историю и Шекспира. Но жизнь сделала так, что история «соблазнительного происшествия», случившегося с «новым Тарквинием», оказалась не двойной, а тройной пародией. «Если бы дело было просто в случайном совпадении ничем не сходных между собой явлений, вряд ли Пушкин стал бы об этом говорить... — обоснованно отмечает А. М. Гордин. — Пушкин говорит о «сближении», т. е. сопоставлении чем-то близких друг другу явлений. Сближение, о котором здесь идет речь, в данном случае не могло не казаться «странным», настолько оно было неожиданным, необычайным, но это все же было сближение»¹. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что стояло за загадочной фразой, на которой оборвалась заметка о «Графе Нулине». Но очевидно, что и она должна рассматриваться как штрих, по-своему характеризующий отношение Пушкина к декабристам и декабризму и в соотнесенности с иронией по поводу негодования «молодых якобинцев» и насмешливыми отзовами о «старых друзьях», которые слышал из уст Пушкина Мицкевич.

Того же происхождения сочувственно-ироническая тональность, которая дает себя знать в «декабристских» строфах десятой главы «Евгения Онегина»:

Сначала эти заговоры
Между лафитом и клико
Лишь были дружеские споры
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов...

(т. VI, с. 525—526)

Еще в 1912 году, вскоре после расшифровки потаенных строф, Н. О. Лернер отметил, что Пушкин «го-

¹ Гордин А. М. Заметка Пушкина о замысле «Графа Нулина». — В кн.: Пушкин и его время, вып. 1. Л., Изд. Гос. Эрмитажа, 1962, с. 245.

ворит о некоторых из членов тайного общества с нескрываемой и незаслуженной ими иронией»¹. За десятилетия, минувшие с той поры, появилось немалое количество работ, авторы которых, стремясь всеми силами «сблизить» декабристов с Пушкиным, оспаривали правомерность такого прочтения этих и некоторых других строк десятой главы. Не вдаваясь в эту полемику, отметим, однако, что спорить здесь можно о мере пушкинской иронии, о ее адресатах или побудительных мотивах, но отрицать наличие ее или недооценивать ее значение нельзя.

Вспомним и об исключительно острой и болезненной реакции, которую вызвали у Н. И. Тургенева насмешливые стихи, которые посвятил ему Пушкин и которые были сообщены ему братом:

Одну Россию в мире видя,
Лаская в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И слово: рабство ненавиди,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

(т. VI, с. 524)

Н. И. Тургенев не только не согласился с этим отзывом — он поставил Пушкина в один ряд с судьями, осудившими его и других декабристов: те «делали свое дело: дело варваров, лишенных сивилизации. Это в натуре вещей. Но вот являются другие судьи». Тургенев был настолько раздражен, что предпочел николаевский суд «суду» Пушкина: «...Для меня всего приятнее было бы то, если б бывшие мои соотечественники вовсе о мне не судили, или, если хотят судить, то лучше, если б следовали суждениям Блудовых, Барановых, Сперанских и т. п.»².

Может быть, эта реакция была чрезмерной, даже неверное так, но основания для нее в пушкинских стихах были, на что указал тонкий комментарий современного исследователя: «Подчеркивание — «хромой Тургенев» — уже имеет легкий иронический оттенок, намек на слабость, недостижимость... «Толпа дворян» — сочетание, конечно, уничижительное, противоречащее тургеневскому

¹ Лернер Н. О. Декабристы и Пушкин. — Речь, 1912, № 81, с. 3.

² Истрин В. Из архива братьев Тургеневых. — Журнал Министерства народного просвещения, 1913, № 3, с. 17—18.

«предвидению», будто это «освободители крестьян»: толпа не может справиться с таким великим делом — нужна «когорта», «рать» или что-нибудь в подобном же возвышенном роде!..»¹

Все эти разнородные факты говорят об одном: раздумья Пушкина над событиями последних лет вели к мучительной переоценке ценностей. Однако в наименьшей степени она дала себя знать в его послании «Во глубине сибирских руд...». На то были свои причины. Если бы цель Пушкина, когда он писал это стихотворение, заключалась в том, чтобы запечатлеть его отношение к декабризму, осмыслить его уроки, он написал бы другое произведение. Но его цель была иной.

В годы, прожитые поэтом после того, как «каторга 120 друзей, братьев, товарищей» (т. XIII, с. 291) стала фактом, он проявлял неизменное стремление морально поддерживать своих друзей, томившихся «в мрачных пропастях земли» (т. III, с. 80). Убеждение в том, что долг поэта — утешать героев, выраженное Пушкиным в 1824 году в «Разговоре книгопродавца с поэтом», еще более укрепилось в Пушкине в период, последовавший за поражением декабристов². Стремясь сделать для этого все возможное, Пушкин и его друзья, подвергая себя немалому риску, печатали в «Северных цветах» и «Литературной газете» стихи Кюхельбекера и А. Одоевского. Однако именно отъезд А. Г. Муравьевой предоставил поэту возможность наиболее прямо, непосредственно обратиться к жертвам царской расправы со словами утешения и передать через нее послание к Пушкину, а по некоторым версиям — и «Во глубине сибирских руд...».

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление.

(т. III, с. 49)

Стремленье дум, которое питали восставшие, было «высоким» — благородным, чистым, самоотверженным. Не вина, а беда их в том, что это стремление оказалось

¹ Эйдельман Н. Я. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., Советский писатель, 1984, с. 130.

² См. об этом: Цявловская Т. Г. «Муза пламенной сатиры». — В кн.: Пушкин на юге. Кишинев, Штиинца, 1961, с. 164—165; Цявловская Т. Г. Отклики на судьбы декабристов в творчестве Пушкина. — Литературное наследие декабристов. Л., Наука, 1975, с. 214—215.

невозможным воплотить в жизнь, что их труд оказался «скорбным». «Скорбный труд» — труд «несчастных», чье историческое дело оказалось в трагическом несоответствии с ходом вещей, с необходимостью и «необъятной» силой правительства.

Не так давно это стихотворение стало предметом анализа в статье В. Непомнящего¹, статье темпераментно написанной и содержащей интересные наблюдения, но в целом предлагающей субъективную и необедительную трактовку, на что обоснованно указали Б. Бялик² и Г. Макогоненко³. Столь же вольно истолкован В. Непомнящим и «Арион»: «Челн» символизирует не некое сепаратное сообщество, но *единое целое* (пусть и внутренне противоречивое, полное противоположающихся сил) государства, общества, пережившего (внезапная смерть царя, восстание и поражение декабристов и т. д.) *общую катастрофу*, «гибель целой эпохи»⁴. Здесь явно недооцениваются общеизвестные факты: дата 16 июля 1827 года, выставленная на рукописи «Ариона», говорила о том, что он написан через три дня после первой годовщины казни декабристов, события, которое было катастрофой для одних и торжеством для других. В 1835 году, обсуждая с Плетневым название альманаха, Пушкин шутливо заметил: «...Назовем его Арион или Орион, я люблю имена, не имеющие смысла...» (т. XVI, с. 56), заметил, конечно, именно для того, чтобы подчеркнуть смысл этого названия.

Никакой катастрофой не была для Пушкина смерть царя, и не мог он ее разумать, изображая в «Арионе» «вихорь шумный» — упоминание о ней для того и понадобилось автору статьи, чтобы разместить на челне и чистых, и нечистых. За образами этого стихотворения стоит более определенное, более конкретное содержание. Другое дело, что толковался «Арион» нередко с излишней прямолинейностью, безоговорочно приводился как бесспорное свидетельство верности Пушкина идеалам дворянской революционности. Строка «Я гимны преж-

¹ Непомнящий В. С. Судьба одного стихотворения. — Вопросы литературы, 1984, № 6, с. 141—181.

² Бялик Б. А. Да были ли горы-то?.. — Вопросы литературы, 1985, № 7, с. 114—141.

³ Макогоненко Г. П. Обратимся к пушкинскому поэтическому тексту. — Там же, с. 160—175.

⁴ Непомнящий В. С. Судьба одного стихотворения. — Там же, с. 173.

ние пою» порой рассматривалась как важнейшая, как своеобразный ключ к содержанию «Ариона». «...Именно эта строка в окончательном ее виде,— писал Д. Д. Благой,— придает стихотворению все его значение, ставит его на центральное место в цикле пушкинских стихов, написанных после возвращения из ссылки и связанных с темой «поэт и декабристы», делает его декларацией верности поэта освободительным идеям и стремлениям, его художественно-политическим кредо»¹. Однако при такой постановке вопроса за этой строкой закрепляется некое априорное господство над другими. Между тем она — при всем ее несомненном значении — может и должна толковаться в контексте стихотворения и даже шире — в контексте творчества и мирозерцания Пушкина последекабрьских лет.

При таком подходе возникает вопрос о том, как сочетается эта строка с другим местом стихотворения:

А я — беспечной веры полн —
Пловцам я пел...

(т. III, с. 58)

Если поэт поет «гимны прежние» — значит ли это, что он и ныне «беспечной веры полн»? Видимо, нет: «вихорь шумный», гибель челна и пловцов навсегда покончили с прежней «беспечностью».

Одинокий певец, уцелевший после бури, вызывает в памяти образ другого одинокого певца, описанного в стихах «Близ мест, где царствует Венеция златая...», созданных вслед за «Арионом»:

Он любит песнь свою, поет он для забавы,
Без дальних умыслов; не ведает ни славы,
Ни страха, ни надежд, и тихой музы полн,
Умеет услаждать свой путь над бездной волн.
На море жизненном, где бури так жестоко
Преследуют во мгле мой парус одинокой,
Как он, без отрыва утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.

(т. III, с. 66)

Сопоставление обоих стихотворений представляется тем более естественным, что и во втором налицо явственный отзвук политических событий недавнего прошлого, воплощенных в сходном образе — бури на море («На мо-

¹ Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., Советский писатель, 1967, с. 159.

ре жизненном, где бури так жестоко//Преследуют во мгле мой парус одинокой...»).

Объясняя, почему Пушкин отверг ранний вариант «центрального стиха «Ариона» — «Я песни прежние пою», Д. Д. Благой отметил: «В таком виде она прямо перекликается с более ранней строкой «Пловцам я пел», утверждая прямую — в лоб — преемственную связь между прошлым и настоящим»¹. Но замена «песен» «гимнами» многое ли меняла? Важно видеть, что преемственная связь между прошлым и настоящим действительно не была прямой. Нельзя всю характеристику певца сводить только к тому, что он поет гимны прежние, он и расстается с иллюзиями прошлого, которые теперь называет «беспечной верой», и оправляется от перенесенного потрясения — сушит свою влажную ризу. Он — сложен, неоднозначен, он — таинственный». Это важное слово не должно недооцениваться при его характеристике.

В. В. Виноградов в свое время обоснованно напомнил: «Фраза: «Я гимны прежние пою» непосредственно связывается со всем смысловым строем стихотворения. Но присоединенное к ней заключительное двустипшие, по своей экспрессии и по своим образам тесно примыкающее к предшествующим стихам — к образу «таинственного певца», на берег выброшенного грозюю, — намечает новые оттенки, новые возможности символического понимания и оставляет их загадочно полуоткрытыми («на солнце под скалою»)»².

Как ни важна пушкинская декларация «Я гимны прежние пою», к наиболее полному и достоверному ответу на интересующий нас вопрос ведет все же не она сама по себе, а анализ этих «гимнов» — произведений, созданных Пушкиным после катастрофы 14 декабря. Особый интерес представляет цикл стихотворений, осмысливающий роль поэта и поэзии и позволяющий уяснить как общее в позициях последекабрьского Пушкина, с одной стороны, и декабристов — с другой, так и отличия сегодняшних «гимнов» поэта от прежних.

15 августа 1827 года, через месяц после «Ариона», создается стихотворение «Поэт» («Пока не требует поэта...»), в середине того же года Пушкин возвращается

¹ Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830), с. 158.

² Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 215.

к написанному ранее «Пророку», вписывает заглавие и окончательный вариант первого стиха. 17 сентября датировано «Близ мест, где царствует Венеция златая...». В августе — начале октября появляется предварительный набросок стихотворения «Поэт и толпа» («Поэт по лире вдохновенной...»), завершено год спустя.

В работах о Пушкине не раз отмечалось, что многое в этих стихах сближает их с творческими декларациями декабристов. И действительно, признание гражданской функции, высокой миссии искусства постоянно побуждало декабристов к созданию стихотворений, в центре которых стоит поэт. Он «вещает правду и суд промысла, торжествует о величии родимого края, мечет перуны в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга»¹. Поэты — «любимцы таинственных сил», «сыны огня и вдохновенья»². По убеждению Рылеева, «долг певца постиг вполне» тот, кто

...выше всех на свете благ
Общественное благо ставил
И в огненных своих стихах
Святую добродетель славил.
...Был в родной своей стране
Органом истины священной³.

В творческих декларациях Пушкина, даже в тех, которые создавались в первой половине 1820-х годов, вопрос о назначении поэта ставился иначе. Он отказывался видеть свою заслугу в создании обличительных произведений, в расправах над социальным злом, в том

что у столба сатиры
Разврат и злобу я казнил
И что грозящий голос лиры
Неправду в ужас приводил...

(т. II, с. 260)

«Разговор книгопродавца с поэтом» был благожелательно принят декабристами, но они все же не увидели в нем близкую себе концепцию поэта и поэзии, а отметили лишь, что это произведение «кипит благородными

¹ Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие. — В кн.: Литературно-критические работы декабристов. М., Художественная литература, 1978, с. 191.

² Кюхельбекер В. К. Избр. произведения в 2-х томах, т. 1, с. 128.

³ Рылеев К. Ф. Думы. М., Наука, 1975, с. 92.

порывами человека, чувствующего себя человеком»¹. Им была близка апология вольнолюбия, пронизывающая «Разговор...», они всем сердцем готовы были присоединиться к гордому ответу, который дает поэт на вопрос книгопродавца: «Что ж изберете вы? — Свободу».

Но свобода, которую славит здесь Пушкин, не та свобода, поборниками которой выступают поэты, воспетые Рылеевым и Кюхельбекером. Их поэт — трибун, он

...доблесть в молодых сердцах
Стихом правдивым зажигает².

Иное, более широкое и емкое понимание свободы пронизывает творческие декларации, созданные Пушкиным в 1826—1827 годах. Свободу от «презренной черни» дарует чудо творчества. Поэта, малодушно погруженного «в заботы суетного света», «ничтожного», вкушающего «хладный сон», пробуждает «божественный глагол», пробуждает для неодолимого стремления к свободе. Он

К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы.

Он бежит

На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы.

(т. III, с. 65)

Смысл последних строк стихотворения «Поэт» проясняется еще более, если вспомнить, что Пушкин здесь почти буквально повторяет сказанное в другом, годом ранее написанном стихотворении:

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубровы,
На берега сих молчаливых вод.

(т. III, с. 36)

А в 1836 году в стихотворении «Из Пиндемонта» Пушкин раскроет свое понимание свободы с наибольшей полнотой и определенностью:

Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому

¹ Бестужев А. А. Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов. — В кн.: Литературно-критические работы декабристов, с. 75.

² Рылеев К. Ф. Думы, с. 93.

Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.

(т. III, с. 420)

Толпе чужда тяга к свободе, столь необходимой поэту:

Как ветер песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?

(т. III, с. 141)

В последнем вопросе — зерно разногласий, которые разделяют не только поэта и толпу, не только Моцарта, пренебрегающего презренной пользой, и Сальери («Что пользы, если Моцарт будет жив...») (т. VII, с. 128). Здесь важные отличия пушкинского подхода к искусству от эстетических установок декабристов, первая из которых гласила: «Превозносить полезное и изящное...»¹

О так! Нет выше ничего
Предназначения поэта:
Святая правда — долг его,
Предмет — полезным быть для света².

Пушкинский взгляд на «предмет» поэзии был иным, и он не раз спорил со своими друзьями по этому поводу. Прочтя в статье Вяземского «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» созвучное декабристской эстетике утверждение: «Обязанность... писателя есть согреть любовью к добродетели и воспалить ненавистию к пороку...», он написал на полях: «Ничуть. Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело. Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона» (т. XII, с. 228—229). Резкость этой отповеди обострялась тем, что попытки придать поэзии утилитарный характер предпринимались и с другой стороны. Светская «чернь» вкупе с реальной властью требовали, чтобы «божественный посланник» употребил свой дар им «во благо». Все это будило в Пушкине протест и негодование.

Декабристы утверждали единство бытового поведе-

¹ Законоположение «Союза благоденствия». — Цит. по кн.: Литературно-критические работы декабристов, с. 27.

² Рылеев К. Ф. Думы, с. 93.

ния поэта и его литературно-эстетической программы¹, вследствие чего тексты их произведений воспринимались и как программы бытового поведения. Иначе и быть не могло, потому что поэзия для них была частью и продолжением их дела, того главного, чему была посвящена их жизнь. «Будь Поэт и Гражданин» (т. XIII, с. 241), — убеждал Рылеев Пушкина, и в этой формулировке отразились самые существенные стороны эстетической концепции декабристов. Ценность художественного произведения проверяется делом, «сила и прелесть стихотворений» состоит «более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих»². Поэт — прежде всего деятель, борец за справедливость.

Служитель избранный творца,
Не должен быть ничем не связан;
Святой высокий сан певца
Он делом оправдать обязан³.

Сквозь пушкинский цикл стихов 1826—1828 годов проходит иная мысль — о преображении человека, когда в нем пробуждается поэтическое вдохновение. Человек не рождается пророком, он становится им, когда обретает способность исполниться божьей волей и «глаголом жечь сердца людей». «Грешный» «и празднословный, и лукавый» язык сменяется «жалом мудрыя змеи». Вместо «сердца трепетного» в груди пылает огнем уголь. И лишь тогда может быть услышан глас бога, зывающего пророка исполнить его святую миссию.

Пушкинский «Пророк» не раз сопоставлялся в литературе с «Пророчеством» Кюхельбекера. Конечно, в этих двух поэтических манифестах есть немало общего — прежде всего в признании огромного значения поэзии как пророчества, как дара небес. Но эти стихотворения позволяют видеть и глубокое отличие декабристского подхода к поэзии, запечатленного в «Пророчестве», от того, который мы видим в программных стихотворениях Пушкина.

В пророке Кюхельбекера главное — это деятельность, изменение жизни и мира. Ему дана «сила воздвигать народы» — и вот подымается на смертный бой Эллада

¹ См. об этом: Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория). — Литературное наследие декабристов, с. 28.

² Литературно-критические работы декабристов, с. 27—28.

³ Рылеев К. Ф. Думы, с. 93.

разломить железный ярем, зыблются и гремятся престолы, отомщена кровь убиенных.

Сила пушкинского пророка иная — это не сила деятельности, а сила познания, проникновения в глубинную суть вещей и явлений: он внял

неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

(т. III, с. 30)

«И виждь, и внемли» — взывает к нему «бога глас». Огонь познания и есть то, что позволяет поэту-пророку исполнить это повеление, проникнуть в глубины непознанного и «глаголом жець сердца людей».

Позиция, занятая Пушкиным после разгрома восстания декабристов, была сложной и противоречивой. Вульгарные социологи в свое время попытались снять эту сложность, изображая поэта присмирившим, согласившимся на сговор с самодержавием, едва ли не перешедшим на рептильные, верноподданнические позиции. В стремлении разоблачить необоснованность подобных попыток мы, к сожалению, не удержались от противоположной крайности и стали с усердием, достойным лучшего применения, доказывать, что во взглядах и позициях Пушкина в сущности ничего не изменилось, что он и после 1825 года был таким же единомышленником декабристов, как в дни, когда писал «Вольность» (1817) и послание «В. Л. Давыдову» (1821). В качестве наиболее убедительного аргумента при этом использовались с примитивной прямоотой истолкованные, вырванные из литературного и исторического контекста строки стихотворений «Арион» и «Во глубине сибирских руд...».

Эта тенденция не только наводила на Пушкина «хрестоматийный глянец», но, по существу, принижала его, ибо недооценивала остроту его социального зрения, его способность воспринимать уроки истории и учиться у них. «Глупец один не изменяется,— писал Пушкин,— ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют» (т. XII, с. 34).

Неразрешенной загадкой остаются и строфы, публикуемые в качестве фрагментов десятой главы «Евгения Онегина». При всем значении этих строк и уникальности содержащихся в них характеристик любая попытка корректировать на их основе наше представление об

отношении Пушкина к декабристам требует сугубой осторожности. Дело здесь не только и, может быть, даже не столько в фрагментарности дошедшего до нас материала, сколько в том, что мы не знаем, насколько имеющиеся в этих строфах характеристики соответствуют авторской позиции Пушкина.

Самого пристального внимания заслуживают замечания Ю. М. Лотмана о том, что «время работы над десятой главой — период напряженного интереса Пушкина к проблеме повествования от лица условного рассказчика... Некоторый параллелизм построения может быть усмотрен и в десятой главе. Не все высказывания в ней в равной мере объяснимы, если их считать прямым выражением авторской позиции. Трудно приписать Пушкину выражения вроде: «О русский глупый наш народ». Бросается в глаза, что 5-й стих 15-й строфы «Читал свои ноэли Пушкин» единственное место в романе, где автор его фигурирует в третьем лице... В десятой главе Пушкин становится тем, о ком говорит некто. Кто? Может быть, десятая глава задумана была как текст от лица Онегина, параллель к его «Альбому»...¹

Во второй половине 1820-х годов Пушкиным владела мысль о воплощении в литературе событий, свидетелем и участником которых он был. «Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову — пером Курбского, — говорил он А. Н. Вульфу в 1827 году. — Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря»². Решимость «писать... об 14 декабря» привела к появлению у Пушкина в конце 1820-х годов нескольких замыслов, среди которых были и «Повесть о прапорщике Черниговского полка», и «Славная хроника», читанная Пушкиным Вяземскому. Но ситуация оказалась худшей, чем это представлялось поэту. Возможности «описывать современные происшествия» он не получил. Линия, начатая стихами «Во глубине сибирских руд...» и «Арион», не нашла продолжения и развития в его поэзии.

Вряд ли есть необходимость доказывать непреходя-

¹ Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкин «Евгений Онегин». Комментарий. Пособие для учителя. М., Просвещение, 1980, с. 414—415.

² Вульф А. Н. Из «Дневника». — В кн.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1974, с. 416.

щее значение обоих этих стихотворений. Они дают важный, может быть, незаменимый материал для суждений об общественных и этических позициях Пушкина, о том, в чем он видел свой долг как писателя и человека. Но попытка судить об отношении Пушкина к декабризму лишь по этим стихам может привести к неточным, неполным, односторонним выводам. Мы привыкли думать, что в произведении, посвященном тем или иным событиям, отражается отношение автора к этим событиям. И это действительно так. Это закон. Но явление богаче закона.

Пушкин дышал воздухом, которым дышали декабристы. Он разделял многие из их сокровенных устремлений, их гнев, их скорбь, их сомнения. Трагедия декабристов была и его трагедией. И вместе с тем из всех современников восстания он один оказался способен возвыситься над своим временем, увидеть происшедшее взглядом историка и философа — «взглядом Шекспира». Широта и объективность этого взгляда открывали такие возможности постижения глубинной сущности и противоречивости событий 1825 года, силы и слабости деятелей той поры, что, может быть, лишь в наши дни их можно оценить по достоинству.

Часть вторая

Наследники

ВОЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ. ПОЛЕЖАЕВ. ЛЕРМОНТОВ. ПЕРЕСМОТР
НАСЛЕДИЯ. СЛАВЯНОФИЛЫ. ПЕТРАШЕВЦЫ. ПЛЕЩЕЕВ. ГЕРЦЕН.
ОГАРЕВ. ЛЮДИ ГЕРЦЕНОВСКОГО КРУГА. ТУРГЕНЕВ.
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. ДОБРОЛЮБОВ. РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ-РАЗНОЧИНЦЫ.
НАРОДНИКИ. НЕКРАСОВ



Разгром восстания на Сенатской площади и расправа с его участниками не остановили и не испугали тех, кто видел в себе продолжателей дела дворянских революционеров. Попытки властей вытравить в русском обществе память о декабристах оказались тщетными.

Харьковский студент Владимир Розальон-Сошальский не только распространял стихи «зловредного содержания», но и сам написал произведение, в котором воссоздал облик Рылеева — патриота, мужественного борца за свободу¹. Согласно показаниям Петра Критского, «любовь к независимости и отвращение к монархическому правлению возбудились в нем наиболее от чтения творений Пушкина и Рылеева»². Его брат Михаил говорил Н. Лушникову: «Великими были те люди, которые погибли за возмущение 14 декабря»³. Участники Сунгуровского кружка, сложившегося в 1831 году в Москве, называли свое объединение «остатками от общества 14 декабря»⁴. Неизвестный нам почитатель декабристов, оставивший в селе Рахманове, недалеко от Москвы, надпись: «Скоро настанет время, когда дворяне, сии гнусные сластолюбцы, жаждущие и сосущие кровь своих несчастных подданных, будут истреблены самым жестоким образом и погибнут смертью тиранов...» — подписал ее: «Один из сообщников повешенных и ссыльных в Сибирь, Второй Рылеев»⁵. Вскоре после разгрома восстания властями был обнаружен кружок вольнодумцев, сформировавшийся в Калуге. Его участники, как сообщалось в доносе, «сожалели о заговорщиках, более же о Бестужеве и Пестеле, коих почитали героями». Читались

¹ См. об этом: Фризман Л. Г. Обычное дело. — Прометей, т. 13. М., Молодая гвардия, 1983, с. 332—337.

² Цит. по кн.: Ученые записки Московского обл. пед. института, т. 66. Труды кафедры русской литературы, вып. 4. М., 1958, с. 105.

³ Цит. по кн.: Федосов И. А. Революционное движение в России во второй четверти XIX в. М., Соцэргиз, 1958, с. 62.

⁴ Цит. по кн.: Декабристы и их время. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 223.

⁵ Цит. по кн.: Звенья, т. II, с. 138—139.

стихи «мерзкого содержания», в том числе песни Рылева и Бестужева. Оба они назывались «первыми русскими сочинителями», «истинно русскими поэтами»... Участники кружка «решили распространять стихи среди юнкеров и офицеров»¹. Подобных фактов можно привести множество.

Неудивительно, что в вольной поэзии 1830-х годов значительное место занимает декабристская тема. В июне 1827 года в руки властей попало стихотворение «Твердыню дуба разломил», написанное А. Г. Ротчевым, вольнолюбивым поэтом, близким к кругу последователей декабристов и долго находившимся под секретным надзором.

Твердыню дуба разломил
Атлет бесстрашный — диво света,
Но дуб обломки съединил
И приковал навек атлета.
Знай, гласу вольности святой
Смешно твое ожесточенье
И ты, низвергнутый судьбой,
Сравнишься с демоном в паденье².

Пересылая эти стихи Бенкендорфу, начальник Московского корпуса жандармерии генерал-майор Волков сопроводил их пояснением, что они «заключают в себе важный смысл, автор в аллегорическом смысле под словом дуб разумеет монархию, а под словом атлет — вольность или заговор злоумышленников. Смысл последних четырех строк показывает, что они имеют еще надежду на мщение»³.

Характерный образец стихотворения, выражавшего неприкрытую скорбь по поводу поражения восстания и восхищение его участниками, — «Песнь русского», которую написал Н. Ф. Лущников, входивший в революционный кружок студентов Московского университета и ставший жертвой царских репрессий. «Песнь» кончается скорбными строками:

Казнь позорная свершилась
Над великими сынами,
И Россия подклонилась

¹ Цит. по кн.: Пушкин и его время, вып. 1. Л., 1962, с. 314.

² Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века. Л., Советский писатель, 1970, с. 467. Далее это издание обозначается сокращенно: Вольная поэзия.

³ Центральный Государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 109, 1827, № 200. Цит. по кн.: Шадури В. С. Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии, с. 122.

Вместе с жалкими рабами
Под тяжелый скиптр тираний¹.

Во многих произведениях вольной поэзии воссоздавались образы вождей декабристского восстания, в первую очередь Рылеева. Их авторам не довелось создать такие поэтические шедевры, какие появились в следующую эпоху, когда были написаны, скажем, «Памяти А. И. Одоевского» Лермонтова и «Памяти Рылеева» Огарева, но стихи конца 1820-х — начала 1830-х годов, даже слабые в художественном отношении, ценны как человеческие документы. Они запечатлели то благоговение, с которым относилась передовая молодежь к подвигу первых русских революционеров.

А. Н. Креницин, полузабытый ныне поэт 1820—1830-х годов, в одном из немногих дошедших до нас стихотворений называет Рылеева «карателем злодеев», «певцом бессмертным Наливайки», страстно ждавшим «свободы радостного дня», а его произведения — «сокровищем»².

Большое количество стихов о Рылееве писалось от его имени и в большей или меньшей степени восходило к предсмертному письму Рылеева к жене, распространившемуся во множестве списков и излагавшемуся — порой в неузнаваемо искаженном виде — в произведениях авторов, имена которых большей частью до нас не дошли. Таково, например, стихотворение «Послание Рылеева к жене своей из темницы» (1826 или 1827), обнаруженное в бумагах С. И. Ситникова и скорее всего им и написанное. С. И. Ситников, штабс-капитан генерального штаба, близкий к околodeкабристским кругам, был осужден, как сказано в приговоре, за «злоумышленное составление и рассеяние по разным местам пасквилей и возмутительных писаний, в коих, извергая гнусные и отвратительные ругательства и угрозы против высочайшей особы и августейшей фамилии государя императора, старался воспламенить и подвигнуть мирных граждан к измене, мятежу и убийствам для ниспровержения законной власти...»³.

В послании Ситникова содержится сформулирован-

¹ Вольная поэзия, с. 517.

² Там же, с. 525.

³ Цит. по статье В. Г. Базанова «Казанский агитатор (Штабс-капитан С. И. Ситников и его «возмутительные бумаги»)». — Вопросы славянской филологии. Изд-во Саратовского гос. университета, 1963, с. 251.

ный от имени Рылеева призыв хранить верность гражданским идеалам, бороться за равенство и право народа, который «сатана тиранством давит». В заключительных строках нашло себе место грозное пророчество:

...Грянет гром, и сатана
Погрязнет в тартар с эгоизмом,
И воссияет Егова
Над поверженным деспотизмом¹.

В 1827 году во Владимирской губернии распространилось стихотворение «К Николаю. Ода. Свобода». Оно было подписано: «Северное 3-е тайное общество мстителей». Автор или авторы этого произведения напоминали о восстании декабристов и выражали убеждение, что дело их не погибло:

И петербургский заговор,
Хотя разрушен злой рукою,
Но он не дым, не пылкий вздор:
Зовется вольности зарею².

Несомненно с декабристами связано и упоминание о «злой Сибири», где томились участники восстания. «Общество мстителей» грозило виновникам народной нищеты, что из них будут от Сибири до Москвы настелены мостовые и на тройках удалых под звон колоколов вернутся назад «страдальцы злого деспотизма».

Гневное пророчество коронованному палачу декабристов прозвучало и в стихотворении А. Жеребцова «Жертвам тиранов всех времен». Автор этого произведения, в прошлом студент Московского университета, окончивший его в 1834 году, проявлял, как говорится в материалах следственного дела, сохранившегося в архиве III Отделения, «расположение к вольнодумству». В его стихах были обнаружены «неуважение властей вообще и даже непристойные слова на счет своего государя»:

Давно ль тиран своею волей
Пять жертв меж нами погубил?
За подвиг славный — грозной долей
Враждебный рок их наградил!,
Но на царя за преступленье
Клеймо глубокое презренья
Возложит осрамленный край.
И над печальною гробницей
Потомство грозною десницей
Напишет кровью: Н(иколай).

Но А. Жеребцов идет дальше и большинства поэтов-декабристов, и авторов вольной поэзии, обращавшихся

¹ Вольная поэзия, с. 541.

² Там же, с. 701.

к декабристской теме и размышлениям об исторических судьбах декабризма. Он не просто выражает веру в грядущее торжество дела, за которое они боролись и погибли, но связывает это с выходом на историческую арену народа, разбуженного мучениками 14 декабря.

Настанет день, когда их тени
Народ проснувшийся отмстит
И трона гордые ступени
Тирана кровью обагрит.
Но мучеников благородных,
В святых преданиях народных,
Мы вечно память сохраним
И, лоскутами багряницы
Осыпав скромные гробницы,
Кресты над ними водрузим¹.

Мысль о народе, великом мстителе, разбуженном декабристами для решительной и победоносной борьбы, проливает и стихотворение «Декабристам», одно из самых сильных и широко распространенных произведений вольной русской поэзии 30-х годов. Популярность и мощное влияние этого стихотворения на современников объяснялись прежде всего тем, что его чеканными строфами заявила о себе новая шеренга борцов. Заявила о своих позициях, о своем понимании декабристского движения, о перспективах освободительной борьбы.

Над вашей памятью кровавой
Теперь лежит молвы позор;
На ней поэт, венчаный славой,
Остановить не смеет взор...

Конечно, укор, брошенный «поэту, венчанному славой» (т. е. Пушкину), несправедлив. Пушкин не раз и не два «останавливал взор» на своих друзьях, вышедших декабрьским утром 1825 года на Сенатскую площадь. Показательно, что и сам автор стихотворения «Декабристам» идет по пушкинским стопам, выражает ту же уверенность в грядущем торжестве дела дворянских революционеров, которая продиктовала Пушкину известные стихи: «Не пропадет ваш скорбный труд// И дум высокое стремленье».

Но вы погибли не напрасно:
Все, что посеяли, взойдет,
Чего желали вы так страстно,
Все, все исполнится, придет!

¹ Цит. по статье И. А. Федосова «Из истории общественного движения в России в конце 30-х годов XIX столетия». — Вопросы истории, 1956, № 12, с. 88, 89.

Но, продолжая пушкинскую мысль, автор стихотворения с определенностью и недвусмысленностью, которых нельзя было видеть прежде, говорит, что дело декабристов продолжат и доведут до победного конца народные массы.

Иной восстанет грозный мститель,
Иной восстанет мощный род:
Страны своей освободитель,
Проснется дремлющий народ.
В победный день, в день славной тризны,
Свершится роковая месть —
И снова пред лицом отчизны
Заблещет ярко вава честь¹.

Революционный пафос, несокрушимая убежденность в конечном торжестве дела, за которое шли на смерть декабристы, художественная выразительность этого замечательного стихотворения обусловили длительность и устойчивость его влияния на последующие поколения борцов за свободу народа. Известно, что в начале 1860-х годов передовой историк А. П. Щапов прочел лекцию о декабристах и кончил ее призывной цитатой из этого стихотворения. «Восторженный взрыв рукоплесканий и криков пронесся, словно буря, с треском и громом и проводил смельчака-доцента»².

Среди стихов, распространившихся в рукописях, были, разумеется, не только произведения анонимных авторов или таких, обращение которых к литературе оказалось эпизодическим, вызванным лишь стремлением использовать стих как средство революционной агитации. Вольная поэзия создавалась и усилиями выдающихся поэтов, например, Полежаева.

Трагическая судьба Полежаева известна. Не подлежит сомнению, что расправа царя с молодым вольнодумцем и перенесенные им страдания укрепили его тираноборческие убеждения и усилили ту скорбь, с которой он мысленно возвращался к исходу восстания декабристов.

Навсегда решена
С самовластьем борьба
И родная страна
Палачу отдана³, —

¹ Вольная поэзия, с. 706.

² Вестник Народной воли. Революционно-политическое обозрение, № 1. Женева, 1883, с. 5.

³ Полежаев А. И. Стихотворения и поэмы. Л., Советский писатель, 1957, с. 52.

писал он в стихотворении «Вечерняя заря». В другом стихотворении, «Рок», Николай I был назван «ефрейтором-императором», который «Русь, как кур, передупшил»¹.

Но наиболее прямо поэт обратился к декабристской теме в песне «Ай, ахти! ох, ура», которая распространялась в списках, а опубликована была лишь при советской власти. Песня написана от имени солдат, сохранивших в 1825 году верность царю. Среди их жалоб на тяготы службы, побои и мучения нашел себе место упрек — напоминание о событиях 14 декабря.

Ты припомни, что мы,
Не жалея себя,
Охранили тебя
От большой кутерьмы,—
Охранили, спасли
И по братним телам
Со грехом пополам
На престол возвели!

Здесь явно звучит сожаление о выборе, сделанном в тот критический день. Участники восстания — «братья», а царь, «со грехом пополам» возведенный на престол,— человек, в котором «мало добра», который «обманул, погубил... миллионы голов». К мысли о том, что воцарение Николая — есть дело рук солдат, Полежаев возвращается и в последних строках, прямо говоря, что доведенные до отчаяния солдаты могут сделать и другой выбор:

Ты болван наших рук:
Мы склеили тебя
И на тысячу штук
Разобьем, разлюбя!²

Менее закономерным, чем полежаевское, может показаться обращение к декабристской теме Е. П. Ростопчиной. Но ее стихотворение «К страдальцам-изгнанникам» (1831) должно быть причислено к самым энергичным и бескомпромиссным выражениям сочувствия декабристам, которые появились и были поэтически закреплены в годы, непосредственно следовавшие за поражением восстания.

Это стихотворение было написано, по-видимому, без влияния пушкинского послания «Во глубине сибирских руд...». Ознакомившись с ним вскоре после его создания, Ростопчина позднее своей рукой вписала его

¹ Полежаев А. И. Стихотворения и поэмы, с. 155.

² Там же, с. 182—183.

в альбом, ныне находящийся в ЦГАЛИ¹. А в 1858 году она сообщала А. Дюма-отцу, с которым ее связывали дружеские отношения: «Вот вам, на десерт, стихотворение Пушкина, которое не было и никогда не сможет быть напечатано на русском языке: придя однажды в дом друга, он (Пушкин) узнал, что там пишется письмо к изгнанникам в Сибирь, к тем, кого мы зовем декабристами: он взял перо и экспромтом написал следующие стихи: «К изгнанникам»². Далее следовали в почти дословном переводе стихи «Во глубине сибирских руд...».

Ростопчина не знала, что стихотворение Пушкина было к тому времени напечатано в «Полярной звезде» Герцена и Огарева, и перевела на французский язык текст из своего альбома. Но существенно не это, а то внимание, с которым она на протяжении всей жизни относилась к этому стихотворению и которое может служить косвенным аргументом в пользу того, что и собственное послание к декабристам она написала под влиянием послания Пушкина. Отметим и то, что в альбоме Ростопчиной и в ее письме к Дюма пушкинское стихотворение озаглавлено «К изгнанникам». Почти такое же название — «К страдальцам-изгнанникам» — поэтесса дала и собственному стихотворению, когда за два года до отсылки письма к Дюма изготовила последний, самый полный его текст, подаренный декабристу С. Г. Волконскому (по этому автографу и печатается в наши дни стихотворение Ростопчиной).

В юности Ростопчина была настроена оппозиционно, что проявилось и в других ее стихотворениях. За год до послания «К страдальцам-изгнанникам» она написала стихотворение «Мечта». Эпиграфом для него избраны последние стихи из послания Пушкина «К Чаадаеву». Поэтесса мечтает о том, что «настанет день паденья для тирана, // Свободы светлый день, день мести роковой... // Когда защитники свободы соберутся, // чтоб самовластия ярмо навек разбить»³. Не приходится сомневаться, что у Ростопчиной были и другие стихи подобного содержания. «Мы хорошо помним, — говорится в мемуарной заметке И. Белова, — что в свое время ходило по рукам

¹ Алексеев М. П. К тексту стихотворения «Во глубине сибирских руд». — В кн.: Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., Наука, 1972, с. 428—429.

² Там же, с. 413—414.

³ Поэты 1840—1850-х годов. Л., Советский писатель, 1972, с. 68.

немало рукописных произведений этой писательницы, которые, по условиям цензурным, не могли сделаться достоянием печати»¹. В «заветной тетради», по которой знакомился со стихами поэтессы Огарев, тоже, надо полагать, были и другие стихи революционного характера, кроме тех, которыми мы располагаем. Но судьба этой тетради, увы, неизвестна, и об отношении Ростопчиной к людям 14 декабря мы судим по ее стихотворению «К страдальцам-изгнанникам».

Хотя заглавие стихотворения, казалось, побуждало ждать, что оно будет пронизано жалостью, состраданием к томившимся на каторге и в изгнании декабристам, доминанта стихов Ростопчиной иная. Ее герои — «заступники свободы», «изгнанники за правду и закон». У них есть основания гордиться своей судьбой.

Пусть сокрушились вы о силу самовластья,
Пусть угнетают вас тирановы рабы,—
Но ваш терновый путь, ваш жребий лучше счастья
И стоит всех даров изменчивой судьбы!..
Удел ваш — не позор, а слава, уваженье,
Благословения правдивых сограждан,
Спокойной совести, Европы одобренье
И благодарный храм от будущих славян!
Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести
И цепи рабства снять с России молодой,
Но вы страдаете для родины и чести,
И мы признания вам платим долг святой².

Надежды на освобождение декабристов Ростопчина связывает не с прощением, которое даруют им палачи, а с тем, что «ударит час священный//Паденья варварства, деспотства и царей» и наступит «день блаженный Свободы для Руси, отмщенья за друзей!..». И те, кто принесет свободу узникам «сибирских руд», будут их «сообщники», продолжатели их дела. Они «окончат подвиг ваш», — обещает Ростопчина «страдальцам-изгнанникам».

Можно говорить о романтичности надежд, которые питала 14-летняя девушка, выплеснувшая в одну майскую ночь на бумагу это стихотворение, но нельзя не признать, что это одно из самых гневных и бескомпромиссных выступлений в защиту декабристов.

Прошло семнадцать лет. Выход на историческую арену разночинцев, их литературная и общественная дея-

¹ Белов И. По поводу сочинений графини Ростопчиной. — Исторический вестник, 1885, № 5, с. 495.

² Поэты 1840—1850-х годов, с. 70.

тельность не были ни приняты, ни поняты Ростопчиной. Она публикует в «Москвитяине» письмо к Ф. Н. Глинке с предостережениями молодежи от «гибельного чтения жалких и вредных теорий современных»¹, говорит, как она презирает «всю теперешнюю литературную сволочь»². Со всей очевидностью подтвердилось, что ее стихи начала 1830-х годов воплощали не осознанную политическую программу, а взрыв эмоций, которые со временем развеялись без следа.

Переход Ростопчиной на ретроградные позиции вообще и ее выступления против революционеров-демократов в частности вызвали горький отклик Огарева. В «Полярной звезде» на 1858 год он напечатал поэтическое послание «Отступнице», где вернулся памятью к далекому уже времени знакомства с поэтессой в первой половине 1830-х годов.

В те дни, когда неугомонно
Искало сердце жарких слов,
Вы мне вручили благосклонно
Тетрадь заветную стихов.
Не помню — слог стихотворений
Хорош ли, нехорош ли был,
Но их свободы гордый гений
Своим наитьем освятил.
С порывом страстного участия
Вы пели вольность, и слезой
Почтили жертвы самовластья,
Их прах казенный, но святой³.

Стихи молодой Ростопчиной так врезались в память Огарева, что даже через много лет, когда она стала «носить свободу» и сделалась в его глазах «отступницей», чувства, которые она питала и воспевала в молодости, представлялись ему непреходящими, их он пытался пробудить, к ним вернуться.

Мне жалко вас. С иною дамой
Я расквитался б эпиграммой;
Но перед вами смех молчит,
И грозно речь моя звучит...

Он звал Ростопчину наладить «расстроенную лиру»
«вновь на чистый строй», на

тот, который, слух лаская,
Звучал вам в трепетной тиши

¹ Москвитянин, 1851, № 11, с. 242.

² Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. XIV. СПб., 1900, с. 384.

³ Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы. Л., Советский писатель, 1956, с. 258.

В те дни, когда вы, расцветая,
Так были чудно хороши¹.

Конечно, Ростопчина осталась глуха к этим призывам. Может быть, Огарев и сам не верил, что они возымеют желанное действие. Но его скорбное и гневное обращение к Ростопчиной в конце 1850-х годов подтвердило, как сильно запечатлелись в сердцах современников ее первые стихи, ее послание «К страдальцам-изгнанникам».

* * *

В 1839 году было написано одно из лучших произведений, которые посвятили людям 14 декабря их «наследники» — стихотворение Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского». Оно обязано своим возникновением не только знакомству, которое произошло между двумя поэтами в пору пребывания Лермонтова на Кавказе, их краткой, но нежной дружбе, не только горечью, которую пережил Лермонтов, получив в Петербурге известие о кончине Одоевского. Оно было следствием значительного влияния, которое оказали декабристы и на личность, и на поэзию Лермонтова. Многочисленными исследователями проблемы «Лермонтов и декабристы» собраны сведения о людях, близких к декабристским кругам и общавшихся с Лермонтовым в период его учения в Благородном пансионе (1828—1830) и в Московском университете (1830—1832), о тираноборческой проблематике ранней лирики Лермонтова, о его обращении к национально-героической теме, к декабристской лексике, стилистическим приемам, типично декабристскому стремлению к поискам переключек истории и современности.

Нет сомнения в том, что мысли Лермонтова задолго до знакомства с Одоевским обращались к судьбе участников восстания, томившихся в Сибири, что он был каким-то образом осведомлен об их настроениях, об их незыблемой верности своему делу и воплотил это в стихах:

Но есть поныне горсть людей
В дичи лесов, в дичи степей;
Они, увидев падший гром,
Не перестали помышлять
В изгнанье дальном и глухом,
Как вольность пробудить опять;

¹ Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы, с. 259.

Отчизны верные сыны
Еще надеждою полны¹.

Декабристский образ поэта-гражданина, противопоставленного тем, кто способен «в объятых сладострастья, в постыдной праздности влачить свой век молодой», подхвачен и развит в творчестве Лермонтова и проходит сквозь него красной нитью от певца Ингелота, выведенного в поэме «Последний сын вольности» (1831), до знаменитого творческого манифеста — стихотворения «Поэт» (1838). С декабристской традицией соотносились не только думы молодого Лермонтова, но и, например, поэма «Беглец». Приводились доводы в пользу того, что в стихотворении «Великий муж! Здесь нет награды» изображен кто-то из декабристов: Катенин или Рылеев.

В обширном ряду этих материалов есть и достоверные факты, и шаткие гипотезы. Но если те или иные предположения или догадки и выглядят малоубедительно, то вся совокупность имеющихся сведений очень убедительна и весома и не оставляет сомнений в справедливости суждения Луначарского, который видел в Лермонтове «последнее и глубоко искреннее эхо декабрьских настроений»². Учитывая это, вернемся к стихотворению «Памяти А. И. Одоевского». В отличие от множества произведений, написанных о декабристах в николаевскую эпоху и надолго оставшихся достоянием вольной поэзии, оно было опубликовано в 1839 году в «Отечественных записках» под заглавием «Памяти А. И. О — го». Хотя имя героя было обозначено сокращенно, факт появления в печати этого поэтического реквиема по одному из наиболее деятельных участников восстания 14 декабря — явление уникальное для России 1830-х годов. Чтобы убедиться в этом, достаточно восстановить в памяти даже небольшую часть свидетельств той подозрительности, ненависти и страха, которые вызывала каждая попытка упоминания о декабристах.

В альманахе М. А. Максимовича «Денница на 1831 год» появилось стихотворение С. С. Теплоевой «К*** («Слезам горькими, тоскою//Твоя погибель почтена...»). Распространился слух, что оно адресовано казненному Рылеву. Хотя тому не было никаких подтверждений,

¹ Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти томах, т. III. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1955, с. 99. Далее в главе ссылки на это издание (т. I—VI) даются в тексте указанием тома и страницы.

² Луначарский А. В. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1. М., Художественная литература, 1963, с. 100.

возникло дело, грозившее издателю самыми серьезными последствиями.

А за год до появления стихотворения Лермонтова произошел такой характерный эпизод. Писатель Иван Глухарев задумал выпустить в свет «собрание разных стихов лучших известных сочинителей» под названием «Венок граций». По этому поводу министр народного просвещения С. С. Уваров направил Московскому цензурному комитету письмо, в котором дал согласие на выход сборника, но с условием: «поставить издателю в обязанность перепечатать заглавный лист книги и исключить на оном имена Кюхельбекера и Бестужева»¹.

В том же году была предпринята и другая, более успешная попытка напомнить читающей России о писателях-декабристах — вышел в свет первый том смирдинского издания «Сто русских литераторов» с портретом Бестужева. И это после того, как Николай I отдал в 1834 году распоряжение, что произведения Бестужева, «предполагаемые им к изданию», должны представляться в III Отделение², после того как необходимость неукоснительно исполнять это распоряжение была подтверждена, когда Бестужева не стало! Сам этот факт общеизвестен, но то, что соответствующее распоряжение было отдано не кем иным, как царем, позволяют установить архивные документы, до сих пор не вводившиеся в научный оборот.

Гнев монарха не знал пределов. Письмом от 15 марта 1839 года Бенкендорф потребовал разъяснений от Уварова: «Государь император, усмотрев, что в вышедшем в недавнем времени 1-м томе сочинения «Сто русских литераторов» помещен портрет Бестужева, крайне сему изволил удивиться и недоумеваает, каким образом могло сие быть допущено. Его Величеству угодно, дабы Ваше Высокопревосходительство уведомили меня для всеподданнейшего доклада: с чьего разрешения сие сделано и кто собственно в этом случае виновен»³. «Виновен» оказался не кто иной, как управляющий III Отделением А. Н. Мордвинов. Выход крамольной книги стоил ему увольнения со службы, его заменил Л. В. Дубельт. У Смирдина потребовали список подписчиков, портрет вырывали из одного экземпляра за другим.

¹ Центральный Государственный исторический архив СССР (ЦГИА), ф. 772, оп. 1, ед. хр. 1110, л. 2 об.

² Там же, ед. хр. 731, л. 1—1 об.

³ ЦГИА СССР, ф. 772, оп. 1, ед. хр. 1198, л. 1.

Такой была атмосфера, когда Лермонтов напечатал в «Отечественных записках» строки, исполненные любви к поэту-декабристу и горечи, вызванной его безвременной кончиной. Как справедливо отмечал Э. Э. Найдич, в стихах об Одоевском «воссоздан облик и духовный мир декабриста»¹. Но декабристская проблематика, присутствующая в лермонтовском стихотворении, воплощена в обобщенных поэтических формулах, и лишь вслушиваясь, вдумываясь в них, можно уловить их связь с трагическими событиями недавнего прошлого и судьбами участников этих событий. Легче всего было бы объяснить это цензурными соображениями. Но дело здесь не в оглядке на цензуру, во всяком случае, не только в ней. Если бы Лермонтов хотел сказать в связи со смертью Одоевского нечто неприемлемое для официальной России, то он сделал бы это, как сделал, например, в стихах, вызванных смертью Пушкина. Главное — в самом замысле Лермонтова, в сосредоточенности его внимания не на событиях прошлого, но на современности. Главное в том, что проблематика стихотворения «Памяти А. И. Одоевского» преимущественно не политическая, а этическая.

Одоевский, каким он изображен в стихотворении, не только друг Лермонтова, но и воплощение лучших, наиболее ценных им человеческих качеств. Герой стихотворения обрисован в контрасте со «светом», светской моралью и глубоко порочной системой нравственных ценностей. Все подлинно человеческое чуждо свету. Он стремится оковать человека «коварными цепями». «Венцы его вниманья» достойны такого же пренебреженья, как «тернии пустых его клевет». Восхищение, испытываемое Лермонтовым к своему герою, тем и объясняется, что Одоевский и свет глубоко чужды друг другу. Он «с юных лет» отверг коварные цепи света — эта деталь получает колоритное подтверждение в творческой биографии Одоевского. Одно из ранних его стихотворений — «Бал», где светское общество уподоблено «сборищу костей». Так же биографически точно и упоминание, что Одоевский «из детских рано вырвался одежд и сердце бросил в море жизни шумной»: как известно, он был одним из самых молодых участников тайного общества: в день восстания на Сенатской площади ему исполнилось

¹ Проблемы метода и жанра, вып. 3, Изд-во Томского гос. университета, 1976, с. 119.

лишь 23 года. С точки зрения света поступок Одоевского был, конечно, безумством, свет беспощаден к тем, кто посягает на нерушимость его этических норм, кто решается на борьбу, стремясь свергнуть их гнет.

Бесчувственность — вот главное, что всегда характеризует в стихах Лермонтова светскую толпу: в «Первом января», в «Умиравшем гладиаторе», в «Странном человеке» (т. V, с. 262). «...Оно (общество. — Л. Ф.), — писал он, — всегда остается для меня собранием людей бесчувственных» (т. V, с. 205). Естественно поэтому, что чертой, которую акцентирует Лермонтов, характеризуя своего героя в противопоставлении свету, является именно способность на подлинное чувство:

В нем тихий пламень чувства не угас.

А с его смертью был унесен в могилу летучий рой

Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!

То, что вдохновения эти — «темные», что дума, блуждающая на челе умирающего поэта, — «таинственная», — все это делает их еще более дорогими Лермонтову. Слова, исполненные глубокого чувства, у Лермонтова часто непонятные, «темные». Это и «голос Тamarы»:

Он весь был желанье и страсть,
В нем были всеисильные чары,
Была непонятная власть.

(т. II, с. 202)

И голос М. А. Щербатовой («Исполнены тайны//Слова ее уст ароматных»), и слова «Молитвы» («дышит непонятная//Святая прелесть в них»). И, конечно, «речи», значение которых «темно иль ничтожно.//Но им без волнения внимать невозможно».

Непонятны и последние слова Одоевского:

...то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый...

Лермонтова не было среди слушавших. Но его попытки угадать «глубокое и горькое значенье» последних слов своего покойного друга не оставляют сомнений: это могли быть лишь слова, исполненные чувства: «привет стране родной», «название... оставленного друга», «тоска по жизни молодой».

Сохранивший способность на подлинное и глубокое чувство, на живую радость и гордую непримиримость

к злу герой стихотворения Лермонтова противопоставлен не только свету, толпе, но и новому поколению, описанному в «Думе» и в стихах «И скучно, и грустно». Лермонтова восхищает в Одоевском именно то, чего недостает людям 30-х годов, любящим и ненавидящим случайно, равнодушным к добру и злу, сознающим ничтожество своих душевных радостей и мук.

Особое место, принадлежащее стихотворению «Памяти А. И. Одоевского» в творчестве Лермонтова, определяется тем, что герой в нем описан с восхищением и преклонением перед гармоничностью и совершенством его духовного облика. Как правило, человек в произведениях Лермонтова, даже когда он овеян сочувствием автора, выступает прежде всего как объект анализа. Поэт раскрывает его внутренний трагизм, сострадает ему и вместе — творит над ним суд. Здесь же герой как бы предмет для подражания, и в то же время это не отвлеченный идеал, не возвышенный вымысел отрешившегося от низменной действительности романтика. Это герой, взятый из жизни.

Такой герой был перспективным художественным открытием Лермонтова. Пойдя по пути, который был найден в разбираемом нами стихотворении, русская демократическая поэзия достигла новых замечательных высот. Именно такими героями, взятыми из жизни, созданными на основании воспоминаний автора и поставленными в пример современникам, были герои Некрасова — Белинский в «Медвежьей охоте», Добролюбов в стихах «Памяти Добролюбова», Чернышевский в «Пророке». В том же ряду может быть упомянут и образ Рылеева, созданный Огаревым в стихотворении «Памяти Рылеева».

Речь здесь, конечно, должна идти не о влиянии Лермонтова, а о продолжении того, что было им начато, о типологическом сходстве рассматриваемых художественных явлений. Именно при таком подходе представляется возможность уяснить действительное историко-литературное значение стихотворения «Памяти А. И. Одоевского».

* * *

До сих пор наше внимание, когда речь шла о «наследниках» декабристов, было сосредоточено на произведениях, в которых выражалось сочувствие участникам восстания на Сенатской площади. Теперь предстоит обратиться к тем деятелям русской литературы и об-

щественной мысли второй четверти XIX века, для которых усвоение уроков 1825 года сочеталось с полемикой со своими предшественниками, к тем, кто осудил путь, на который стали декабристы, и отрекся от них.

В этом ряду должен быть упомянут Гоголь. Сведения об отношении Гоголя к декабристам более чем скудны. Известно, что в 1823—1825 годах он мог встречаться с М. И. и С. И. Муравьевыми-Апостолами, М. П. Бестужевым-Рюминым, Н. И. Лорером, М. С. Луниным, П. И. Пестелем¹, что в годы учения в Нежинской гимназии он находился в гуще оппозиционных настроений и широко распространявшиеся в пору известного «дела о вольнодумстве» декабристские материалы вряд ли могли его миновать. Знаем мы и о том, что генерала Л. О. Рота, подавившего восстание Черниговского полка, Гоголь в одном из писем назвал «проклятым»².

Но минули годы, и то сочувствие декабристам, которое Гоголь, по-видимому, испытывал в молодости, развеялось, и в «Выбранных местах из переписки с друзьями» он поминал их со смешанным чувством сожаления и осуждения. В одном месте он говорит о времени, когда «несколько сорванцов могли возмутить целое государство. Проект так и остался фантастическим проектом, тем, однако ж, не менее искры недоразумений и взаимного недоверия заронились...»³. В другом поминает «тех государственных людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имели в себе все для того, чтобы сделать множество добра, которые даже пламенели желаньем сделать добро, даже работали, как муравьи, всю жизнь, и при всем том не осталось после них никакого следа, и самая память о них позабыта; как исчезнувший круг на воде, исчезнула жизнь их посреди России»⁴.

Это противопоставление добрых намерений и высоких душевных качеств участников восстания, с одной стороны, и «бедственных последствий» их выступлений очень характерно. Когда-то близкий к декабристам, а позднее перешедший на оголтело реакционные позиции

¹ См.: Парсиева В. А. Гоголь и декабристы (Опыт критического обзора первоисточников).— Ученые записки Саратовского гос. университета, т. 33, вып. филологический, 1953, с. 148—162.

² Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. X. Л., Изд-во АН СССР, 1940, с. 113.

³ Там же, т. VIII, с. 359.

⁴ Там же, с. 348.

Н. И. Греч писал: «...Бедственная и обильная злыми последствиями вспышка 14 декабря 1825 года имела зерном мысли чистые, памерения добрые»¹. «...Это восстание затормозило на десятки лет развитие России, несмотря на полный благородства и самоотвержения характер заговорщиков»², — утверждал В. А. Соллогуб. Подобные мысли высказывались не раз и в середине и во второй половине XIX века.

Обширный материал для размышлений о бытовании и преображении декабристских идей в последующую эпоху содержит наследие группы деятелей, принадлежавших в 20-е годы к Обществу Любомудров, а позднее эволюционизировавших к славянофильству.

Отношение Любомудров к декабристам виделось разным историкам литературы в разном свете. Д. Д. Благой писал, что «веневитиновский кружок в первые два-три подекабрьских года был единственным литературно-дружеским объединением, отличавшимся вольнолюбивым духом и продолжавшим в какой-то мере идейные традиции декабристов»³. Совершенно иначе представлял себе положение дел М. К. Азадовский. В последекабрьский период, по его мнению, «одни группы стремились в какой-то мере сохранить или приспособить к современным им условиям декабристские идеи, другие обращаются к решительному пересмотру идейного наследия декабристов... Наиболее решительный пересмотр наследия декабристов был сделан Любомудрами». Любомудры, говорит далее М. К. Азадовский, «не отказывались от критической части декабристской программы», но пути и формы решения задач, стоявших перед Россией, «им представлялись иными и опирались на иные идейные источники. Они отказались от революционных методов действий; путям борьбы и революции они противопоставляли пути личного самоусовершенствования, пути религиозного просветления и мирного строительства культуры... Все это вело к смыканию с реакционным фронтом»⁴.

Такая характеристика представляется нам односторонней и упрощенной. Здесь было бы уместно напомнить факты, о которых рассказывает А. И. Кошелев. Его

¹ Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.—Л., Academia, 1930, с. 428.

² Соллогуб В. А. Воспоминания. СПб., 1887, с. 102.

³ Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина, с. 73.

⁴ Азадовский М. К. Н. М. Языков. — в кн.: Языков Н. М. Собр. стихотворений. Л., Советский писатель, 1948, с. XV, XVI.

«Записки» представляют собой один из самых ценных и достоверных источников, позволяющих восстапвить отношение любомудров к деятельности декабристов и их реакцию на разгром восстания. А. И. Кошелев рассказывает, в частности, о «потрясающем действии», которое произвели на него и его единомышленников «известия о 14 Декабре». «...Известия об явном бунте нас сильно поразили: слова стали переходить уже в дела... Мне, юноше, казалось, что для России уже наступил великий 1789 год». Молодежь жадно ловила слухи об «огромном заговоре», о том, что «Ермолов также не присягает и со своими войсками идет с Кавказа на Москву. Эти слухи были так живы и положительны и казались так правдоподобными, что Москва или, вернее сказать, мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских. Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и комп., ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали»¹.

Когда по стране прокатилась волна арестов, молодые любомудры, по свидетельству А. И. Кошелева, «менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность и мученический венец. Эти события нас, между собой знакомых, чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова и меня». Но своего апогея сочувствие любомудров декабристам достигло, когда стал известен приговор Верховного суда: «Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми,— нет возможности: словно каждый лишился своего отца или брата»².

Воспоминания Е. В. Львовой сохранили для нас сведения о том, как воспринял известие о разгроме восстания В. Ф. Одоевский: «Владимир, как помнится, был сумрачен, но спокоен, только говорил, что заготовил себе

¹ Кошелев А. И. Записки (1812—1883 гг.). Берлин, 1884, с. 13—15. Ср. сведения из другого источника о том, что Веневитинов вместе с Кошелевым и И. Киреевским занимался фехтованием и верховой ездой «в ожидании торжества заговора в южной (второй) армии и в надежде примкнуть к мятежникам в их предполагаемом победоносном шествии через Москву на Петербург» (К биографии поэта Д. В. Веневитинова.— Русский архив, 1885, № 1, с. 115).

² Кошелев А. И. Записки, с. 16—18.

медвежью шубу и сапоги на случай дальнего путешествия. Однако его не тронули». Значительно позднее, в 30 или 40-х годах, Одоевский сделал такую запись о восстании декабристов: «В нем участвовали представители всего талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России. Им не удалось, но успех не был безусловно не возможен. Вместо брани не лучше ли обратиться к тогдашним событиям с серьезной и покойной мыслью и постараться понять их смысл»¹.

То, что Любомудры отказались от революционных методов действия, конечно, верно. Правда, факт этот определился не сразу после 14 декабря, а позднее, когда многие из них эволюционировали к славянофильству. Но не следует забывать, что разочарование в возможности решения проблем, стоявших перед Россией путем «военной революции», — это вывод из событий 1825 года, не заключавший в себе ничего специфического ни для Любомудров, ни для славянофилов. Это был и вывод Чаадаева, и вывод Пушкина, и немалой части вчерашних декабристов, хотя пришли они к нему с разных позиций и разными путями.

Можно восстановить в памяти немало высказываний, принадлежащих декабристам, но звучащих так, словно они вылетели из уст самого бескомпромиссного славянофила. «...Да создается для славы России поэзия истинно русская, — восклицал Кюхельбекер, — да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первую державою во вселенной»². Формула «святая Русь» постоянно встречается в декабристской поэзии: в «Думах» Рылеева, в стихах Кюхельбекера, Одоевского, Вадковского.

Характерный пример — стихотворение Кюхельбекера «На смерть Чернова» (1825), где конфликт, возникший на почве социального неравенства между не принадлежавшими к сословной знати Черновыми и богатой, знатной семьей флигель-адъютанта Новосильцева, осмыслен как конфликт национальный. Неоднократно и настойчиво подчеркнуто, что «они» — «временщики», «рабы», «тираны» — не русские: «не отечества сыны», «питомцы приплецов презренных». Они «говорят не русским словом,

¹ Цит. по кн.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель, т. I, ч. 1, М., М. и С. Сабашниковы, 1913, с. 307, 308.

² Литературно-критические работы декабристов. М., Художественная литература, 1978, с. 196.

//Святую ненавидят Русь». Здесь по-своему проявляется характерное для декабристской идеологии органическое единение патриотизма и гражданственности, убежденность, что все отрицательное в России чуждо русскому национальному духу. Та же убежденность и в послании Раевского «К друзьям в Кишинев» (1822), когда он писал, что

...Племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой.

Она же породила принципиальную формулу, которой начинается одна из песен Рылеева и Бестужева: «Царь наш — немец русский...».

Славянофилы явно восприняли у декабристов склонность третировать как «нерусских» тех русских, которых они считали своими идеологическими противниками. «Вы все не русский вы народ», — обращался Языков к Чаадаеву и Грановскому.

Нет сомнения в том, что в слова «Русь святая» декабристы и славянофилы вкладывали разное содержание. По-разному мыслилось теми и другими и объединение славянских народов¹. И тем не менее русофильство декабристов содержало элементы, которые переняли славянофилы и переименовали на свой лад.

И нет ничего противоестественного в том, что поэт-декабрист Федор Глинка в 1840-х годах явно эволюционирует к славянофильству. В 1841 году он публикует в «Москвитяине» стихотворения «Москва» и «Рейн и Москва». Первое из них справедливо относится к шедеврам русской поэзии и отвечает патриотическим чувствам, которые испытывают и наши современники к древней и вечно молодой русской столице:

На твоих церквах старинных
Вырастают деревья,
Глаз не схватит улиц длинных...
Это *матушка Москва!*..
Ты не гнула крепкой выи
В бедовой своей судьбе,
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе!..²

Но в контексте общественной борьбы начала 1840-х годов эти строки получали иное звучание. Славянофилы охотно противопоставляли Москву Петербургу — симво-

¹ См. об этом: Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., Художественная литература, 1976, с. 90—92.

² Глинка Ф. Н. Избр. произведения. Л., Советский писатель, 1957, с. 431—432.

лу ненавистных им петровских реформ, и стихи Глинки явственно перекликались с такими программными для славянофильства стихотворениями, как «Москва» К. Аксакова и «Москва» М. Дмитриева.

В том же номере «Москвитянина», где появилось стихотворение Глинки, была напечатана статья Шевырева «Взгляд русского на современное образование Европы», перелагавшая формулы славянофильской поэзии на язык публициста: «Москва есть то верное горнило, в котором пережигается все пришлое от Запада и получает чистую печать русской народности»¹. Естественно, что обращения Глинки к «пасынкам России» метили в идейных противников славянофильства, которые не могли этого не видеть и оставить эти выпады без ответа. «Мы понимаем,— писал Белинский,— что господам славянофилам, живущим в Москве, очень лестно прикрыться именем такого важного в России города, как Москва, и завербовать в свои ряды всех москвичей поголовно, но лестно ли это будет для Москвы и москвичей,— вот вопрос!»²

Эволюция Глинки к славянофильству особенно показательна и красноречива потому, что она, как справедливо отмечал В. Г. Базанов, «есть результат не только его личной ограниченности и умеренности его прежних идеалов, но свидетельство сложности самого декабризма как общественно-литературного движения»³. Лишь учитывая это обстоятельство, можно объяснить и отношение славянофилов к декабризму. Они брали из него то, что отвечало их устремлениям, беззастенчиво отбрасывая остальное.

Поэзия славянофилов явственно восприняла от декабристов витийственное начало, учительский тон, известный нравственный максимализм, прямоту в инвективах и призывах. Это слышится во многих стихах Хомякова, в том числе в его знаменитом стихотворении «России» (1854). Декабристская тональность звучит в набатных строфах К. Аксакова:

На бой! — и скоро зазвонит
Булат в могучей длани,
И ратник яростью кипит,
И алчет сердце брани!⁴

¹ Шевырев С. П. Взгляд русского на современное образование Европы.— Москвитянин, 1841, ч. I, № 1, с. 294—295.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X, с. 224.

³ Глинка Ф. Н. Избр. произведения, с. 53—54.

⁴ Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.—Л., Советский писатель, 1964, с. 289.

Но когда тот же Хомяков, тот же Аксаков обратились к специфически декабристской теме Новгорода, она получила в их стихах совсем иную окраску, чем имела у Рылеева или Раевского. В стихотворении Хомякова «Новград» лишь однажды и как бы вскользь упомянуто «чело свободное» легендарного города. Главное же для Хомякова: гибель былой мощи, сменившейся «опустеньями и развалинами».

Совлечены с могущих плеч
Доспехи грозные, стальные,
И сокрушен булатный меч;
Широкий щит, разбитый в брани,
Вдали лежит среди полей,
И на бросавшей молнии длани
Гремит бесславие цепей.

Город, в котором декабристы видели символ борьбы за вольность, который они славили за то, что он отстаивал свою независимость от угнетателей, у Хомякова сам — «властитель», угнетатель, навязывающий свою волю «покорным народам».

Тебя ли зрю, любимец славы?
Веков минувших мощный сын,
Племен властитель величавый,
России древний исполин?
Ах, не таков в минувши годы
Являлся ты своим врагам!
Тогда покорные народы
Носили дань к твоим стопам...¹

Сходные слова вызывает Новгород и у К. Аксакова:

Все пустынно и уныло,
Имя лишь одно
Говорит о том, что было
И прошло давно...

Не Новгород славил поэт-славянофил, а Москву, потопившую в крови стремление Новгорода к независимости:

*Русской жизни надо шире,
Не Новградом течь!
Новгород, ты целой Руси
Уступил права,
И, избранница всей Руси,
Поднялась Москва².*

«Древнее вече» заменил «собор». Гибель новгородской вольности оправдана и воспета.

¹ Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., Советский писатель, 1969, с. 62.

² Поэты кружка Станкевича, с. 416.

У декабристов поэт — это прежде всего борец с социальным злом, с «властью тиранов». Поэт у славянофилов тоже «служитель творца», но его функция, его земное «дело» мыслится совсем иначе:

Он к небу взор возвел спокойный,
И богу гимн в душе возник;
И дал земле он голос стройный,
Творенью мертвому язык.

Он — «вещий дух пророка»¹. Земные заботы недостойны его внимания. Хомяков предостерегает поэта от того, чтобы тот не полюбил «ничтожность мира», не обратился к «суете земли бесплодной». Не то ты «потушишь вдохновенья жар», — говорит он поэту, —

К тебе поэзии священной
Не снидет чистая роса,
И пред зеницей ослепленной
Не распахнутся небеса².

О том же писал и Иван Аксаков. Не дело поэта «мысли подвиг благородный//Расчетам мелким подчинять» и «дар свободный// К случайной цели приковать». Небеса дали ему в удел служение искусству.

Трудись, поэт, трудись келейно,
Исполни веры и любви
И совершай благоговею
Священнодействия твои!³

Славянофильская трактовка образа поэта позволяет видеть, как в последующую эпоху они резко разошлись с декабристами в оценке роли литературы в общественной жизни.

В работах о славянофилах общим местом стало утверждение, что их политической программе «был глубоко чужд всякий радикализм» и что «отсюда их, мягко выражаясь, недружелюбное отношение к событиям 1825 года»⁴. Этот тезис нуждается, на наш взгляд, в существенных уточнениях, которые можно внести, разобравшись, в частности, в отношении к декабристам одного из наиболее последовательных и радикальных проводников славянофильской доктрины — А. С. Хомякова.

¹ Хомяков А. С. Стихотворения и драмы, с. 73, 75.

² Там же, с. 96.

³ Аксаков И. Стихотворения и поэмы. Л., Советский писатель, 1960, с. 70.

⁴ Янковский Ю. З. Патриархально-дворянская утопия. М., Художественная литература, 1981, с. 85.

Как известно, в период, предшествовавший восстанию, Хомяков общался с декабристами, в частности с Рылеевым и Одоевским, и обсуждал с ними насущные политические проблемы. Он сотрудничал в «Полярной звезде», где были опубликованы его стихи «Бессмертие вождя» и «Желание покоя», а «Эпиграмма» («Он в разных видах мной замечен...») и «Заря» намечались автором для неосуществленного декабристского альманаха «Звездочка».

Архивные документы, находящиеся в отделе письменных источников Государственного исторического музея и опубликованные в книге В. И. Кулешова, повествуют о том, что «Алексей Степанович во время службы своей в Петербурге был знаком с гвардейской молодежью, из которой вышли после все декабристы. И он сам говорил, что, возможно, попал бы под следствие как знакомый и друг многих из них, если бы не был случайно в эту зиму в Париже, где занимался живописью. В собраниях у Рылеева он бывал часто и горячо опровергал политические мнения и его и А. И. Одоевского, настаивая, что всякий военный бунт, революция сами по себе безнравственны». С декабристами он оставался в отношениях дружбы во время их ссылки и радостно приветствовал их помилование при Александре II и видался с Н. И. Тургеневым, Батеньковым, кн. Волконским, Трубецким, гр. Вас. Толстым и другими и с их семьями. Дальше говорится о том, что с семьей декабриста П. Х. Граббе Хомяковы даже породнились, и Граббе часто вспоминал тепло о Хомякове. А в конце записи следует загадочная фраза: «Он (то есть Хомяков) успел сжечь все свои бумаги о сношениях с декабристами»¹. Можно, разумеется, лишь предполагать, когда это произошло и в какой мере были опасны сожженные документы, но, надо думать, они действительно компрометировали Хомякова и ознакомление с ними властей могло бы привести к тому, что он «попал бы под следствие».

Существует и другой источник, который дает более конкретное представление о том, какого рода разговоры вел Хомяков с декабристами. «В половине 1825 года, в Петербурге, на Васильевском острове жило двое братьев Мухановых. Старший Александр Алексеевич, второй Николай (ныне почетный опекун в Москве). Оба они были люди военные. К ним нередко собиралась молодежь,

¹ Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература, с. 30.

и по обычаю того времени все они вольнодумничали. Рылеев являлся в этом обществе оракулом. Его проповеди слушались с жадностью и доверием. Тема была одна — необходимость конституции и переворота посредством войска. События в Неаполе, подвиги Риего и составляли предметы разговоров. Посреди этих нередко являлся молодой офицер, необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самая незаконная есть революция военная. Однажды, поздним осенним вечером, по этому предмету у него был жаркий спор с Рылевым. Смысл слов молодого офицера был таков: «Вы хотите военной революции. Но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди в противность своему назначению станут распоряжаться народом по произволу и сделаются выше его?» Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой. Кн. Одоевскому этот противник революции надоедал, уверял его, что он вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства. Человек этот А. С. Хомяков»¹.

Цитированные здесь воспоминания дочери Хомякова Марии Алексеевны неоднократно приводились и осмысливались однозначно — как «документ, показывающий резкое расхождение Хомякова с декабристами»². При этом историки литературы были склонны признавать за декабристами некую презумпцию правоты: раз Хомяков расходился с ними во мнениях, значит, он заблуждался. Но рассказ Марии Алексеевны может быть осмыслен и иначе.

Из него, в частности, ясно, каким полным было доверие к Хомякову в декабристской среде. Они обсуждали с ним и в его присутствии святая святых своих замыслов, полагались на его надежность и не ошиблись. Хомяков доказывал Рылееву «беззаконность» военной революции. Но с каких позиций? Беспокоило ли его нарушение законов, установленных в самодержавной России? Прицал ли он мятежных офицеров за нарушение присяги? Отнюдь нет. Он возражал против военной революции по-

¹ Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература, с. 28—29.

² Там же, с. 28.

тому, что видел в ней посягательство на незабываемый в его глазах суверенитет народа. Он не того опасался, что восставшее войско свергнет царя, сокрушит самодержавно-крепостнический строй,— его беспокоило, что группа вооруженных тиранов поставит себя над народом, станет им распоряжаться по произволу.

Среди самих декабристов отношение к военной революции не было однозначным. В частности, члены Общества соединенных славян пришли на этот счет к таким заключениям: «1) Никакой переворот не может быть успешен без согласия и содействия целой нации; посему прежде всего должно приготовить народ к новому образу гражданского существования и потом уже дать ему оный. 2) Народ не иначе может быть свободным, как сделавшись нравственным, просвещенным и промышленным. Хотя военные революции быстрее достигают цели, но следствия оных опасны: они бывают не колыбелью, а гробом свободы, именем которой совершаются»¹. Не подобные ли мысли развивал в доме Мухановых Хомяков?

Как явствует из контекста, слова Хомякова, обращенные к Одоевскому, что последний «вовсе не либерал», звучали как обвинение. Хомяков корил своего собеседника за то, в чем видел отход от либеральных убеждений. А ведь в то время слово «либерал» значило лишь одно — вольнодумец, человек независимых, революционных взглядов. Пестель излагал в своих показаниях ход своих «либеральных и вольнодумных» мыслей. «Словарь церковнославянского и русского языка» пояснял, что либерал — «политический вольнодумец» (т. 1, СПб., 1847). То же толкование перешло и в словарь Даля: «Либерал — политический вольнодумец, мыслящий или действующий вольно; вообще желающий большой свободы народа и самоуправления». Несомненно, такой смысл вкладывал в это слово и Хомяков, попрекавший Одоевского, что тот не либерал.

Характеризуя разногласия Хомякова с декабристами, В. И. Кулешов говорит, что «Хомяков не разделял их гражданских убеждений»². Да, он не разделял *их* убеждений, это бесспорно. Но бесспорно и то, что его собственные убеждения тоже были *гражданскими*. И сам В. И. Кулешов, конечно, совершенно прав, когда в дру-

¹ Избранные социально-политические и философские произведения декабристов, т. III. М., Госполитиздат, 1951, с. 23.

² Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература, с. 85.

гом месте своей книги сказал о славянофилах: «Гражданская устремленность была для них характерна в сильнейшей степени»¹.

О поражении декабристов Хомяков узнал, живя в Париже, и раздумья, вызванные драмой на Сенатской площади, косвенно отразились в трагедии «Ермак», над которой он в то время работал. Хомяков показал трагедию честного и благородного человека в условиях деспотизма. Но его герой не только не восстает против произвола Ивана Грозного, губившего ни в чем не повинных людей, но и служит ему: пафос национального единства выше тех социальных и моральных коллизий, которые изображены в пьесе. Здесь находят воплощение идеи Хомякова, от которых он не откажется никогда.

Славянофильство было явлением глубоко противоречивым. Чистота субъективных устремлений славянофилов, их любовь к России, искренность их протеста против угнетения и произвола, с которыми николаевская действительность сталкивала их на каждом шагу, не подлежат сомнению. Вместе с тем их программа была изначально утопичной, а с течением времени становилась все более консервативной и даже реакционной. Отсюда и противоречивость их отношения к декабристам, которые вызывали у них и сочувствие и осуждение.

* * *

Обсуждение уроков восстания 14 декабря принимало порой в России 1830—1840-х годов самые неожиданные формы. Официально на декабристскую тему был наложен запрет. Прочитав царский манифест, России следовало забыть о случившемся. Его нельзя было ни одобрять, ни осуждать: и то и другое являлось в глазах властей «рассуждениями о высшей политике», то есть тем, на что «частные лица» права не имели.

В этих условиях искали и находили иносказательные возможности обсуждения событий 1825 года. Одну из таких возможностей представлял исторический роман. Разумеется, расцвет, который пережил этот жанр в русской литературе второй четверти XIX века, объясняется иными, более широкими причинами. Но можно ли удивляться, что в николаевской России, лишенной политической трибуны, сдавленной цензурными ограничениями, и те скудные возможности, которые представлял исторический

¹ Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература, с. 87.

роман, использовались для рассуждений на темы, оказавшиеся под цензурным запретом.

В этом отношении особый интерес представляют романы, посвященные теме Смутного времени. Эпоха междоусобицы, борьба бояр против единодержавия, мятежи и расправы с их участниками — все это не могло не вызывать аналогии с событиями недавнего прошлого. Иные авторы прямо намекали на это, другие избегали поверхностных аллюзий и анахронизмов, искали в исторических ситуациях глубинное сходство, искали в прошлом ключ к пониманию настоящего.

Авторы романов, о которых пойдет речь, стояли на консервативных, порою откровенно реакционных позициях. Всех их объединяло убеждение, что успех восстания 1825 года был бы огромным несчастьем для России, способной сохранить мощь и величие лишь под эгидой мудрого и властного монарха. Но их произведения позволяют видеть, в чем усматривали консервативно настроенные круги дворянства причины недавних потрясений, что нужно было, по их мнению, делать, чтобы избежать повторения подобных событий в будущем. Поэтому и хотелось бы рассмотреть проблематику этих романов в сопоставлении их друг с другом, тем более что и сами авторы, естественно, учитывали сделанное своими предшественниками.

Первым из интересующих нас произведений явился роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», который вышел в свет в 1829 году и имел шумный успех. «Его читали везде,— вспоминал позднее Н. И. Греч,— и в гостиных, и в мастерских, и в кругах простолюдинов, и при высочайшем дворе, и неудивительно: это был первый по времени, истинно русский роман, не безошибочный, наполненный анахронизмами и несообразностями, историческими и грамматическими промахами, но оригинальный, написанный с каким-то милым простодушием, точно рассказ доброй бабушки о былых временах»¹. По-видимому, одной из причин шумной популярности романа Загоскина было то, что он побуждал к размышлениям не только о событиях начала XVII века, но и о недавних исторических потрясениях, эхо которых еще звучало в ушах современников.

1612 год напоминал о 1812-м. Сами собой возникали

¹ Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.—Л., Academia, 1930, с. 704.

параллели двух драматических эпох: и тогда и теперь местом решающих столкновений явился Смоленск, защитники которого проявили исключительное мужество и самоотверженность. Тогда и теперь была взята Москва. Тогда и теперь это не принесло торжества захватчикам, которым пришлось убираться восвояси из древней русской столицы. Бесчинства польских интервентов привели к появлению партизанских отрядов, которые под предводительством народных вожаков, таких, как поп Еремей, Федор Хомяк и другие, наносили полякам значительный урон. Размах партизанских действий в 1812 году и их роль в разгроме армии Наполеона были слишком памятны, чтобы и эти страницы «Юрия Милославского» не вызвали аналогию с днями Отечественной войны.

Загоскин явно усматривает общее и в событиях, последовавших за польской интервенцией, с одной стороны, и в тех, которые последовали за Отечественной войной 1812 года — с другой. «Всевышний помог нам очистить Москву, но, победив внешних врагов, мы не спасли еще от гибели наше отечество. Честолюбивые бояре, крамольники, буйные казаки — все, соединенные теперь общим бедствием, скоро восстанут друг против друга и, как стая голодных псов, начнут терзать собственную свою родину. Никогда еще благочестивые и твердые в любви своей к отечеству бояре не были столь нужны для сиротствующей земли русской»¹.

В романе изображается междуцарствие — ситуация, близкая к той, которая сложилась между 1 и 14 декабря 1825 года. Трон пустует, и есть два претендента на престол: польский королевич Владислав и намеченный боярами в русские цари Михаил Романов. Владислав (как и цесаревич Константин) находится в Варшаве и не склонен ее покидать. Подлинный русский царь, по праву занимающий престол, — Михаил Романов, ассоциирующийся с Николаем I.

Актуально звучали и нападки Загоскина на конституционно-монархический строй, существовавший в Речи Посполитой. Идеи декабристов, желавших видеть свою страну конституционной монархией, были в его глазах плодом непростительного заблуждения. Автор «Юрия Милославского» всеми силами пытается доказать, что только в прочной (то есть самодержавной) власти — спа-

¹ Загоскин М. Н. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. М., Художественная литература, 1983, с. 271.

сение отечества. «...Пора нам образумиться и перестать губить отечество в угоду крамольных бояр»¹ — эта мысль проходит красной нитью через все повествование.

Конфликт романа разрешается битвой на Троицкой дороге, гибелью предводителя крамольников и вступлением на престол Михаила Романова. «По совершенном освобождении от внешних врагов Россия долго еще бедствовала от внутренних мятежей и беспокойств, наконец господь умилился над несчастным отечеством нашим: все несогласия прекратились, общий глас народа наименовал царем русским сына добродетельного Филарета, Михаила Федоровича Романова»².

Но действительность, по-видимому, не внушала консервативно настроенному Загоскину уверенности в будущем. Отсюда его слова о стаях «голодных псов», которые «начнут терзать собственную свою родину»³. Исход длительной борьбы еще не ясен, и Загоскин уповает на благочестие бояр, которые должны перестать быть источником смут и превратиться в надежную опору самодержавия.

Спустя год после «Юрия Милославского» появился новый исторический роман из эпохи Смутного времени — «Дмитрий Самозванец» Ф. В. Булгарина. Откликаясь на его выход, Бестужев-Марлинский сказал примечательные слова: «Труд его, конечно, заслуживает одобрение современников, но едва ль врежется в память потомства... Не Русь, а газетную Россию изобразил нам он»⁴. В той мере, в какой это позволяли цензурные условия, критик дал понять, что роман Булгарина был вызван к жизни в большей степени событиями настоящего, чем прошлого. Не гул событий начала XVII века слышался с его страниц, а жужжанье «Северной пчелы».

Булгарин несравненно более прямо и недвусмысленно, чем Загоскин, указывал на аналогии между коллизиями Смутного времени и выступлением дворянских революционеров против царизма. «Нравственная цель моего романа, — заявлял он, — есть: удостоверение, что все козни властолюбцев, все усилия частных лиц к достижению верховных степеней косвенными путями всегда кончаются гибелью пронырливых и дерзких властолюбцев и бедствием отечества, что государство не может быть счаст-

¹ Загоскин М. Н. Юрий Милославский..., с. 159.

² Там же, с. 274.

³ Там же, с. 271.

⁴ Литературно-критические работы декабристов, с. 121.

ливо иначе, как под сенью законной власти, и что величие и благоденствие России зависит от любви нашей к престолу, от приверженности к вере и отечеству»¹.

Булгарин стремится убедить читателей, что народ не играл сколько-нибудь заметной роли в событиях, изображенных в его романе. Даже в главе, названной «Мнения народные», мнения эти, в сущности, не слышны. Народ присутствует на исторической сцене, бесстрастно констатирует те или иные факты, но никак не влияет на исход конфликта. Пассивность народных масс, конечно, импонирует Булгарину, и он всячески подчеркивает, что она является исконной и неизменной чертой богобоязненного и преданного престолу русского народа. «Я не хотел описывать подробностей жизни простолюдинов XVII века, ибо быт их мало изменился. Ныне русский крестьянин знает больше вещей и слов, насмотрелся на большее число предметов... Но в существе простой народ не представляет исторической разницы с предками своими XVII века»².

Сходные сентенции высказывали и другие консервативно настроенные романисты, в том числе и Загоскин. Но в некоторых отношениях Булгарин явно полемизирует с автором «Юрия Милославского». Как справедливо отметил В. Ф. Переверзев, «если у Загоскина в центре картины помещается стоящее на страже патриархализма боярство, вокруг которого объединяется народ, выступающий здесь в основном как крестьянство, то у Булгарина объединяющим народ центром является просвещенный абсолютизм и народ выступает в основном как городское среднее сословие»³.

Зная о недоверии царя к дворянским кругам, в лоне которых сложился декабристский заговор, Булгарин безудержно восхваляет казенный патриотизм среднего сословия и обрушивается на «аристократию», которая в трудную для царства пору предала идею абсолютизма. Описывая во второй главе тайную сходку у боярина Меньшого-Булгакова, романист не упускает случая подчеркнуть, что собрались представители родовитых фамилий: два князя, несколько дворян, боярский сын.

Роман пронизан неустанными призывами вырвать с корнем крамолу, уничтожить проклятую знать, отпрыс-

¹ Булгарин Ф. В. Полн. собр. соч., т. II. СПб., 1843, с. XI.

² Там же, с. VIII—IX.

³ Переверзев В. Ф. Борьба за исторический роман в 30-е годы. — Литературная учеба, 1935, № 5, с. 14.

ки которой могут, чего доброго, сами претендовать на престол. Устами Василия Шуйского Булгарин верноподданно произносит царю речи, которые тому хотелось бы услышать: «Осмеливаюсь умолять тебя, государь, именем отечества, истреби с корнем враждебные тебе роды. Повели, я сам буду первым исполнителем твоей воли! Умоляю тебя, позволь изгубить злодеев, которые осмеливаются восставать противу спокойствия нашего отца, нашего государя законного»¹.

Царь и сам убежден, что, кроме казней, нет иного пути к спокойному царствованию. Он поучает сына: «Они («гордые бояре и князья». — Л. Ф.) неохотно мне повинуются и непрерывно сплетают новые козни ко вреду моему. Если господь допустит мне еще пожить несколько лет, я очищу вертоград царский от плевел крамолы, исторгну с корнем ядовитые зелья, виющиеся вокруг родословного моего дерева. Многие враждебные роды должны погибнуть для общей безопасности и спокойствия, и ты будешь царствовать над новым поколением, которое от колыбели привыкнет считать тебя будущим своим владыкою...» — «Ах, родитель мой! — воскликнул юный Федор со слезами на глазах. — Стоит ли будущее мое величие тех жертв, которые ты приносишь для утверждения меня на престоле? Если между ними есть невинные?...» — «Безвинные!.. Дитя! — воскликнул Борис... — Разве это не вина завидовать мне, быть неблагодарным? Честолюбивые бояре питают ко мне злобу и ненависть за то только, что я их царь и что не каждый из них царем на моем месте...»².

Показательны сентенции, которые Булгарин вкладывает в уста Курбского, поучающего Лжедмитрия: «Если ты царь законный — иди и возьми свою вотчину, царство русское, накажи дерзкого раба, осмеливавшегося посягнуть на достояние божиих помазанников... Но если ты не царевич, как разглашает Борис Годунов и духовенство московское, — горе тебе! Если ты даже овладеешь престолом, то не найдешь на нем ни спокойствия, ни утешения: сила адская сокрушится от молений нравственных. Царь имеет право карать мятежников, но всякий другой, проливающий кровь братьев из собственных видов, будет проклят навеки»³. Булгарин, таким образом, и предаёт анафеме декабристов, и оправдывает расправу с ними.

¹ Булгарин Ф. В. Полн. собр. соч., т. II, с. 59.

² Там же, с. 30.

³ Там же, с. 219.

Успех, выпавший на долю романов Загоскина и Булгарина, побудил многих русских беллетристов пуститься по их следам. Среди них была и ныне забытая О. П. Шишкина, перу которой принадлежат два романа из эпохи Смутного времени — «Князь Скопин-Шуйский, или Россия в начале XVII столетия» и «Прокопий Ляпунов, или Междуцарствие в России», продолжение «Князя Скопин-Шуйского». Еще А. М. Скабичевский высказал предположение, что «Князь Скопин-Шуйский», очевидно, непосредственно был внушен чтением «Юрия Милославского» Загоскина, и тотчас же после этого сочинения в 1829 году задумала Шишкина состязаться с Загоскиным¹.

Как и Загоскин, Шишкина использует события XVII века для того, чтобы еще раз объяснить современникам, сколь вредны помыслы о конституционном ограничении русской монархии, о возможности избрать монархов, как это происходило в Речи Посполитой. «...Прельстясь примером и речами крамольных соседей, честолюбивые вельможи стали мечтать о престоле. Пошли цари избранные. Их частые перемены и дерзкие о них речи уничтожили в народе убеждение в святости их сана и в должной покорности властям»². Как и Загоскин, Шишкина убеждена, что Россия и избранный царь — понятия несовместимые. Только твердая самодержавная власть способна удержать страну в «должной покорности властям».

Осуждая мятежников, Шишкина, однако, относится к ним по-разному и без той безудержной кровожадности, которая пронизывала роман Булгарина. Прокопий Ляпунов, поначалу примкнувший к мятежникам, вскоре осознает свое заблуждение: «...Он увидел себя сообщником грабителей и убийц, участником всех преступлений, опозоривших Россию»³. И Ляпунов покидает крамольников, присоединяясь к царю Василию Шуйскому. К нему у писательницы находится снисхождение, как нашлось оно и у Николая I для тех членов тайных обществ, которые изменили своим товарищам.

Другое дело — князь Масальский, честолюбец и убийца, обрисованный лишь черными красками. Он ставит целью убийство законного государя, что, по мнению наи-

¹ Скабичевский А. М. Наш исторический роман в его прошлом и настоящем. — Собр. соч., т. II. СПб., 1890, с. 791.

² Шишкина О. П. Князь Скопин-Шуйский, или Россия в начале XVII столетия. В 4-х частях. Пг., 1914, ч. I, с. 110.

³ Там же, ч. II, с. 128.

более последовательно настроенных декабристов, было условием успеха переворота. Разумеется, Шишкина не могла понять источников подобных убеждений и объясняла их лишь честолюбием и стремлением к личной власти.

Прототипом главного героя романа Шишкиной послужил, по-видимому, великий князь Константин Павлович. Как известно, «крамольники» XIX века предпочитали видеть на русском престоле Константина, которому предлагали корону, и, хотя он от нее отказался, Николай сохранил настороженно-напряженное отношение к более популярному сопернику. Его неприязнь усилилась после попыток Константина добиться смягчения участи некоторых участников восстания.

То же происходит с Михаилом Скопиным-Шуйским. Он отказывается от престола и тоже навлекает на себя гнев царя, прощая «изменников». Но когда Скопин умирает, царь в горести преклоняет колени перед телом героя. Шишкина явно призывает Николая последовать этому примеру христианского смирения и всепрощения и примириться с памятью брата, скончавшегося в 1831 году.

В первой половине 1830-х годов, когда Шишкина писала свой роман, в России усиливались крестьянские волнения, и это тоже наложило отпечаток на трактовку изображаемых в нем событий. По утверждению писательницы, «развращенные худыми примерами простолюдины вдруг сочли себя немилосердно угнетенными и с необузданною свирепостью стремились избавиться от ненавистного ига»¹. В другом месте романа говорится, что «нелепые мечты эти овладели чернью и вооружили ее против тех, которые, помня, что богопротивные дела влекут за собою не изобилие и счастье, а разврат и нищету, старались образумить губящих себя сумасбродов»².

Казалось бы, невелик отрезок времени, отделявший появление «Юрия Милославского» и «Дмитрия Самозванца» от выхода «Князя Скопина-Шуйского», но он был насыщен событиями, которые побудили автора последнего романа изобразить народ не как пассивного зрителя, а как непосредственного участника происходящей борьбы. Она не прошла мимо того факта, что простой русский человек сам задумывается о судьбах родины, и в уста крестьянки вложила примечательные слова: «Что мы смыслим, а как возьмет раздумье о всем, что творится

¹ Шишкина О. П. Князь Скопин-Шуйский..., ч. II, с. 22.

² Там же, ч. II, с. 108.

на Святой Руси, то и мы иногда целую ночь глаз не сведем. Уж не знаю, моя матушка, отчего все так делается. Божье ли это пощущение или дьявольское наваждение, а только и веселья что негодяям»¹.

В 1845 году Шишкина опубликовала свой второй роман о событиях Смутного времени — «Прокопий Ляпунов». Случайно ли первый из них появился к десятилетию, а второй к двадцатилетию восстания на Сенатской площади? Может быть, и случайно. Но стоит все же отметить, что «Прокопий Ляпунов» был завершен по крайней мере за два года до выхода в свет. Это подтверждается, в частности, тем, что уже в 1843 году романистка стала хлопотать о «соизволении» посвятить свой роман императрице и таковое было ей даровано².

В посвящении, предваряющем текст романа, Шишкина не преминула со всей определенностью сформулировать те назидательные выводы, которые заключали в себе обрисованные в нем события. «Истинные события доказывают в нем, что, терзая отечество, властолюбивые мятежники, при самом обширном и хитром уме, легко бывают жертвами крамол, ими воздвигнутых, и что, напротив того, ревностно и бескорыстно исполняя долг свой, даже люди простые и неопытные, с помощью провидения, совершают дивные подвиги, избавляют сограждан их от разврата, грабежа и кровопролитий, всегдашних спутников измены и безначалия»³.

Развивая идеи первого романа, Шишкина еще более непримиримо обрушивается на «русских, вообразивших, что они имеют право жертвовать престолом и отечеством, заботясь только о собственных выгодах, как будто бы выгоды частные вовсе не зависят от блага общего»⁴. Вновь писательница возвращается к мысли о том, что на декабристах лежит вина за рост народных волнений. Об этом призвана напомнить читателю в частности сцена совета в доме князя Пожарского.

«Он страшился не поляков, но самих русских, легкомысленных, легковерных, привыкших к смутам и безначалию, совершенно забывших, что выгоды частные нераздельны с благом общим...

¹ Шишкина О. П. Князь Скопин-Шуйский..., ч. I, с. 12—13.

² Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР (Пушкинский дом), архив Никитенко, 19.156/СХХVII65.

³ Шишкина О. П. Прокопий Ляпунов, или Междоусобица в России. СПб., 1845, н.н. с.

⁴ Там же, ч. III, с. 1—2.

— Первыми взбеленились бояре, — сказал Алябьев. — Мало стало им отцовского наследия и милостей царских, захотелось поцарствовать, и чтобы скорее этого добиться, стали возводить друзей своих и сродников, не за труды и усердие, а за лесть и поклоны, награждая царским добром!

— Правда твоя, правда, Андрей Семенович, — сказал архимандрит, — дворские люди сплошь обманывали государя, заслоняя от него сирот и бедняков. От их неправд у всех закрутились головы, все затряслось и запрыгало, словно закипела под нами смола»¹.

Шишкина в гораздо большей степени непримирима к виновникам «смуты», чем, например, Загоскин. Автор «Юрия Милославского» склонен был видеть в них людей заблудших. Он указывает им путь к спасению через покаяние, через религию. Тот, кто пойдет этим путем, способен стать преданным слугой самодержавной власти. Шишкина же отвергает подобное разрешение конфликта. Если «взбеленившиеся бояре» и придут на поклон к царизму, доверять им уже нельзя. Грехи их не могут быть прощены и забыты. Декабристское поколение для России потеряно. Только дети декабристов, воспитанные иначе, чем их отцы, могут стать верными слугами престола. Поэтому для понимания идейного смысла романа, исторической концепции его автора сугубо важен образ сына Ляпунова — Владимира.

В эпилоге романа Шишкина прямо формулирует свои надежды на новое поколение: «Потомки Прокопия Ляпунова, волновавшего Россию в надежде овладеть престолом, стремились верно служить потомкам Михаила Романова, страшившегося принять престол, ему предлагаемый. Вообще бояре и народ, опытом изведав, что властолюбие и крамолы губят и частных лиц, и целое государство, завещали детям своим неослабно хранить покорность воле божьей, преданность престолу и бескорыстную любовь к отечеству»².

Тот факт, что авторы исторических романов, посвященных теме Смутного времени, использовали ее как возможность для открытого обсуждения уроков декабрьского восстания 1825 года, не следует недооценивать. Он по-своему показывает, как глубок был след, оставленный участниками первого открытого выступления против ца-

¹ Шишкина О. П. Прокопий Ляпунов..., ч. IV, с. 218.

² Там же, с. 276—277.

ризма. Он дополняет существующее представление о разных оттенках в отношении русского общества к декабристам.

Выдающийся историк русской общественной мысли Н. К. Пиксанов опубликовал в свое время ставшую классической работу «Дворянская реакция на декабризм»¹, где разносторонне и тщательно обрисовал ту социальную базу, опираясь на которую Николай I сумел расправиться с повстанцами. Но материал, о котором идет речь здесь, не попал в его поле зрения, как и в поле зрения последующих историков декабристского движения. Между тем он тоже позволяет полнее себе представить и глубже понять дворянскую реакцию на декабризм, ошеломление и страх, вызванные событиями на Сенатской площади, остроту социальных противоречий в России 1830—1840-х годов.

* * *

Почти через четверть века после восстания на Сенатской площади, в апреле 1849 года царская охранка разгромила кружок М. В. Петрашевского и произвела аресты его участников. Доносы на петрашевцев и другие материалы об их деятельности, наверное, вызывали у Николая I острые воспоминания о дне его вступления на престол. При всей несомненности и значительности различий между программой и идеями петрашевцев, с одной стороны, и программой и идеями дворянских революционеров — с другой, связь между ними очевидна. Неудивительно, что петрашевцы остро интересовались декабристами и питали к ним симпатии.

Е. А. Бестужева вспоминала «бойкого, пытливого» студента Петрашевского, который «выведывал от нее все»². Петрашевцам были, несомненно, известны рассказы людей, которые лично встречались с декабристами. К кругу декабристов принадлежал отец петрашевца Н. С. Капкина. Офицер Д. И. Кропотов, посещавший собрания петрашевцев, лично знал Рылеева, о котором впоследствии написал воспоминания. В деле петрашевцев встречается имя одного из сыновей декабриста М. А. Фовизина — Дмитрия³. Как явствовало из показаний

¹ Звенья, вып. II, с. 131—199.

² Воспоминания Бестужевых, с. 412—413.

³ Житомирская С. В. Встреча декабристов с петрашевцами. — Литературное наследство, т. 60, кн. I. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 615.

Д. Д. Ахшарумова, среди его бумаг было написанное им «сожаление» о смерти Рыльева, которое «оканчивается дерзким рассуждением нескольких строк насчет смертного приговора над ним»¹. Петрашевец Н. П. Григорьев в своей «Солдатской беседе» вкладывал в уста солдата воспоминания о «кормильцах наших, защитниках», находящихся в Сибири².

Вместе с тем петрашевцы, конечно, видели слабости в позициях и тактике своих предшественников и стремились сделать выводы из постигшей их неудачи. Как утверждал сам Петрашевский, «заговор 14 декабря не мог никаким образом иметь успеха потому, что главная его цель была известна только очень малому числу лиц, между тем как другие действовали наобум». Гарантией же успеха, по его мнению, может быть лишь опора на массы, всегда антагонистически настроенные в отношении господствующих классов. Исходя из этого, он утверждал, «что хотя правительство обладает всеми средствами поставить преграды подобного рода успехам, но что масса всегда против правительства и что сверх того, когда этой массой будут распоряжаться люди, которые убеждены в своих мнениях и имеют полное доверие друг к другу и к своим действиям, то правительство никакими средствами не в состоянии будет остановить общего потока и необходимо должно будет покориться новому порядку вещей»³.

Петрашевцы интересовались не только историей движения декабристов, но их нынешним образом мыслей. Ответы на эти вопросы были неодинаковы. Привлеченный к следствию Р. А. Черносвитов, давая показания о своих беседах с Петрашевским, в частности, показал: «Случилось говорить мне о государственных преступниках в Сибири, сосланных по 14 декабря, их вообще в Сибири называют декабристами; главные вопросы были о их образе мыслей, и постоянный ответ мой был, что все они теперь уже старики и жалеют о прошедшем»⁴. По словам того же Черносвитова, «все сосланные глупы», «они на той же точке и остались, как были»⁵.

В творческом наследии поэтов-петрашевцев декаб-

¹ Дело петрашевцев, т. III. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 141.

² Там же, с. 236.

³ Там же, с. 394—395.

⁴ Там же, т. I, с. 448.

⁵ Там же, т. III, с. 459.

ристская тема не занимает сколько-нибудь заметного места, но ей посвящено одно произведение, чрезвычайно показательное и интересное — это стихотворение А. Н. Плещеева «Декабрист» (1860), опубликованное им под измененным по цензурным соображениям заглавием «Старик».

А. Н. Плещеев слышал о декабристах от своего родственника Александра Алексеевича Плещеева, два сына которого были участниками декабристского движения. За месяц с небольшим до смерти А. А. Плещеев писал А. Н. Плещееву: «Два сына моих, два члена Тайного общества, в Сибирь не были сосланы, и это я воспринимаю как чудо. Однако их силы телесные, а первенствующе духовные в корне оказались подорванными из-за событий 14 декабря»¹.

Но Плещееву говорили о декабристах и другое, то, что побудило его написать стихотворение, о котором идет речь. «Мысль этого стихотворения,— писал он Добролюбову,— пришла мне в голову после одного разговора об этих людях, сохранивших, несмотря на долгие испытания, бодрость духа и любовь к правде. Я не могу посвятить его никому, не будучи знаком ни с одним из них. Но не мешало бы дать ему другое заглавие — какое придумаете. Мне советовали его назвать «Один из немногих», потому, что подобные старики у нас редки»².

Конкретная тема плещеевского стихотворения — контакт двух поколений — революционной молодежи, шестидесятников, тех, кто только вступает в жизнь и борьбу, обобщенной в собирательном образе «юности пылкой», и «седого старика», участника декабристского движения. Оказывается, что старик вовсе не «глуп» и мнения его не так отстали и бессмысленны, как казалось Черновскому. Потому-то

...юность пылкая теснится
Вокруг седого старика.
С ним в разговор она вступает,
И отзыв он дает на все,
Что так волнует, увлекает
Всегда тревожную ее.
Хоть на челе его угрюмом
Лежит страданий долгих след,
Но взор его еще согрет
Живой, нестарческой думой.

¹ Цит. по кн.: Глумов А. Судьба Плещеевых. М., Советский писатель, 1982, с. 462.

² Русская мысль, 1913, № 1, с. 137.

К ученью правды и добра
Не знает он вражды суровой:
Он верит сам, что жизни новой
Придет желанная пора¹.

Плещеев изображает декабриста таким, каким он предстает глазам молодого поколения. И это, конечно, не случайно. В конце 50-х — начале 60-х годов поэта постоянно занимают мысли о воспитании молодежи в революционном духе, он хочет видеть тех, кто идет на смену свершившим свое бойцам, самоотверженными, духовно закаленными, готовыми на жертвы во имя светлого дела свободы. Он призывает молодое поколение:

Несите твердою рукой
Святое знамя жизни новой
Не отступая пред толпой,
Бросать камнями готовой...²

За души и умы молодого поколения он борется в своей гневной инвективе «Лжеучителям» (1862). С негодованием и сарказмом обрушивается на тех, кто хотел бы «сердца опутать и умы», убить «свободы пылкие мечты, // Ко благу честные стремленья»³. Союзника в этой борьбе видит Плещеев в старом декабристе. «Испытанья и невзгоды» не умертвили в нем «духа сил». Он сохранил «свежесть чувства», которое воодушевляло его на борьбу в молодые годы, и этому учатся у него наследники его славного дела. В нем видят они пример для подражания, ибо таким примером может служить лишь тот,

Кто друг не рабства, а свободы,
В ком вера в истину жива
И кто бесстрастно не взирает,
Как человечества права
Надменно сильный попирает⁴.

* * *

Создателем первой цельной концепции декабризма как социально-исторического и идеологического явления был Герцен. Не раз обращаясь мыслью к событиям 1825 года в мемуарах, в исторических работах и публицистических статьях, создававшихся на протяжении чет-

¹ Плещеев А. Н. Полн. собр. стихотворений. Л., Советский писатель, 1964, с. 143.

² Там же, с. 178.

³ Там же, с. 179.

⁴ Там же, с. 143.

верти века — с начала 1840-х до второй половины 1860-х годов, Герцен дал им оценку, самую глубокую из всех, которые они получали на протяжении XIX века, и оказавшую значительное влияние на отношение к декабризму и современников и потомков.

Как уже неоднократно отмечалось, герценовская концепция декабризма складывалась как живое противодействие и опровержение как официальной, правительственной концепции, изложенной в «Донесении следственной комиссии», и в книге М. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I», так и либеральной концепции, основоположником которой был Н. И. Тургенев. Ведя борьбу на два фронта: против официозных и либеральных попыток исказить правду о восстании декабристов, Герцен стремился уяснить генезис и предпосылки выступления дворянских революционеров, нащупать корни этого выступления в прошлом и, исходя из этого, уяснить его исторический смысл.

Именно потому, что Герцен и Огарев стремились установить и распространить достоверную, соответствующую истине точку зрения на деятельность декабристов, они уделяли такое большое и постоянное внимание изданию мемуаров декабристов и других источников по истории дворянского революционного движения. Вспомним о произведениях декабристов и других ценнейших материалах, спасенных от забвения и гибели публикациями в «Полярной звезде», об издании трех выпусков «Записок декабристов», где были напечатаны воспоминания И. Д. Якушкина, С. П. Трубецкого, И. И. Пущина, о публикации разбора «Донесения следственной комиссии», сделанного Н. Муравьевым и М. Луниным и многих других страницах издательской деятельности Герцена.

Вспомним и о том, как заботился он о точности и тщательности, которые считал необходимыми при печати декабристских материалов. «...Предприняв это издание как святое дело,— писал Герцен Н. И. Тургеневу,— мы должны были печатать текст — без малейших изменений. Тут все принадлежит истории, и между фактами и их обнародованием легли сорок тяжелых годов. «Записки» Якушкина бросают большой свет на тогдашнее время — рядом с ними печатаются «Записки» кн. Трубецкого, в которых те же факты являются отраженными под иным углом. Мне кажется, что только этим образом и можно будет реставрировать события и

личности — ваших товарищей и друзей и наших отцов в духе»¹.

Последним произведением Герцена о декабристах, созданным лишь за два года до его кончины, были «Исторические очерки о героях 1825 года и их предшественниках, по их воспоминаниям» — работа, смысл которой ее автор видел в том, чтобы воскресить «отрывки, отдельные штрихи, наброски, разрозненные страницы из воспоминаний и заметок, написанных И. Якушкиным, Бестужевым, князьями Трубецкими, Оболенским и др.», добавив «лишь отдельные подробности и замечания общего характера» (т. XX, кн. I, с. 231). «Мы старались, насколько это возможно, — писал далее Герцен, — сохранить собственные слова этих героических личностей, писавших их во глубине Восточной Сибири рукой, отягощенной оковами» (т. XX, кн. I, с. 231).

Концепция декабризма, разработанная Герценом, тот, если позволительно такое выражение, образ декабристов, который создан в его произведениях, не могут быть правильно поняты без учета роли, которую сыграли декабристы в собственной судьбе Герцена, в становлении его как человека и революционера. Известные высказывания В. И. Ленина о том, что «декабристы разбудили Герцена», что «восстание декабристов разбудило и «очистило» его», уходят корнями в многочисленные свидетельства, признания самого Герцена, которые делались им на протяжении многих лет.

В книге «О развитии революционных идей в России» Герцен называет себя и своих сверстников, слишком юных, чтобы принять участие в 14 декабря, людьми, «разбуженными этим великим днем» (т. VII, с. 225). Спустя несколько лет в предисловии к книге «14 декабря 1825 и император Николай», выпущенной с намерением «поднять голос за великих предшественников наших», Герцен заявил: «...Мы от них считаем наше духовное рождение... их голос разбудил нас к жизни и их пример поддержал через все существование наше» (т. XIII, с. 67). «Пушки Исаакиевской площади разбудили целое поколение» (т. XIII, с. 140), — говорил он в статье «Русский заговор 1825 года». То же слово избирает Герцен, повествуя в «Былом и думах» о впечатлении, произведе-

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XXVII, кн. I. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 281—282. Далее в главе ссылки на это издание даются в тексте указанием тома и страницы.

денном на него, еще подростка, «рассказами о возмущении»: «Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души» (т. VIII, с. 61). А в 1862 году в статье «Концы и начала» он вновь говорил о декабристах как «воинах-сподвижниках, вышедших сознательно на явную гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение...» (т. XVI, с. 171).

Глубина герценовского подхода к декабристам состояла в том, что он увидел в их действиях не всплеск героизма одиночек, а явление, предопределенное предшествующим ходом русской истории и наложившее неизгладимый отпечаток на последующее развитие. Герцен стремился вскрыть, пользуясь его собственными словами, «историческую философию этого события» (т. XIII, с. 143). Существо ее сводилось к следующему.

Петр I увлек русское дворянство на путь европейской цивилизации. Это привело к зарождению в дворянской среде умственного движения, которое не смогло не оказаться в противоречии с самодержавным строем. Оно вобрало в себя «все оттенки либерализма времен Реставрации, как их формулировали Риго и Мина, карбонарии и Тугендбунд, Бенжамен Констан и революционная традиция 92 года» (т. XIII, с. 143—144). Но именно потому, что либерализм декабристов был чужеземным, он не стал народным и отсутствие народной поддержки оказалось роковым для заговорщиков. Упрекать в этом декабристов было бы бессмысленно: то было логическое следствие предшествующего развития событий, последний результат петровских преобразований, «следствие цивилизации, ввезенной извне для одного лишь класса, следствие отдаления, в каком цивилизованная Россия держалась от России народной» (т. XIII, с. 144).

Поэтому Герцен неоднократно, в разных контекстах подчеркивает, что восстание декабристов включает «петровский период русской истории» (т. XIII, с. 37), что «26 декабря 1825 года — последний результат преобразований Петра I» (т. XIII, с. 144), что в этот день «трагический элемент петровского периода достиг высшего, раздирающего душу выражения» (т. XVI, с. 73), что события на Сенатской площади являются «строгими, прямыми последствиями, крайними звеньями петровского периода» (т. XIII, с. 44), что Чацкий — это «декабрист, это человек, который *завершает* эпоху Петра I» (т. XVIII, с. 180).

Если М. А. Корф пытался увидеть в намерениях де-

кабристов «дерзостные мечтания» «горсти молодых безумцев, незнакомых ни с потребностями империи, ни с духом и истинными нуждами народа»¹, если, по Н. И. Тургеневу, 14 декабря произошло лишь досадное недоразумение, ибо правительство само склонно было провести в жизнь те реформы, во имя которых повстанцы вышли на Сенатскую площадь, то Герцен увидел в событиях того рокового дня закономерное звено исторического процесса.

Царизм неустанно убеждал себя и других, что «прорисование 14 декабря» явилось делом рук «ничтожных» и «развратных» мальчишек, что оно было заранее обречено на провал. В противовес этому Герцен напомнил, что «попытка 14 декабря вовсе не была так безумна, как ее представляют» (т. XIII, с. 43), что исход восстания мог быть иным, «если б заговорщики вывели солдат не утром, а в полночь, и обложили бы Зимний дворец, где ничего не было готового», «если б, не строясь в каре, они утром всеми силами напали бы на дворцовый караул, еще шаткий и неуверенный тогда» (т. XIII, с. 44). Но то, что они не сделали этого, не было упущением, тактическим просчетом: в этом сказались коренные, определяющие особенности движения, ориентированного на большее, чем «серальный переворот». Участники восстания «потому-то и не бросились в дворец, а открыто построились на площади, как бы испытывая, с ними ли общественное мнение, с ними ли массы. Они не были с ними, и судьба их была решена!» (т. XIII, с. 44). Это был важнейший вывод, сделанный Герценом из анализа восстания. Его поражение было закономерным, ибо «заговорщикам не хватало именно *народа*» (т. XIII, с. 144). «...Народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной» (т. VII, с. 214).

Но, трагически разобщенные с народом, не застрахованные от заблуждений, разгромленные и поверженные, погребенные в нерчинских рудниках, декабристы, по убеждению Герцена, свое историческое дело свершили. «Русским недоставало отнюдь не либеральных стремлений или понимания совершавшихся злоупотреблений,—

¹ Корф М. А. Восшествие на престол императора Николая I. Изд. 5-е, доп. (3 для публики). СПб., 1857, с. 100.

говорил он,— им не доставало случая, который дал бы им смелость инициативы. Теория внушает убеждения, пример определяет образ действий» (т. VII, с. 200). Декабристы дали русскому обществу такой пример и навсегда остались в глазах Герцена образцом самоотверженности, героизма, высокой духовной силы. Герцен-мыслитель анализировал предпосылки декабрьского восстания и причины его неудачи. Герцен-художник вдохновенно воспел подвиг его участников. Поколение, сложившееся между 1812 и 1825 годами, было в его глазах «плеядой, блестящей талантами, с независимым характером, с рыцарской доблестью (явлениями совершенно новыми в России)... Что за титаны, что за гиганты и что за поэтические, что за сочувственные личности! Их нельзя было ничем ни умалить, ни исказить: ни виселицей, ни каторгой, ни блудовским донесением, ни корфовским поминаньем...» (т. XVI, с. 72). «Это какие-то богатыри, кованые из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных среди палачества и рабологии» (т. XVI, с. 171).

Герцена не раз упрекали в том, что он идеализировал декабристов, что он видел в них образец революционности. Известные основания для таких упреков есть. Герцен заблуждался и выдавал желаемое за действительное, когда утверждал, что Пестель «был социалистом прежде, чем появился социализм», что он «первый задумал привлечь народ к участию в революции» (т. VII, с. 200). Можно привести случаи, когда Герцен приписывал участникам тайных обществ те убеждения, которые разделял сам, те качества, которые получили распространение на позднейших этапах освободительной борьбы. Но не это оказалось определяющим для отношения к герценовской оценке декабристов. Иначе те возвышенные слова, которые сказал Герцен в статье «Начала и концы» (и которые были процитированы выше), не вошли бы в текст ленинской работы «Памяти Герцена». Ленин принял эти слова, он ввел их в ткань и в логику своего собственного суждения, и это подтверждает, что выношенная и провозглашенная Герценом концепция декабризма в чем-то наиболее существенном выдержала испытание временем.

Трудно переоценить влияние, которое оказал Герцен на формирование отношения русского общества к де-

кабристам. Даже те, кто этого отношения не разделял, как Вяземский или Фет, кто считал, что Герцен идеализировал, приукрасил деятелей тайных обществ, выработывали свое мнение, отталкиваясь от Герцена, с учетом сказанного им, в полемике с ним. Но и они многое узнали о декабристах благодаря Герцену.

Деятельность Герцена как историка и пропагандиста дворянской революционности еще при жизни стала важной чертой его характеристики. В. В. Крестовский, написавший стихотворение «Памяти пятерых», где он славил мучеников Кронверкской куртины, которые «сложили свои головы... за народ честной», и скорбел, что «быль про вас быльем поросла», завершил его строками:

Лишь один-то на чужбинушке чужой стороне
Горе-молодец родимый, богатырь-голова
Небоязно запевае «память вечную!»¹.

Герценовскую концепцию декабризма развивал в своих работах Г. В. Плеханов. Герценовскую формулу «Рылеев — Шиллер декабристов» использовал в «Истории русской литературы» Горький. Подобных примеров можно привести множество.

Как известно, сделанное Герценом для воскрешения памяти о людях 14 декабря и уяснения места этого события в русской истории делалось им вместе с Огаревым, которому принадлежит большая, может быть, еще не оцененная по достоинству часть той заслуги, которую обычно приписывают одному Герцену.

Как и Герцен, Огарев был представителем поколения, для которого трагедия на Сенатской площади стала фактом его собственной духовной истории, определявшим и жизненный путь будущего поэта, и его образ мыслей, и образ действий. И у него «ребяческий сон» души был разбужен казнью Пестеля и его товарищей, и он входил в аудиторию Московского университета с мечтой создать общество по образцу декабристов, и он ловил сердцем рассказы о людях 14 декабря и читал в списках запрещенные произведения Рылеева и его соратников. Придет время, и Огарев обратится к Герцену со знаменательными словами: «Шиллер, русская литература декабристов, их гибель, рассказы Анны Егоровны о Якубовиче, коронация уже ненавистного императора — и всю эту эпоху мы с тобой пережили вместе, постоянно подталкивая друг друга в развитии и стрем-

¹ Поэты 1860-х годов. Л., Советский писатель, 1968, с. 549.

лении к одной и той же великой, для нас еще неясной цели» (ИП, с. 416)¹.

В конце 30-х годов судьба свела Огарева с ссыльными декабристами: М. М. Нарышкиным, В. Н. Лихаревым, Н. И. Лорером, А. Е. Розеном, М. А. Назимовым и особенно с А. И. Одоевским, к которому он ощутил глубокую привязанность и светлую память о котором сохранил до конца дней. И впечатления, испытанные Огаревым после поражения декабристского восстания, и его встречи с членами тайных обществ заняли большое место в его мемуарной прозе.

«Кавказские воды» воссоздают облик Александра Одоевского, с которым Огарев, живя в Пятигорске, виделся почти ежедневно. «Одоевский был, без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Лермонтов списал его с натуры. Да! этот

...блеск лазурных глаз,
И детский звонкий смех, и речь живую...—

не забудет никто из знавших его. В этих глазах выразилось спокойствие духа, скорбь не о своих страданиях, а о страданиях человека, в них выразилось милосердие» (ИП, с. 383).

Описывая Одоевского, Огарев не раз обращается к стихотворению Лермонтова, цитирует его. Вместе с тем он видит Одоевского не таким, каким ссыльный декабрист виделся Лермонтову. Огарев акцентирует религиозность Одоевского: «Он весь принадлежал к числу личностей христоподобных». Но он оказывается настолько прозорлив, что объясняет поведение Одоевского не одной только набожностью. «Он носил свою солдатскую шинель с тем же спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь, с той же любовью к товарищам, с той же преданностью к своей истине, с тем же равнодушием к своему страданию. Может быть, он даже любил свое страдание; это совершенно в христианском духе... да не только в христианском духе, это в духе всякой преданности общему делу, делу убеждения, в духе всякого страдания, которое не вертится около своей личности,

¹ Далее в главе ссылки на произведения Огарева, кроме особо оговоренных случаев, даются в тексте. При этом приняты следующие сокращения: Избр.—Огарев Н. П. Избр. социально-политические и философские произведения, т. I. М., Госполитиздат, 1952; ИП—Огарев Н. П. Избр. произведения, т. II. М., Гослитиздат, 1956; СП—Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы, Л., Советский писатель, 1956.

около неудач какого-нибудь мелкого самолюбия» (ИП, с. 384).

Огарев подробно рассказывает и о том, какое воздействие оказал Одоевский и на него самого, на какой почве происходило их сближение, об Одоевском как критике его юношеских стихов, о влиянии, которое он имел на Огарева в теоретическом направлении. «Встреча с Одоевским и декабристами,— писал он,— возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженности. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я — идущий по их дороге, я — обрекающий себя на ту же участь... это чувство меня не покидало» (ИП, с. 385).

«Моя исповедь» содержит материалы, позволяющие видеть, как произошло знакомство Огарева с творчеством декабристов, как он делал первые шаги, постигая смысл их деятельности. Он вспоминает, как переписывал запрещенные стихи Пушкина и Рыльева, как воспринял весть о декабрьских событиях. «От смерти Александра, — писал он, — моя мысль перешла к заговорщикам и постепенно вырабатывалась в их пользу». Он прислушивается к разговорам о том, что «все эти преследуемые молодые люди — не бунтовщики и не изменники, а истинные приверженцы отечества». И в ушах его отдавалось: «...приверженцы, приверженцы, настоящие приверженцы...» (ИП, с. 411).

До нас дошел отрывок из неизвестного автобиографического сочинения Огарева. Здесь им были сказаны очень важные и весомые слова: «Да! 1825 год имел для России огромное значение. Для нас, мальчиков, это было нравственным переворотом и пробуждением. Мы перестали молиться на образа и молились только на людей, которые были казнены или сосланы. На этом чувстве мы и выросли с Сашей»¹.

Своеобразным продолжением мемуаров Огарева стали стихи, которые Огарев посвятил декабристам. Наиболее характерная их особенность — автобиографический характер, опора на виденное и пережитое. Конечно, Огарев был не единственным поэтом нового поколения, который встречался с декабристами. Но он, как никто другой, стремился создать своими стихами ощущение достоверности, опереться на факты. И это стало своеобразным эстетическим стержнем, скрепляющим все про-

¹ Литературное наследство, т. 61. Герцен и Огарев, кн. I. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1953, с. 700.

изведения Огарева о декабристах, определяющим выбор художественных средств.

На воплощение декабристской темы в творчестве Огарева оказало влияние и другое обстоятельство. Огарев был не только поэтом декабризма, но и его историком. Он был автором строгих научных работ, в которых осмысливались значение деятельности дворянских революционеров, содержание их политической программы, их место в истории освободительного движения. Здесь прежде всего должен быть назван «Разбор книги Корфа», вышедший в свет в Лондоне в 1858 году. В этой статье Огарев подчеркнул, что создание тайных обществ было результатом внутреннего положения России, а не попыткой «нескольких молодых людей» завести «нечто подобное тем тайным политическим обществам, которые существовали тогда в Германии». «Пора бы изменить эту пошлую точку зрения на исторические происшествия... — писал он. — Тайное общество составилось не из одного подражания западным тайным обществам, а потому что русский ум искал исхода из невыносимого общественного положения». «Образование тайного общества... вытекало из самого положения вещей» (Избр., с. 215, 219).

Столкновение двух лагерей на Сенатской площади восходит, по Огареву, к борьбе двух противоположных тенденций, проходящих через всю историю России в XVIII и начале XIX века: «общечеловеческого элемента образования гражданственности» и «элемента исключительно немецко-татарского», который «безумно пыхтит в Павле I», навязывает России аракеевщину, «достигает высшего выражения в тяжеловесном и удушливом царствовании Николая». В 1825 году «немецко-татарское начало» победило, но эта победа обнаружила бесперспективность пути, по которому его сторонники хотели бы повести Россию. В противовес попыткам М. Корфа и авторов «донесения» утаить от общественного мнения программу дворянских революционеров Огарев подчеркнул, что «цель и действия общества определяются весьма ясно. Общество хотело перемены государственных постановлений», и хотело оно этого, «потому что положение государства было невыносимо» (Избр., с. 233—234).

Вскоре после «Разбора книги Корфа» Огарев выпускает в Лондоне отдельным изданием «Думы» Рылеева и пишет к ним предисловие. Здесь он вновь говорит о

том, что восстание 14 декабря было закономерным и неизбежным итогом предшествующего исторического процесса, противоречия между «казарменно-бюрократической формой аракевского управления» и «юными русскими силами, требовавшими простора». И наконец, в 1869 году была издана в виде брошюры-листочка статья Огарева «В память людям 14 декабря 1825». Здесь восстановлена панорама событий, происшедших в день восстания, приведен ряд колоритных эпизодов, характеризующих, как Николай вел следствие по делам декабристов. Здесь содержится глубокая и верная мысль о побуждениях, которые руководили участниками восстания, об их воздействии на последующее освободительное движение. «...Люди 14 декабря — и это мы видим равно из всех им враждебных и не враждебных документов — знали, что успех их предприятия сомнителен, и ставили одною из главных своих целей: заявить свою мысль всенародно, заявить пример, одним словом — начать с тем, что они погибнут, но дело уже никогда не погибнет. И оно действительно не погибло» (Избр., с. 786).

Творчество Огарева-историка и Огарева-мемуариста взаимопроникали и дополняли друг друга. За его воспоминаниями стоит то понимание декабризма, к которому он пришел как историк, с другой стороны, в исторических и историко-литературных работах видны мемуарные вкрапления, ощущается опора на виденное и пережитое. Так, характеризуя самоотверженность Рылеева, Огарев заключает: «В этом отличительная черта его направления, и те, которые помнят то время, конечно, скажут вместе с нами, что его влияние на тогдашнюю литературу было огромное. Юношество читало его нарасхват, его стихи оно знало наизусть» (Избр., с. 350).

Первым стихотворением, в котором Огарев изобразил декабристов, было «Я видел вас, пришельцы дальних стран». Оно создано под влиянием встречи поэта с декабристами во время его поездки на Кавказ летом 1838 года. Эти встречи будут позднее описаны в его мемуарном отрывке «Кавказские воды». Уже первым стихом поэт стремится подчеркнуть, что рисуемая им картина — правдивое отражение того, что прошло перед его глазами. Те же слова «Я видел вас» мы найдем затем в начале четвертой, шестой, седьмой и восьмой строф. Но вместе с тем декабристы в этом стихотворении преображены романтической системой молодого Огарева. Реальность как бы затуманена условностью поэтических фор-

мул. Они, «пришельцы дальних стран», «жили под ношею страданья», и «севера свирепый ураган» на них «кидал холодное дыханье», «сердце знало много тяжких ран, // А слух внимал печальному рыданью».

О религиозности ссыльных декабристов Огарев говорит здесь не аналитически, как скажет позднее в «Кавказских водах», а с глубоким, разделяющим их убеждения сочувствием. «Святость» провидения, преданность которому они хранили, сливается в его сознании со святостью свершенного ими подвига. Взывая к небесам, «страдалцы» обретали «светлые мгновенья». «И вспоминая, как среди людей // Страдал Христос за подвиг искупленья», забывали гнет своих скорбей и плакали от умиленья.

Не к действительным воспоминаниям, а к традиции романтических элегий восходит поэтика стихотворения. Клонится к исходу день, свет зари проглядывает сквозь «седую тучу», «как ясный день надежды за могилой». И в отношении к этой условной романтической природе, дышащей, по крылатому слову Белинского, «таинственной жизнью души и сердца»¹, раскрывается для Огарева то, что отличает декабристов от их гонителей, от всех, кому недоступны их чистые, высокие стремленья:

...кипели суетой
Беспечно жители земного мира,
Поклонники с заглохшею душой...

И декабристки — «страдалцы святые», перенесшие «тяжелой жизни сон» и «проклятия земные». Красота природы и прелесть музыки «с небес заброшенной лиры» служат поэту пробным камнем, они помогают отделить их, высоких, чистых, внятных голосу неба, от жалких земных существ, удел которых — проза будничной, бездуховной жизни:

Я видел вас и думал: проблеск дня,
Исполненный святого упованья,
Поля в лугах вечернего огня
И музыка и гром и замиранье —
Не для детей земного бытия,—
Для вас одних, очищенных в страданье.

(СП, с. 72)

Когда почти через 20 лет Огарев напишет стихотворение «Памяти Рылеева», в нем тоже найдет себе место

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 219.

прямое указание на то, что эти стихи воспроизводят виденное и пережитое:

В святой тиши воспоминаний
Храню я бережно года...

Это были года, когда готовилось первое вооруженное выступление против царизма:

...в то время
Шло стройной поступью бойцов
Могучих деятелей племя
И сеяло благое семя
На почву юную умов.

(СП, с. 290—291).

Тональность повествования иная. Стих рисует протоколно-достоверную картину событий, предшествовавших 14 декабря и последовавших за этим днем. Воспоминания о них в известном смысле спрессованы: то, что Огарев и его сверстники переживали и делали в 30-е годы, введено в описание обстановки, предшествовавшей восстанию. Но это не мешает ощутить главное — то решающее влияние, которое оказал подвиг декабристов на последующее поколение, «разбуженное» ими и обретшее благодаря им свое место в жизни.

Из «Моей исповеди» мы знаем о страстной заинтересованности Огарева тайно распространившимися произведениями декабристов. Он вспоминал, как один из его приятелей «привозил из пансиона тетради тогдашних запрещенных стихов Пушкина, Рылеева и других и переписывал для себя; а я у него переписывал для себя, и не только я...» (ИП, с. 406—407). Пройдут годы, но чувства, испытанные в ту пору юным вольнолюбцем, не изгладятся из его памяти:

Везде шептались. Тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети, с робостью во взгляде,
Звучащий стих свободы ради,
Таясь, твердили по ночам.
Бунт, вспыхнув, замер. Казнь проснулась.
Вот пять повешенных людей...
В нас сердце молча содрогнулось,
Но мысль живая встрепенулась,
И путь означен жизни всей.

(СП, с. 291)

Одновременно или несколько раньше, чем писались эти строки, Огарев работал над поэмой «Матвей Радаев», имевшей несомненно автобиографический характер.

Герой поэмы вспоминает ту атмосферу потрясения и тревоги, которую породило газетное сообщение о событиях, происшедших на Сенатской площади:

...В Петербурге в день присяги
Был бунт, исполненный отваги.
Полк вышел чуть не на заре
И стал на площади в каре —
Готов на смерть и жаждет воли.
Не надо больше рабской доли!
Ребята! Стойте в добрый час,
Святая Русь помянет вас!
Царь пушки выдвинул. Солдату,
Казалось, грех стрелять по брату,
Но дан приказ, свистит картечь,
Телам на снег пришлось лечь...
Залп, залп — и сила одолела,
Шатнулись, погибло дело.

Приходят вести о репрессиях, которые обрушил царизм на участников восстания. И наконец, самая страшная из всех:

Окончен суд — и пятерых
Повесили, всех сильных духом,
Повесили тихонько их,
Так, знаете, чуть рассветало,
Чтоб говора не возбуждало.
Других в цепях в Сибирь везут...

Среди сосланных — любимый брат матери Радаева. И мать, не вынесшая тяжести происшедшего, умирает. Но перед смертью сын слышит от нее слова, которые никогда не будут им забыты:

Храни завет страдальцев сильных,
Людей повешенных и ссыльных —
Сыны отечества они...
Дитя мое, храни, храни!..

(СП, с. 622—624)

За «Матвеем Радаевым» следует «Исповедь лишнего человека», в которой столь же явственно звучат автобиографические ноты. И здесь воспоминания о событиях, «означивших» путь дальнейшей жизни,

О пятерых, которых Николай,
Испуганный, замучил и повесил.
По их следам слагалась жизнь моя.

(ИП, с. 251)

«Мы — дети декабристов» (ИП, с. 252) — эта формула красной нитью проходит и через автобиографическую прозу, и через лирику, и через письма Огарева.

В 1861 году в тексте автобиографического фрагмента «Кавказские воды» было напечатано стихотворение «И если б мне пришлось прожить еще года». Здесь Огарев вспоминает о том, какими он увидел декабристов, вернувшихся с каторги, не сломленных ни тяжестью цепей, ни гнетом заточенья. Он вспоминает

...лица тихие, спокойные черты
Изгнанников иных, тех первопцев свободы,
Создавших нашу мысль в младенческие годы.

Это уже не те «страдальцы, полные чудного смиренья», хранящие «всепреданность святому провиденью», какими представляли декабристы мысленному взору поэта в 1838 году. Это обрисованные прозаически скупой и правдивой «пришельцы с каторги», «несокрушимые духом». «Серая шинель — одежда рядовых» повествует о пережитом молодежи, которая с благоговением внимает жадным слухом

Рассказам про Сибирь, про узников святых
И преданность их жем, про светлые мгновенья
Под скорбный звук цепей, под гнетом заточенья...

(СП, с. 303)

И еще не раз и не два прозвучат в лирике Огарева признания о том решающем воздействии, которое оказали на его судьбу события на Сенатской площади, о том, что

...бунт известный Декабря
И нас, детей, в задумчивом волненьи
Воздвигнул страстно противу царя.

(СП, с. 356)

Торжественные звуки Героической симфонии Бетховена применит он

...не к витязю войны,
А к людям доблестным, погибшим среди муки,
За дело вольное народа и страны.
Я вспомнил петлей пять голов казненных,
И их спокойное умершее чело,
И их друзей, на каторге сраженных,
Умерших твердо и светло.

(СП, с. 357)

На всех этапах поэтического освещения декабристской темы в лирике Огарева возникает один образ — образ того из декабристов, которого он лучше всех знал и всех более любил, — Александра Одоевского. В стихах

1838 года он — «поэт с прекрасною душой, с душою светлою, как луч денницы» (СП, с. 72). В 1861 году Огарев вспоминает, как Одоевский,

Тот — муж по твердости и нежный, как ребенок,
Чей взор был милосерд и полон кротких сил,
Чей стих мне был, как песнь серебряная, звонок,
В свои объятия меня он заключил,
И память мне хранит сердечное лобзанье,
Как брата старшего святое завещанье.

(СП, с. 303)

В «Героической симфонии Бетховена» тот, кого Огарев называл своим «старшим братом», не упомянут. Но стихотворение имеет подзаголовок — «Памяти Ал. Одоевского».

Тема «Огарев и декабристы» слишком обширна для того, чтобы ее можно было исчерпать приведенными здесь материалами. Но вынужденно отказываясь от многого, нельзя не вспомнить об одном письме поэта. Огарев написал его в 1861 году С. Г. Волконскому. На первый взгляд может показаться, что оно лишено той страстности, которой пронизаны стихи Огарева о декабристах. Но вслушаемся в эти спокойные и взвешенные слова, и мы ощутим: оно здесь, постоянное для него жгучее чувство внутреннего родства с декабристами, необходимости вседневно ощущать свое дело продолжением их дела. «Может, и я уже в том возрасте,— писал Огарев,— когда жить остается недолго и дела так много, что приходится наскоро собирать и напрягать все силы, чтобы успеть что-нибудь сделать. Тем дороже становится та придача силы, которую вносит в нашу жизнь чувство связи с вами, чувство традиции русской свободы, принятое от вас и хранимое с религиозным благоговением. В этой традиции вы мне представляете ту сторону, которая мне всего ближе, которой летопись, к несчастью, наиболее утрачивается, сторону — Русской правды... Мне кажется, что этой традиции я остался верен. Стало, вы легко поймете мое сожаление о том, что я вас не видел, и ту искренность, с которой я прошу вашего заочного благословения на дальнейшую работу»¹.

Произведения Герцена и Огарева явились для русской литературы и публицистики мощным импульсом, на протяжении целых десятилетий оказывавшим воздей-

¹ Литературное наследство, т. 63. Герцен и Огарев, кн. III. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 105—106.

ствие на отношение к декабристам. Говорить и писать о декабристах так, как если бы этих произведений не было, стало теперь невозможно. Ближайшее, наиболее осязаемое и легко прослеживаемое влияние Герцен и Огарев оказали, конечно, на литературу русской эмиграции 1840—1860 годов. Оно затронуло не только таких деятелей, как Сатин и Сазонов, которых принято считать людьми собственно герценовского круга, но и деятелей, чьи отношения с «Колоколом» были более сложными, как Бакунин и Долгоруков.

Н. М. Сатин, участник студенческого кружка Герцена и Огарева, арестованный в 1835 году, высланный сначала в Симбирскую губернию, затем на Кавказ, встречался с декабристами примерно тогда же, когда произошло их сближение и с Огаревым. В своих написанных позднее воспоминаниях Сатин описал эти встречи. Как известно, в воспоминания Сатина вкрались некоторые фактические неточности, но что он передал с несомненной достоверностью — это восторженное отношение, которое вызывали декабристы у деятелей «Молодой России». Сатин вспоминал о вечере в гостинице, где остановились его «новые знакомые» — сосланные на Кавказ декабристы, о том, как «пошли разные либеральные тосты и разные рассказы о 14-м декабря и обстоятельствах, сопровождавших его. Можете представить, как это волновало тогда наши еще юные сердца и какими глазами смотрели мы на этих людей, из которых каждый казался нам или героем, или жертвой грубого деспотизма!»¹

Когда соратники Герцена стали уезжать из России и вести за ее пределами революционную пропаганду, в этой пропаганде с самого начала присутствовала тема 14 декабря. В первой революционной брошюре русской эмиграции — «Катехизисе русского народа» И. Г. Головина, анонимно изданной в Париже в 1848 году, говорится о революционном выступлении дворян, которые «хотели умерять царскую власть»². Спустя несколько лет другой деятель герценовского круга Н. И. Сазонов печатает в Париже, тоже анонимно, обширную статью «Правда об императоре Николае». Как и Герцен, Сазонов останавливается на объективных предпосылках дви-

¹ Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, в 2-х томах, т. II. М., Художественная литература, 1980, с. 272.

² Звенья, вып. I. М.—Л., Academia, 1932, с. 208.

жения, стремится показать, что восстание на Сенатской площади было закономерным следствием обострения неуклонно нараставших противоречий: «Все классы общества страдали и жаловались; дворянство, ожидавшее некоторых вольностей в награду за преданность, которую оно проявило в 1812 году; армия, принесшая из-за рубежа зародыши либеральных идей; буржуазия, не видевшая себе будущего; народ, положение которого стало еще более тяжелым благодаря устройству военных поселений... В стране действительно шла скрытая работа, представлявшая собой попытку сплотить воедино всех недовольных».

Обстоятельства междуцарствия, события 14 декабря автору известны недостаточно: он излагает их отрывочно, сбивчиво и не совсем точно. Но он выступает с решительным разоблачением той клеветы на декабристов, которую распространяла официальная пресса. Прочитывая известную репликацию «Русского инвалида» о разгроме восстания, кончавшуюся заверением, что его участники «будут обличены следствием и воспримут каждый по делам своим заслуженное наказание», Сазонов добавляет: «А все их преступление заключалось в любви к родине и в желании увидеть ее свободной и счастливой». Царские репрессии не истребили всех, кто разделял убеждения декабристов. Арестовывали тех, кого «считали самыми опасными врагами самодержавия». Но оставшиеся на свободе «увековечили в России дух протеста и свободы, из-за них Николай никогда не мог спать спокойно»¹.

Не раз обращался к воспоминаниям и раздумьям о движении декабристов и Михаил Бакунин. Бакунин, как и Герцен, принадлежал к поколению, которое было разбужено декабристами, и уже это не могло не привести к переключкам между его высказываниями о восстании 1825 года и высказываниями Герцена. Но дает себя знать и другое — прямое влияние, которое оказала на «старого товарища» герценовская концепция декабризма.

В 1847 году, выступая на собрании в память семнадцатой годовщины польского восстания, Бакунин напомнил о том, что декабристы были поборниками «идеи революционного союза между Польшей и Россией», о том, как «в самый критический момент борьбы, пре-

¹ Литературное наследство, т. 41—42. М., Изд-во АН СССР, 1941, с. 207, 210.

небрегая яростью Николая, вся Варшава однажды объединилась, вдохновленная великой братской мыслью, чтобы торжественно принести дань публичного уважения нашим героям, нашим мученикам 1825 года...». Почти герценовскими словами говорил в тот день Бакунин о декабристах: «...Они — наши святые, наши герои, мученики за нашу свободу, провозвестники нашего будущего! С высоты своих виселиц, из глубины далекой Сибири, где они еще страдают, они были нашим спасением, нашими светочами, источником всех наших прекраснейших вдохновений, нашей защитой против проклятых влияний деспотизма...»¹

Как и Герцена, Бакунина интересует вопрос о том, «как могли подобные люди родиться и вырасти в России, в среде дворянства, которое не знало других традиций, кроме самого отвратительного холопства перед царем и самого варварского деспотизма по отношению к крестьянам, своим рабам, которое всеми своими интересами, всем существованием своим противоречило свободе и гуманности».

Как и Герцен, Бакунин много и красноречиво пишет о том, какой трагедией обернулся для России разгром восстания: «Реакция, последовавшая за подавлением восстания декабристов, была ужасна. Все, что было человеческого, доброго, интеллигентного и свободного, было уничтожено и раздавлено; все же низкое, грубое, пресмыкательское, жестокое и подлое воссело на престоле вместе с императором Николаем... Это означало убийство новой России и воскрешение старой».

«Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром...» — говорит Герцен (т. VII, с. 208). Бакунин как бы продолжает: «Всякая человеческая мысль подвергалась гонению. Горе тому, кто осмеливался только возроптать против ежедневно творившихся гнусностей царских сатрапов, — его немедленно уничтожали. Горе тому, кто осмеливался думать иначе, чем это было предписано, — он немедленно исчезал»².

Под значительным влиянием Герцена проходила публицистическая деятельность и другого русского эмигран-

¹ Бакунин М. А. Собр. соч. и писем, т. III. М., Изд-во Всес. об-ва политкаторжан и ссыльпоселенцев, 1935, с. 273, 277, 278.

² Там же, т. I, с. 31, 36—37.

та — П. В. Долгорукова. Сейчас она полузабыта, но в свое время злые памфлеты Долгорукова вызывали страх и раздражение петербургских властей. Герцен был, без сомнения, прав, когда писал, что Долгоруков, «подобно неутомимому тореадору, не переставая дразнил быка русского правительства и заставлял трепетать камарилью Зимнего дворца» (т. XX, кн. I, с. 378).

Долгоруков не раз обращался к истории декабристского движения и характеристике его деятелей. Обширные некрологические статьи он посвятил Г. С. Батенькову и С. Г. Волконскому. Вторую из этих статей Герцен напечатал в «Колоколе» со своим предисловием. Обе статьи проникнуты глубоким уважением к участникам восстания, памяти которых они посвящены. Батеньков характеризуется Долгоруковым «как великий мученик русской свободы, священная жертва безобразного, подлого и гнусного самодержавия». С. Г. Волконский — «благородная, почтенная жертва гнусного самодержавия, из любви к отечеству променявший генеральские эполеты на кандалы каторжника...»¹.

Резкой противоположностью этим характеристикам звучат уничижительные отзывы о клеветках царизма, о «нынешнем главном начальнике государственной поимной ямы, или всероссийской шпионницы» В. А. Долгорукове. В день восстания декабристов этот человек стоял на внутреннем карауле в Зимнем дворце. «Он был, таким образом, свидетелем страха и ужаса, навешенных событиями того дня на жителей Зимнего дворца; он мог видеть, как уже укладывали вещи императорской фамилии; он мог слышать, что уже было отдано приказание закладывать и держать в готовности на конюшенном дворе экипажи для отъезда... Воспоминание об этом дне, в котором успех заговорщиков и перемена образа правления висели на волоске, воспоминание об этом замечательном дне оставило неизгладимые следы в трусливой и мелкой душонке Василия Андреевича; с тех пор он привык всего бояться, всего страшиться, всего трепетать и видеть революционный набат во всяком несколько громком чихании...»².

К мысли о возможности иного исхода, который могло иметь восстание, Долгоруков еще вернется, и то, что он говорит об этом, обнаруживает разительное сходство

¹ Долгоруков П. В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860—1867. М., Север, 1934, с. 364, 375.

² Там же, с. 158, 159.

с высказываниями Герцена и Огарева. Герцен, как мы помним, считал, что декабристы могли добиться успеха, если бы напали на Зимний дворец в полночь. «Конечно,— утверждал Огарев,— дела приняли бы другой оборот, если бы, например, на место нерешительного Трубецкого диктатором был назначен такой человек, как Якубович» (Избр., с. 253—254). Долгоруков также считал, что «либеральным идеям» «открыта была близкая будущность, и будущность эта состоялась бы непременно 14 декабря 1825 года, если бы тогдашние петербургские заговорщики действовали искуснее в этот достопамятный день, если бы они вместо того, чтобы избрать диктатором доброго душою, но слабого характером князя Трубецкого, избрали бы диктатором человека с энергией, например, Якубовича; если бы они, вместо того, чтобы выводить войско утром на площадь Сенатскую и терять там несколько часов в бездействии, вывели бы войска из казарм ночью, устремились бы на Зимний дворец, овладели бы императорскою фамилиею»¹. При этом и Герцен и Долгоруков сопоставляли неудачу, которую потерпело восстание декабристов, и «удачный мятеж» 1741 года, когда Елизавета Петровна захватила императорский престол.

К герценовскому кругу в широком смысле этого слова можно причислить и И. С. Тургенева, который тоже был представителем поколения, разбуженного восстанием декабристов. Об отношении Тургенева к событиям 1825 года известно немного. И все же, собрав по крупице факты, которые имеются сегодня в нашем распоряжении, можно сделать некоторые выводы.

Тургенев постоянно помнил о декабристах. Рассказывая о литературных вечерах, проходивших у Плетнева в 1837 году, Тургенев не упустил случая упомянуть, что в то время «общество еще помнило удар, обрушившийся на самых видных его представителей лет двенадцать перед тем»². Он поддерживал дружеские отношения с сыном М. Ф. Орлова — Н. М. Орловым и нередко посещал дом уцелевшего декабриста. В декабре 1855 года Тургенев организовал вечер, посвященный 30-летию восстания декабристов³. А когда уцелевшие «государст-

¹ Долгоруков П. В. Петербургские очерки..., с. 293.

² Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Соч., т. XIV. М.—Л., Наука, 1967, с. 18.

³ См.: Власов В. И. С. Тургенев и декабристы.— Орловская правда, 1975, 14 декабря. № 292, с. 4.

венные преступники» были помилованы, он сблизился с некоторыми из них, в частности, с Н. Р. Цебриковым, «рыцарская честность» которого вызывала восхищение писателя. Он установил связь с Е. С. Волконской, дочерью декабриста С. Г. Волконского, и сумел с ее помощью ознакомиться со знаменитыми записками ее матери — М. Н. Волконской. Тургенев назвал их «замечательными» и писал, что прочел их с «великим интересом». «Таким образом, Тургенев, первый, еще за много лет до Некрасова, познакомился с этим замечательным мемуарным памятником, оставленным одной из замечательнейших русских женщин»¹. Прочитав «Войну и мир», он бросил Толстому показательный упрек: «Как это он упустил из вида весь *декабристский* элемент, который такую роль играл в 20-х годах...»² Упрек этот был несправедливым, о чем мы будем иметь случай говорить подробнее, но он позволяет почувствовать, какое место занимал декабристский элемент в духовном мире самого Тургенева.

Среди лиц, упоминаемых в сочинениях и письмах писателя, — Рылеев, Бестужев, Якушкин и другие члены тайных обществ. В 1876 году, когда исполнилось 50 лет со дня казни декабристов, Тургенев предпринял знаменательную попытку популяризировать имя Рылеева во Франции. По сведениям, сохранившимся в дневнике Ф. Н. Тургеневой, он в беседе с Гюго предложил «поместить статью о Рылееве в «*Rappel*». «Мама и я, мы напустились — мы ему сказали, что статья о Рылееве не должна валяться в «*Rappel'e*»; он возражал и сказал, что эту газету читают больше других... Он сам был поражен невежеством В. Гюго, который сказал ему: «Да, да, Рылеев, Платон Зубов — заговорщики»³.

С этим фактом, видимо, органически связан и другой. 4(16) февраля того же, 1876 года Тургенев обращается с просьбой к П. В. Анненкову: «...Купите, не мешкая, у д-цы Маркс заграничное издание Рылеева («*Думы. Войнаровский*») — и пришлите сюда. Здесь этого ничего

¹ Гессен С. Иван Тургенев и семья декабриста Волконского. — Каторга и ссылка, 1931, № 4, с. 196.

² Письмо к И. П. Борису от 15 (27 марта) 1870 г. — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. VIII, с. 200. Слово «декабристский» подчеркнуто Тургеневым.

³ Тургенев и семья декабриста Н. И. Тургенева. Из дневников Ф. Н. Тургеневой, 1857—1883. Публикация М. П. Султан-Шах. — Литературное наследство, т. 76. М., Наука, 1967, с. 387—388.

достать нельзя — а мне нужно»¹. Исполнение этой просьбы настолько важно для Тургенева, что он дважды благодарит за это Анненкова: в письме от 12(24) февраля, и снова — от 14(26) февраля.

Для чего было нужно Тургеневу издание Рылеева, что должно было говориться о декабристе в статье в «*Rappel*», мы не знаем, но напряженность интереса Тургенева к наследию Рылеева показательна. Показательно, что в речи, произнесенной в 1879 году, Тургенев назвал себя представителем «либерального направления» и при этом пояснил слово «либерал» в выражениях, которые звучат как цитаты из Устава Союза благоденствия. Либерал, говорил он, это поборник таких устремлений, как «протест против всего темного и притеснительного», «уважение к науке и образованию, любовь к поэзии и художеству, и наконец — пуще всего ...любовь к народу, который, находясь еще под гнетом крепостного бесправия, нуждался в деятельной помощи своих счастливых сынов»².

Но особый интерес представляет отношение И. С. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Личность опального декабриста всегда восхищала его. Существуют весомые предположения, что Н. И. Тургенев и его книга «Россия и русские» существенно повлияли на антикрепостнический пафос «Записок охотника». «Вместе с твердостью и неизменяемостью убеждений, — писал Тургенев в некрологе Н. И. Тургенева, — в душе Николая Ивановича жила несокрушимая любовь к правосудию, к справедливости, к разумной свободе — и такая же ненависть к угнетению и кривосудию. Человек с сердцем мягким и нежным, он презирал слабость, дряблость, страх перед ответственностью»³. И это были качества, присущие не одному лишь Н. И. Тургеневу, но вообще характерные для декабристов, вследствие чего И. С. Тургенев видел в нем «одного из самых типических представителей той знаменательной эпохи»⁴. Писатель был достаточно трезв и самокритичен, чтобы увидеть в непримиримости и духовной силе Н. И. Тургенева то, чего недоставало его собственному поколению. «Свежесть и яркость впечат-

¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. XI, с. 211.

² Там же. Сочинения, т. XV, с. 58.

³ Там же. Сочинения, т. XIV, с. 220.

⁴ Там же, с. 214.

лений этого неутомимого борца, — писал он, — трогательна и изумительна для всех нас, столь рано устающих и столь слабо увлекающихся»¹.

При этом не будем упускать из виду и другую сторону дела. В длительной переписке с Н. И. Тургеневым события 1825 года не обсуждались. А коснувшись их в некрологе, Тургенев подбирает самые неопределенные, нейтральные слова: «Известны... причины, превратившие человека, которому, казалось, все сулило блестящую карьеру, которого ожидал министерский портфель, о котором сам император Александр не однажды выражался, что он один может заменить ему Сперанского, — превратившие, говорим мы, этого человека в государственного преступника, осужденного на смертную казнь. Известна также та настойчивость, с которою Н. Тургенев, опровергая доводы доклада следственной комиссии, утверждал свою невинность в деле 14 декабря»².

О собственном отношении к «делу 14 декабря» писатель умолчал. Но может быть, это один из тех случаев, когда молчание красноречивее слов. Оставаясь убежденным противником революционных методов борьбы, Тургенев должен был расценивать восстание на Сенатской площади как трагическую ошибку. Но он видел и другое: что это была «ошибка» благородных людей, воодушевленных высокими идеалами, тех, кто не захотел мириться с крепостным правом. В царствование Александра II, когда готовилась и была осуществлена крестьянская реформа, Тургенев не раз и с преклонением поминал «начинателей» великого дела. А ведь эти начинатели и группировались в тайные общества, к которым принадлежал и его кумир — Н. И. Тургенев. Чествуя Н. И. Тургенева в речи, произнесенной на обеде 19 февраля 1863 года, писатель говорил, что уничтожение крепостного права «легло в основание всей его деятельности, всей его жизни», об этом «он мечтал на скамьях Геттингенского университета», в это «не переставал верить», этому «не переставал служить под ударами несчастья, в изгнании, в удалении от отечества»³.

Определить свое отношение к восстанию декабристов означало для Тургенева в чем-то пойти против самого себя. Осуждение восстания на Сенатской площади обер-

¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Сочинения, т. XIV, с. 21.

² Там же, с. 216.

³ Там же. Сочинения, т. XV, с. 43.

нулось бы осуждением «начинателей» борьбы против крепостного права, с которой Тургенев связал себя «аннибаловой клятвой», а одобрение — одобрением революционных методов, которых он сторонился и в успех которых не верил.

* * *

В стадияльном развитии русского освободительного движения наследниками дворянских революционеров явились, как известно, революционеры-разночинцы. Это они, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли», «подхватили, распирили, укрепили, закалили» революционную агитацию, начатую их предшественниками. И как это всегда бывает при движении вперед, усвоение наследия сочеталось с пересмотром тех или иных его сторон.

В августе 1848 года Н. Г. Чернышевский, еще будучи студентом Петербургского университета, вписал в дневник любопытный разговор. По словам его собеседника, Пестель, «идя на виселицу, сказал: «Это цветочки, а будут и ягодки», — «стало быть, говорит, у них был сильный покровитель». Чернышевский же счел, что эта мысль «была вовсе некстати и нелепа по ходу разговора», и объяснил реплику Пестеля иначе: «А может, он сказал это... потому, что был убежден, что должен совершиться переворот...»¹

Упоминания о декабристах в статьях Чернышевского немногочисленны, но они явно свидетельствуют, что он помнил о них и сочувствовал их деятельности. Чернышевский был убежден в благотворности влияния, которое оказали декабристы на Пушкина. Говоря о переменах, которые произошли в его творчестве в 1820-х годах, критик объясняет их среди других причин и «прекращением тех приятельских отношений, памятником которых осталось стихотворение «Арион»². Двумя годами позднее в статье о Гоголе он детальнее и определеннее изложил ту же мысль. «Известен образ мыслей, вполне развившийся в Пушкине, когда прежние его руководители сменились новыми друзьями... — писал Чернышевский. — До конца жизни Пушкин оставался благородным человеком в частной жизни: человеком современных

¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. I. М., ГИХЛ, 1939, с. 90.

² Там же, т. II, с. 509.

убеждений он никогда не был; прежде под влияниями, о которых вспоминает в «Арионе», — казался, а теперь даже и не казался»¹. Здесь неуместно полемизировать с этой явно ошибочной оценкой Пушкина. Нам важнее отметить характеристику декабристов как людей «современных убеждений». Формулу Рыльева «Я не поэт, а гражданин» Чернышевский использовал для характеристики общественной значимости творчества Гоголя².

Еще раз и почти теми же словами Чернышевский упомянул о декабристах, анализируя «Философическое письмо» Чаадаева. Он высказал предположение, что в дате, стоящей под текстом, опущена одна цифра и должно было быть не «декабря 1», а «декабря 14». Если действительно так, — заметил критик, — это как бы посвящение статьи памяти об отношениях, внушивших Пушкину стихотворение «Арион»³.

Значительно более многообразен материал, характеризующий отношение Добролюбова к декабристам. Конечно, и он фрагментарен и неполон. Цензурные условия, опасность перлюстрации писем вынуждали критика обходить молчанием тему, которая, несомненно, привлекала его внимание. Но и те факты, которыми мы располагаем, позволяют сделать достаточно определенные выводы.

В одном из первых своих политических манифестов, в знаменитом «Письме к Н. И. Гречу», подписанном «Анастасий Беливский» и датированном 21 февраля 1855 года, Добролюбов впервые упоминает о декабристах. Саркастически характеризуя правосудие недавно скончавшегося Николая I, Добролюбов говорит: «Знают это правосудие и те многие благородные мученики, которые за святое увлечение благом России, за дерзновенное обнаружение в себе сознания человеческого достоинства терзаются теперь в рудниках или изнывают на поселении в пустынной Сибири»⁴. Узнав позднее об амнистии, провозглашенной Александром II, Добролюбов откликается на нее стихотворением «17 апреля 1856 г.», где изображен Николай, просящий у бога

¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. IV, с. 631.

² Там же, т. III, с. 137.

³ Там же, т. VII, с. 60.

⁴ Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. I. М.—Л., Гослитиздат, 1961. с. 100—101. Далее в главе ссылки на это издание даются в тексте указанием тома и страницы.

Суда на сына своего,
Распространяясь очень много
О непокорности его.

«Непокорность» эта, оказывается, состоит в том, что новый царь

мыслящих людей не хочет
Держать в Сибири и в тюрьме.

(т. VIII, с. 37)

В октябре 1855 года появился девятый номер рукописной добролюбовской газеты «Слухи», посвященный «тайным обществам в России 1817—1825 года». В основу очерка легли сведения, почерпнутые из книги Шницлера «Тайная история России при Александре I и Николае I». Отсюда — недостаточная точность в изложении событий, например в характеристике разногласий между Северным и Южным обществами, в описании деятельности Союза благоденствия, обстоятельств разгрома восстания и, в частности, восстания Черниговского полка.

Но важна тенденция, та расстановка акцентов, которая принадлежит Добролюбову и выражает его позиции. Добролюбов подчеркивает, что при тактических разногласиях, расхождениях «в средствах и подробностях дела» тайное общество «имело своей целью единственно благо общественное» (т. I, с. 133). Автору «Слухов» явно импонирует радикальное крыло в декабристском движении. Ему близка не та «часть его членов», которая «держалась умеренных мнений и полагала, что нужно действовать медленно, соображая и выжидая», а та, которая, «напротив, требовала решительных мер и не останавливалась ни перед царубийством, ни перед общим кровопролитием» (т. I, с. 134). Николай Тургенев упомянут мельком, как человек едва ли не случайный в тайном обществе («он, впрочем, скоро оставил это общество») (т. I, с. 133). Зато Пестель — в центре внимания Добролюбова — как основатель Союза спасения, который «искал уничтожения царской династии», как «главный деятель и распорядитель» Южного общества. «Пестель вошел в сношения с начальниками Северного союза, — пишет Добролюбов. — Пестель пользовался огромным влиянием на всех его окружавших... В собрании Северного общества Пестель говорил речь, которою убеждал всех принять решительные меры и возбуждал овладеть царскою фамилиею и истребить ее» (т. I, с. 134).

Рассказав о разногласиях в ранних декабристских организациях, о распаде Союза благоденствия, Добролюбов говорит: «Но зато вместо всех этих мелких собраний возникли в России два великих союза: Северный и Южный». Если Союз спасения и «рыцарей русских» названы «мелкими», потому что включали ограниченное число членов и существовали недолго, то Союз благоденствия и, как было известно Добролюбову, «долее продолжался», и был относительно массовой организацией, «разделенной на четыре части». Но сами занятия общества: филантропия, общественная и частная благотворительность, наблюдение за школами, судами, учеными учреждениями, политико-экономические исследования — все это были в глазах Добролюбова «мелкие» задачи в сравнении с «великой» целью Северного и Южного обществ — уничтожением царского самодержавия.

С несомненным сочувствием рассказывает Добролюбов о стремлении Якубовича собственноручно убить Александра I. «Узнав о его внезапной смерти, Якубович в бешенстве прибежал в собрание общества и закричал: «Вы, злодеи, у меня его отняли!» И, показав на этом примере «степень ожесточения» участников движения, Добролюбов тут же говорит: «Но все *благородные начинания истинных сынов отечества* (курсив мой. — Л. Ф.) были уничтожены изменою. Какой-то офицер *Майборода*, участвовавший сначала в Южном союзе, вдруг почувствовал будто бы угрызения совести и открыл заговор. Тотчас Пестель был арестован, бумаги захвачены, восстание предупреждено...» (т. I, с. 135). Очень характерно это «вдруг почувствовал будто бы». Добролюбов сомневается в том, что предательство Майбороды можно объяснить внезапным приступом раскаяния: он явно склонен видеть в Майбороде расчетливого провокатора. Не уверен Добролюбов и в достоверности сведений о карьеризме и безмерном честолюбии Пестеля. Однажды он говорит об этом как о мнении Рылеева, а в другом месте, приводя пространное мнение, что Пестель «искал уничтожения царской династии и протектората собственно для себя», скептически добавляет: «как говорят, по крайней мере» (т. I, с. 133).

Добролюбов не просто излагал Шницлера, он размышлял над ним, подвергал его сведения сомнению, предлагая собственное осмысление происходивших событий. Несомненно, самому Добролюбову принадлежит вывод, что важнейшей причиной поражения восстания было, на-

ряду с предательством, отсутствие тесной связи и взаимопонимания между вождями тайного общества и солдатскими массами. Он не без иронии говорит о том, что Сергей Муравьев-Апостол кричал «свобода!» и «республика!», но «солдаты не могли понимать ничего и спрашивали только: кто же будет *царем* в его *республике*?.. С такими деятелями нельзя было ждать успеха...» (т. I, с. 135) — с горечью заключает он.

Очень важно для правильного понимания отношения Добролюбова к декабристам и другое место рукописной газеты: в статье о Николае I Добролюбов излагает содержание разговора между царем и М. П. Бестужевым-Рюминым. Как считают позднейшие исследователи, Добролюбов располагал неточной информацией и собеседником Николая был другой узник Петропавловской крепости — Н. А. Бестужев¹. Но для нас важно не это. Ответ, который услышал Николай из уст декабриста, Добролюбов называет «замечательным». «Бестужев рассказал ему (Николаю I.— *Л. Ф.*) свои убеждения и горячо, разительно, с полным убеждением в правоте своей, описал ему все зло, которое он видел в России и которое хотел истребить. Пораженный его умом и той энергией, с которой он говорил, Николай сказал ему: «Я бы простил тебя, если бы мог быть уверен, что ты будешь верным слугой моим на будущее время». — «Вот это-то и тяжело для нас, государь,— отвечал благородный страдалец, до конца выдержавший свою роль, — что вы можете делать, что хотите, и что для вас нет закона. Оставьте правосудие идти своим чередом, и пусть на будущее время судьба ваших подданных не зависит от ваших капризов или минутных впечатлений» (т. I, с. 132).

Эта выписка существенна для нашего понимания того, как относился Добролюбов к декабристам. Во-первых, человек, давший этот ответ,— «благородный страдалец, до конца выдержавший свою роль»,— рисовался ему подлинным рыцарем, бестрепетным борцом за свои убеждения, человеком, достойным восхищения и поклонения. Во-вторых, то, чем «замечателен» этот ответ, данный царю не от своего только, а от «нашего» имени, от имени когорты борцов, к которой принадлежал и Бестужев, ответ, характеризующий цели движения, стремившегося к коренным изменениям существующего общественного

¹ См. комментарий М. К. Азадовского в кн.: Воспоминания Бестужевых, с. 717—718.

порядка, к тому, чтобы абсолютизм монархов был ограничен законами, не зависящими от их воли.

Ответ Бестужева должен рассматриваться в широком контексте устремлений передовых кругов русского общества установить законность в стране, в контексте, включавшем и лозунг молодого Пушкина, обращавшегося к царям в «Вольности» с напоминанием:

Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон,
(т. II, с. 46)

и письмо Белинского к Гоголю, где в качестве одной из самых насущных задач выдвигалось по возможности строгое соблюдение хотя бы тех законов, которые есть. Поэтому-то Добролюбов и оценил так высоко ответ, данный Бестужевым царю.

Через год с небольшим после того, как появился номер «Слухов» с заметкой о тайных обществах, сановный Петербург отмечал юбилей генерал-адъютанта Я. И. Ростовцева, который в молодости был членом Северного общества, а накануне 14 декабря выдал Николаю I план восстания. В день юбилея Ростовцеву было доставлено анонимное стихотворение, позднее напечатанное в «Колоколе» Герцена и долгое время приписывавшееся П. И. Вейнбергу. На сомнительность этой атрибуции еще в 1959 году указал Е. Г. Бушканец, который привел весомые доводы в пользу того, что автором стихов, адресованных Ростовцеву, был Добролюбов¹. Стихотворение начинается в характерном для Добролюбова тоне гневной, непримиримой инвективы:

Когда деспот от власти отрекался,
Желая Русь, как жертву, усыпить,
Чтобы потом верней ее сгубить,—
Свободы голос вдруг раздался,
И Русь на громкий, братский зов
Могла б воспрянуть из оков,
Тогда, как тать ночной, боящийся рассвета,
Позорно ты бежал от друга, от поэта...

Этот поэт, преданный Ростовцевым,— Рылеев. Но не только его погубил Ростовцев, он погубил «русскую свободу» — вот то главное обвинение, которое брошено ему автором стихотворения:

Ты деспоту скрепил шатавшийся венец,
И как презрительна, подла твоя услуга!

¹ Бушканец Е. Г. О двух стихотворениях в «Колоколе» А. И. Герцена.— Известия АН СССР. Отделение литературы и языка, 1959, т. XVIII, вып. 1, с. 61—64.

Ты указал ему на друга,
По пальцам жертвы сосчитал;
Деспот их всех арестовал,
И пала русская свобода,
И друг твой — честь, краса народа —
Повис на петле роковой!..¹

Стихи и публицистика, не предназначавшиеся для печати, дали Добролюбову возможность откровенно и недвусмысленно выразить свое отношение к декабристам. Но однажды критик попытался дать понять проницательному читателю свой взгляд на события 1825 года и легально — в девятом номере журнала «Современник» за 1857 год. Здесь он поместил рецензию на печально знаменитую книгу М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I». Внешне панегирический отзыв Добролюбова был пронизан злой иронией, которая дает единственный ключ к правильному пониманию этого шедевра добролюбовского сатирического мастерства. Среди современников критика нашлись люди, которые не ощутили этой иронии, приняли слова Добролюбова всерьез и обвинили его в том, что он вошел в дружбу с Корфом и выступил против Герцена. Потрясенный и разгневанный Добролюбов в письме к М. Шемановскому от 12 сентября 1858 года отверг подобные обвинения (см. т. IX, с. 324).

Добролюбов начинает рецензию напоминанием о «жадном любопытстве», с которым была прочитана книга Корфа, и говорит, что «любопытность публики привлекалась самим предметом, представляющим так много возвышенных воспоминаний и столь дорогим для каждого русского, умеющего ценить великие явления своей истории» (т. II, с. 58). Это говорилось, конечно, без тени иронии: Добролюбов называет таким «предметом» героическое выступление горстки смельчаков против царизма, а не доблести «в бозе почившего» государя императора, которые живописал барон Корф.

Но далее Добролюбов напоминает, что книга, о которой идет речь, составлена «по высочайшему повелению» и «имеет некоторым образом значение официального правительственного документа», что «источниками описания» послужили рассказы и заметки живых свидетелей и деятелей 14 декабря. «Деятели 14 декабря» — это не участники восстания, а его палачи: граф Орлов, граф Левашов, граф Адлерберг, Перовский, Кавелин, Филосо-

¹ Поэты «Искры», т. II. Л., Советский писатель, 1955, с. 621.

фов, генерал Ростовцев. Этот-то перечень Добролюбов и завершает саркастической фразой: «Одно исчисление этих свидетелей, высокое положение и государственные заслуги которых не нуждаются в напоминаниях, указывает на ту степень достоверности, какую имеют факты, изложенные бароном Корфом» (т. II, с. 59).

Ирония, пронизывающая все дальнейшее рассуждение Добролюбова, достигает апогея в заключительном абзаце: «Этот короткий очерк составления книги барона Корфа достаточен, конечно, для того, чтобы дать понятие о том, как благодетельное правительство наше старается передать народу сведения о великих фактах нашей истории» (т. II, с. 60).

Добролюбов продолжает помнить и думать о декабристах и позднее. Не случайно он на лету безошибочно определил тему стихотворения, опубликованного Плещеевым под заглавием «Старик», и, видимо, заинтересовался его прототипом. Плещеев, как уже говорилось, подтвердил, что это стихотворение «действительно написано на тему», уловленную в нем Добролюбовым.

В период революционной ситуации конца 1850-х — начала 1860-х годов декабристы занимают большое место в агитации, которую ведут разночинцы, а позднее — народники. В литературе собран большой материал, свидетельствующий о том, как охотно обращались авторы революционных прокламаций к напоминаниям о восстании 14 декабря и трагической судьбе его участников, призывали отомстить за жертв первого революционного выступления против царизма.

Характерным примером обращения агитаторов 60-х годов к подвигу дворянских революционеров может служить прокламация Н. В. Шелгунова «К молодому поколению». В качестве эпиграфа к этой прокламации, нелегально отпечатанной в сентябре 1861 года, был избран полный текст стихотворения Рылеева «Я ль буду в роковое время». Прокламация завершалась страстным призывом: «...Да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны тени мучеников 14 декабря!»¹

Случалось, что упоминания «о тенях мучеников 14 декабря» проникали в печать. Так, в 1860 году в журнале

¹ Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания, в 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1967, с. 350.

«Светоч» было напечатано стихотворение Дмитрия Минаева «Вперед!», которое заканчивалось призывными строками:

Вперед!.. зывают чьи-то тени..
Их пять... глядят они на нас..
Скорей же, братья, на колени!..¹

К словам «Их пять» была сделана сноска: «Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Белинский». Как справедливо указал И. Г. Ямпольский, хотя «все эти имена были дороги Минаеву, но не о них все же идет речь в стихотворении, и сноска лишь маскирует его подлинный смысл. Тени, взывающие к борьбе за лучшее будущее,— это, конечно, тени пяти повешенных декабристов»².

Читатели «Светоча» могли знать и другое стихотворение, которое так и называлось — «Пятеро». Разумеется, оно распространялось нелегально, потому что в нем без обиняков были названы имена борцов против самодержавия, которые «любили правду и свободу», «из-за них боролись и страдали» и «шли на смерть с лицом спокойно-ясным и с упованием, что пора придет...». Напрасно «царственная зависть»

Старается стереть повсюду память
О вашем деле, ваших именах —
В глубь живых сердец она живет!..
И слышатся, как дальний рокот грома,
Врагам народа ваши имена,
Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол,
Бестужев и Каховский! Буря грянет!
Под этой бурей дело ваших внуков
Вам памятник создаст несокрушимый.
Не золото стирающихся букв
Предаст святые ваши имена
Далекому потомству — песнь народа
Свободного. А песнь не умирает!³

Всестороннему разбору этого стихотворения М. Л. Михайлова, его творческой истории, анализу его идейного смысла и композиции посвящена обстоятельная статья Ю. Д. Левина⁴. Он же ввел в научный оборот сведения о неопубликованном романе Михайлова «Вместе», в ко-

¹ Светоч, 1860, № 1, с. 4.

² Ямпольский И. Г. Дмитрий Минаев. — В кн.: Поэты «Искры», т. II. Л., Советский писатель, 1955, с. 24.

³ Михайлов М. Л. Соч. в 3-х томах, т. I. М., Гослитиздат, 1958, с. 88—89.

⁴ Левин Ю. Д. М. Михайлов. Пятеро. — В кн.: Поэтический строй русской лирики. Л., Наука, 1973, с. 174—188.

тором прозвучала и декабристская тема. Цензор прямо назвал его «симпатическим рассказом действий *декабристов* и непризванных деятелей позднейших партий *того же направления*»¹.

Вернувшийся из ссылки декабрист Роман Петрович поражает окружающих тем, что «после тридцати лет страданий и лишений он смотрит на жизнь так же светло, как смотрел в молодости... Чего только не пришлось выносить ему! А между тем какая в нем еще бодрость. Это оттого, что его никогда не покидали светлые надежды». Роман Петрович видит в молодом поколении силу, которая доведет до конца борьбу, начатую декабристами. «Я надеялся не даром, — говорит он. — Я знал, что не к мертвой нации принадлежу. Она должна же была тронуться. Посмотрите-ка теперь на народ, на молодежь, — это уже не то, что было в нашу пору. Может быть, еще и я доживу!» И хотя эти надежды не осуществились, вера в то, что дело декабристов принесет плоды, не покидает героев. Они надеются, что «перемен в существующем порядке вещей *в смысле декабристов и их последователей*... дождутся их дети»².

Пятеро повешенных декабристов не раз становились для революционных демократов символом героической борьбы против самодержавного деспотизма. В статье о брошюре Шедо-Ферроти Писарев поставил казнь пяти вождей восстания в «непрерывный ряд преступлений» царизма³. Эти пять имен славил и неизвестный автор стихотворения «Декабристам», распространявшегося в 1860-х годах:

Каховский, Пестель, Муравьев
Бестужев-Рюмин и Рылеев,
Вы рабства не снесли оков,
Вы смертью умерли злодеев;
Но вас потомство вознесет,
История на вас укажет,
.
И вам во славе не откажет⁴.

¹ Цит. по статье Ю. Д. Левина «Последний роман М. Л. Михайлова». — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1965, т. XXIV, вып. 4, с. 308.

² См.: там же, с. 308.

³ Писарев Д. И. Соч. в 4-х томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1955, с. 122.

⁴ См.: А. М. Воспоминания о П. Г. Заичневском. — В кн.: О минувшем. Исторический сборник. СПб., 1909, с. 182.

Особенной популярностью пользовалось другое произведение вольной поэзии — песня «Долго нас помещики душили», которую даже называли «русской марсельезой»¹. Публикуя ее в «Русской потаенной литературе», Огарев отметил принадлежащее ей особое место в ряду других произведений, увидевших свет в этом сборнике. «Перешагнув через хронологический порядок, которого мы по возможности старались держаться в нашем сборнике, — писал он, — мы поместили в конце этой части «Современное стихотворение», которое тем замечательно, что не нарочно сосредоточивает на себе целую историческую эпоху и опирается на ее исходную точку, на 14 декабря» (ИП, с. 501).

Стихотворение, о котором идет речь, приписывалось разным авторам, что, конечно, тоже свидетельствует о его популярности, но большинство специалистов считает, что песня написана В. С. Курочкиным. В этой песне подхвачена мысль, прозвучавшая за четверть века до ее создания в другом произведении, тоже призванном выразить отношение народа к восстанию декабристов, — в песне Полежаева «Ах, ахти! ох, ура!». И здесь выражено сожаление низов, которые в свое время не поддержали «лучших людей из дворян», не стали с ними в единый строй в борьбе против самодержавия.

Кто слышал о 25-м годе
В крещеном народе?
Когда б мы тогда не глупы были,
Давно б не тужили.
Поднялись в то время на злодеев
Кондратий Рылеев,
Да полковник Пестель, да иные
Бояре честные.
Не сумели в те поры мы смело
Отстоять их дело,
И сложили головы за братьей
Пестель да Кондратий².

Образы декабристов волновали воображение молодого Петра Ткачева. В стихотворении «Дорожные грезы» (1862) возникает картина восстания:

То вижу площадь — тьма народу,
Родные слышатся слова:
«Умрем, умрем мы за свободу!
Долой тирана, прочь царя!»

¹ См.: Вольная русская поэзия второй половины XIX века. Л., Советский писатель. 1959, с. 727.

² Курочкин В. С. Стихотворения. Статьи, фельетоны. М., Гослитиздат, 1957, с. 106.

Она сменяется другой — изображением ссыльных, которых везут в сибирские каторжные норы:

Как бледны, как худы их лица,
В их потухающих глазах
Как много скорби и страданья!
— А ведь знакомы мне они,
Я помню их в главе восстанья,
Неустрашимые бойцы,
Бойцы за русскую свободу,
За угнетенного раба
Со словом пламенным к народу
Вы обращались тогда...¹

Попытку воскресить правду о декабристах представлял собой роман И. В. Оммулевского «Шаг за шагом», и характерна та упорная многолетняя борьба, которую вела с ним царская цензура. Впервые он был напечатан в 1870 году с цензурными изъятиями. Год спустя вышло отдельное издание с восстановлением мест, выпущенных при первой публикации. Однако попытка вновь выпустить его в свет в 1874 году встретила сопротивление не в последнюю очередь из-за того, что цензор Н. Е. Лебедев усмотрел в нем «сочувствие к декабристам»². «...Где случается автору упоминать о декабристах, он отзывается о них с особенным сочувствием»³. Не удалось переиздать роман и в 1896 году. Министр внутренних дел И. Л. Горемыкин не скрывал своего возмущения: «...От начала до конца весь роман Оммулевского составляет сплошную проповедь вредных социальных учений, столь же яркую и откровенную, как и пресловутый роман Чернышевского «Что делать?», и написанную даже с большим талантом»⁴.

В романе Оммулевского проводится мысль о преемственности поколений революционеров. Декабристы изображены им как люди таких высоких душевных качеств, что даже у квартального Светлова, приставленного сопровождать их в место ссылки, устанавливаются с ними «простые, ласковые отношения». «И у кого только достает

¹ Цит. по статье Н. Ф. Бельчикова «Стихотворные опыты Н. П. Ткачева». — Русская литература, 1958, № 4, с. 182—183.

² См.: Добровольский Л. М. Запрещенная книга в России. 1825—1904. Архивно-библиографические разыскания. М., Изд-во Всес. книжн. палаты, 1962, с. 115.

³ Цит. по кн.: Оммулевский И. В. Шаг за шагом. Курск, кн. изд-во, 1955, с. 11.

⁴ Добровольский Л. М. Запрещенная книга в России..., с. 207.

сердца ссылать этаких умных, этаких благородных людей?!» — наивно думалось ему тогда»¹.

Сохранились многочисленные свидетельства влияния, которое оказали декабристы на формирование духовного облика народовольцев. Одно из наиболее впечатляющих оставила в своих «Воспоминаниях» Вера Засулич. Она писала: «Откуда-то попалась мне исповедь Наливайки Рылеева и стала одной из главных моих святынь: «известно мне: погибель ждет того, кто» и т. д. И судьба Рылеева была мне известна. И всюду всегда все героическое, вся эта борьба, восстание было связано с гибелью, страданием»².

Своеобразно поставил проблему революционных традиций народоволец Н. Е. Суханов в стихотворении «Декабрист». Оно строится в форме беседы деда, бывшего декабриста, с его внуком, олицетворяющим молодое поколение революционеров. Дед рассказывает внуку о страданиях, перенесенных за «святую любовь, за желанье свободы народу», и его слова находят понимание и живой отклик:

«Дед, ты прав! — я ему тут сказал.—
Мы докажем и жизнью и кровью,
Что свобода для нас не пустые слова!
Да, тиранов дрожать мы заставим!
Пусть на плаху ведут, пусть падет голова,
Но мы знамя свободы поставим!»³

Стихотворение «Дед и внук», тоже навеянное размышлениями о судьбе участников восстания 14 декабря, написал и другой народоволец — П. Ф. Якубович. Но там дед — это палач декабристов Николай I, а его внук — Александр III, казнивший вскоре после вступления на престол пятерых участников покушения 1 марта 1881 года. «Сравнивая однажды личности Николая I и Александра III, — писал П. Ф. Якубович, — я поражен был некоторыми сходными чертами их деятельности: в первые же свои дни они казнили одно и то же число врагов (5), причем имена их начинались с одних и тех же букв за исключением Бестужева и Желябова, фамилии которых имели зато по два одинаковых слога»⁴. «Это доволь-

¹ Ом ул ев с к и й И. В. Шаг за шагом, с. 45—46.

² З а с у л и ч В. Воспоминания. М., Изд-во Всес. об-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1931, с. 15.

³ Бушк а н е ц Е. Неизвестные памятники революционной поэзии 1880-х годов. — Русская литература, 1962, № 1, с. 231.

⁴ Примечание П. Ф. Якубовича в авторском экземпляре издания его произведений 1910 г., т. I, с. 140—143. — См.: Я к у-

но сложное открытие» было «уложено» поэтом в стихи, где описаны гроба, упокоившие представителей двух поколений русских революционеров:

В первом — Рылеев с Каховским у деда легли,
А Рысаков и Кибальчич — у внука...
Братски разделена мука,
Братски и горсть роковая земли!
Подле Бестужева дед Муравьева пристроил,
Возле Желябова рядом Михайлова внук успокоил...
Постель с Перовскою друга себе не нашли,
В трех гробах одиноко легли...¹

Можно вспомнить и другие показательные факты: о том, как, перейдя в 1882 году на нелегальное положение, П. Ф. Якубович использовал в качестве партийной клички имя и отчество своего предка-декабриста: «Александр Иванович»². О том, что, составляя хрестоматию «Русская Муза», включил в нее стихи Рылеева и Одоевского, сопроводив их краткими характеристиками поэтов-декабристов. Но наиболее развернуто и углубленно Якубович говорил о декабристах в своей диссертации «Внутренняя жизнь М. Ю. Лермонтова», которая была написана в 1882—1883 годах, но по сей день остается неопубликованной.

Мы не думаем, говорит Якубович на первых страницах своей работы, что «удачный исход попытки 14 декабря 1825-го года дал бы России больше, чем его неудача. Но тем не менее двадцать пятый год несомненно показывает, что личность и индивидуальная мысль, несмотря на все стремления русского правительства подавить и поглотить их в себя, успели вырасти к этому году настолько, что задыхались в тесных рамках общественной жизни того времени, чувствовали настоятельную потребность в просторе, дающем человеку возможность бесстрашно развернуть свои духовные силы и действительно, не казенным делом удовлетворить сжигающую человека жажду деятельности, желание приносить пользу народу и обществу.

Это был момент страстного воодушевления, когда долго сдерживаемая мысль неудержимым потоком прорвалась наружу, и кучка свободных мыслителей вообразила, будто она в силах перестроить жизнь, как ей вздумается,

бович П. Ф. Стихотворения. Л., Советский писатель, 1960, с. 418.

¹ Якубович П. Ф. Стихотворения, с. 133.

² См.: Двинянинов Б. Н. Два Якубовича.— Тамбовская правда, 1975, 26 декабря.

будто подобное пересоздание общественных форм может произойти без долгой подготовительной работы в области мысли и слова, одним смелым ударом. Гибель декабристского замысла показала, однако, с достаточной ясностью, что заговор покоился не на почве общественного сознания, а на протесте группы свободолюбивых и развитых личностей, бывших в то время исключительным явлением в нашем обществе. Не только физический, но даже нравственный перевес не был на стороне этой группы — и не удивительно, что она погибла: сила солому ломит.

Страшным ураганом пронеслась по всей русской земле гневная реакция; она придавила все живое, все прикосновенное, хотя бы нравственно, к 14-му декабря». Наступило время, когда «смогло всякое свободное слово, и разве изредка оплошность или невежество цензора напоминали обществу, что, несмотря на видимый сон и «благополучное обстояние», в действительности, в жизни, параллельно с безобразиями реакции, не заметно для глаз, продолжается работа свободной мысли, текут незримые слезы, сочится живая кровь в сердцах истинных граждан...

Декабрьское предание было еще очень живо и у всех на памяти: мысль о малочисленности протестующих элементов, об их бессилии ясна до очевидности. Что же оставалось делать молодежи,— той интеллигентной, той благородной части ее, которая получила жалкое наследие декабристов: вверху — вражду и гонение, внизу — невежественные массы, забитые, обездоленные и почти забытые о своем человеческом достоинстве, а рядом с собой — безграничное тупоумие, сон и довольство своим прозябанием...

При таких-то обстоятельствах, в такую мрачную эпоху нашей общественной жизни суждено было развиваться величайшему и симпатичнейшему из русских поэтов, М. Ю. Лермонтову»¹.

То внимание, которое автор диссертации о Лермонтове уделил в ней декабристам, объясняется двумя причинами. Одна из них сразу обращает на себя внимание: Лер-

¹ Якубович П. Ф. Внутренняя жизнь М. Ю. Лермонтова (Значение его личности и поэзии в истории русской литературы).— Отдел рукописей Центральной научной библиотеки Харьковского гос. университета им. А. М. Горького, № 515/с. См. также: Движанинов Б. Н. Неизвестная диссертация П. Ф. Якубовича «Внутренняя жизнь М. Ю. Лермонтова». — Русская литература, 1967, № 3, с. 183—193.

монтов сформировался в эпоху, весь характер которой определялся поражением восстания декабристов, и вне ее он, естественно, не может быть понят. Но была и другая причина, более глубинная и, может быть, еще более важная. Лермонтов был в глазах Якубовича как бы посредником между декабристами и им самим, звеном, связывающим два поколения в русском освободительном движении.

* * *

Наше рассмотрение творчества тех русских писателей, в которых правомерно видеть наследников дела, начатого 14 декабря 1825 года, завершают крупнейшие из законченных произведений, посвященных декабристам и созданных в XIX веке. Это историко-революционные поэмы Некрасова «Дедушка» и «Русские женщины». Уже первые читатели приняли их с захватывающим интересом. Через месяц после выхода в свет январского номера «Отечественных записок» за 1873 год, где была напечатана «Княгиня Волконская», поэт писал брату: «Моя поэма «Кн. Волконская», которую я написал летом в Карабихе, имеет такой успех, какого не имело ни одно из моих прежних писаний...» (т. XI, с. 240)¹. «...Я никак не могу припомнить,— говорил позднее и А. М. Скабичевский,— ни одного художественного произведения, вышедшего в последние десять лет в нашей печати, которое произвело бы на публику такое сильное и цельное впечатление»². Те же слова мы видим в письме Гончарова Некрасову от 28 января 1873 года: «На меня и на всех поэма производит сильное впечатление»³.

От того момента, когда творческая мысль Некрасова впервые обратилась к декабристам, и до того, как она реализовалась в строфы, напечатанные в «Отечественных записках», минуло почти полтора десятилетия. Возвращение декабристов после амнистии 1855 года, конечно, не могло не привлечь к себе внимания поэта. Образ «возвращенного декабриста» как воплощение определенных,

¹ Далее ссылки на произведения и письма Некрасова даются по изданию: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. I—XII. М., Гослитиздат, 1948—1952, указанием в тексте тома и страницы.

² Скабичевский А. М. Беседы о русской словесности.— Отечественные записки, 1877, т. ССXXXI, Совр. обозрение, с. 9.

³ Литературное наследство, т. 51—52. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, с. 221.

присущих ему нравственных качеств, закрепляется в его сознании. Позднее он появится в одном из набросков к «Медвежьей охоте» в очень показательном, характерном контексте:

Идеалисты? Те пропали!
Есть, правда, есть и прежние бойцы,
Но как они одряхли, устарели!
У них другой не замечаю цели,
Как пошуметь, на это молодцы!
Расходятся— удерживай за полы!
Там гниль, там дрянь, то ложь, а это вздор —
Ну, словом, есть и смелость и задор,
А в сущности — холопство высшей школы!
Другие явно предали: душой
Преобразились в диких ретроградов,
Я б мог назвать презренных этих гадов,
Но умолчу. По трусости иной,
Иной по самолюбию замарался,
Иной, как был, так и остался чист,
Но Бахусу отчаянно предался
И стар, как возвращенный декабрист...

(т. II, с. 577)

Реалистический взгляд Некрасова не позволяет ему видеть в возвращенных декабристах сегодняшних деятелей. Да, они стары и отчаянно предались Бахусу, но они — не те, кто преобразился в старых ретроградов, кто замарался по трусости или по самолюбию. Пройдя через все, что выпало на их долю, они «остались чисты» — вот что выделяет их из длинного ряда нелестно, порой убийственно охарактеризованных «прежних бойцов».

Еще ранее, чем были написаны эти строки, в 1856 году создавалась поэма «Несчастные», в которой нашло место хоть обобщенное, но несомненное упоминание о декабристах. Некрасов описывает Петербург, и не просто Петербург, а пушкинский Петербург, поминая при этом певца

твоих громад красивых,
Твоей ограды вековой,
Твоих солдат, коней ретивых
И всей потехи боевой,

он говорит:

В стенах твоих
И есть и были в стары годы
Друзья народа и свободы,
А посреди могил немых
Найдутся громкие могилы.

(т. II, с. 19)

Если здесь Некрасов воскрешает в памяти читателей строки «Медного всадника», то в конце поэмы он откликнется и на послание «Во глубине сибирских руд», на исполнение пушкинского пророчества о времени, когда рухнут темницы:

Настал святой, великий миг,
В скрижалях царства незабвенный,
И до Сибири отдаленной
Прощенья благовест достиг.
Разверзлась роковая яма,
Как птицы, вольны вышли мы...

(т. II, с. 38)

К концу 50-х или самому началу 60-х годов относится замысел «Княгини Трубецкой». Эта поэма, писал позднее Чернышевский, «задумана им еще при мне»¹. Но реализованы эти замыслы были, как известно, лишь много лет спустя. Причины, которые побудили Некрасова — единственный раз на протяжении его творческой биографии! — обратиться к исторической тематике, не раз привлекали к себе внимание исследователей и вызвали различные, порой противоречивые толкования. Если они важны и интересны сами по себе, то значение их еще более возрастает, если учесть, что с вопросом о причинах, побудивших Некрасова обратиться к исторической тематике, связан и другой, может быть, более объемный и важный вопрос: в какой мере следует считать поэмы «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня Волконская» собственно историческими произведениями, что является в них подлинным предметом изображения: история или современность?

К. И. Чуковский отвечал на этот вопрос неоднократно и недвусмысленно: в «Русских женщинах» он усматривал «ориентацию на нынешнее. Поэт сознательно придал аристократам той далекой эпохи мысли и чувства революционно настроенных женщин, принадлежавших к демократическому поколению семидесятых годов, то есть опять-таки под видом прошедшего воспроизвел действительность, которая была для него современной»². Чуковский возражал «ретроградным критикам», обвинявшим

¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. XV, с. 701.

² Чуковский К. И. Здесь и теперь. — В кн.: Чуковский К. И. Несобранные статьи о Н. А. Некрасове. Калининград, 1974, с. 32.

Некрасова в «искажении исторической правды»: «Искажение заключалось, по их мнению, в том, что Некрасов придал аристократке двадцатых годов мысли и чувства революционерки позднейшего времени. Это было сделано поэтом намеренно, так как под видом исторической повести он хотел отразить современность» (т. III, с. 584). Таким образом, факт «искажения» или, выражаясь мягче, несоответствия содержания некрасовской поэмы изображенным в ней историческим событиям и лицам Чуковский не оспаривает, он лишь утверждает, что это не было результатом творческого просчета, неумения «организовать исторический материал», а делалось Некрасовым сознательно, что поэт и не стремился изобразить декабристов и декабристок такими, какими они были, «он хотел отразить современность». То, в чем «ретроградные критики» видели недостаток некрасовских поэм, представляется К. И. Чуковскому их достоинством.

За те десятилетия, которые минули со времени, когда были высказаны эти суждения К. И. Чуковского, собран обширный материал, позволяющий говорить, что они не подтверждаются многими фактами творческой истории поэм. Мы знаем, с какой тщательностью работал Некрасов над историческими и мемуарными источниками, на базе которых он воскрешал события полувековой давности. Эту тщательность трудно было бы объяснить, если бы автор и впрямь стремился лишь «отразить современность». Он не следовал им рабски, он творчески переосмысливал и преобразовывал документальный материал, но не с целью его модернизации, а заботясь о выявлении внутреннего и подлинного смысла событий, о том, «чтобы не было неверности существенной» (т. XI, с. 207).

Показательно, что по мере работы Некрасова над декабристской темой его потребность получить достоверное, опирающееся на документы представление об изображаемых событиях возрастала. С особенной силой она проявилась в письме к М. С. Волконскому от 9 июня 1872 года, где поэт говорит о желании «воспользоваться тоном и манерою записок М. Н. Волконской»: «В записках есть столько безыскусственной прелести, что ничего подобного не придумаешь. Но именно этою стороною их я не могу воспользоваться, потому, что я записывал для себя только факты, и теперь, перечитывая мои наброски, вижу, что колорит пропал, кое-что, затем, припоминаю, а многое забыл. Чтоб удержать тон и манеру, мне нужно бы просто *изучить* записки... Без них мне остается один путь,

взяв за основание факты, предаться воле воображения, и тогда выйдет не то, чего Вы первый, может быть, ожидаете от моей поэмы, хотя, может быть, и будет эффектно для публики. Но мне более улыбается мысль остаться наивозможно ближе к действительности, и я повторяю мою просьбу» (т. XI, с. 212—213).

Можно согласиться с наблюдением М. М. Уманской, которая увидела в этих словах Некрасова взыскательный и самокритичный итог его работы над «Княгиней Трубецкой», где он этим путем и вынужден был идти¹. Но перспектива, «взяв за основание факты, предаться воле воображения» не привлекала поэта, хотя бы это было и «эффектно для публики». Он хотел другого: «остаться наивозможно ближе к действительности».

Воспоминания М. С. Волконского сохранили свидетельство того, как напряженно и эмоционально воспринял Некрасов содержание записок, которые читал ему сын декабриста: «Вспоминаю, как при этом Николай Алексеевич по нескольку раз в вечер вскакивал и с словами: «Довольно, не могу», — бежал к камину, садился к нему, и, хватаясь руками за голову, плакал, как ребенок»². Если бы, как полагал К. И. Чуковский, Некрасов «видел свою основную задачу именно в ...отклонении от прошлого», такая реакция поэта на соприкосновение с этим прошлым была бы, на наш взгляд, психологически непредставимой.

Современность широко и многосторонне вошла в некрасовские поэмы, но не как непосредственный предмет изображения, а как тенденция. Она обусловила обращение к данным событиям, характер их осмысления. Стремясь изображать эти события исторически верно, Некрасов, конечно, смотрел на них с высоты пройденного пути и делал из них выводы, которые можно объяснить только дальнейшим ходом исторического процесса и той обстановкой, которая была перед его глазами в конце 1860-х и начале 1870-х годов.

Хотя первые планы произведения на декабристскую тему возникли у Некрасова под влиянием указа об амнистии и возвращении из Сибири выживших участников вос-

¹ Уманская М. М. Поэма Н. А. Некрасова «Русские женщины» (Вопросы метода и стиля). — О Некрасове. Статьи и материалы. Вып. III. Ярославль, Верхне-Волжск. изд-во, 1971, с. 50—51.

² Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., Художественная литература, 1971, с. 360.

стания, поэт все-таки не принялся тогда за его создание и обратился к нему лишь десять или более десяти лет спустя. И свои причины на то, разумеется, были. В. Е. Евгеньев-Максимов еще в 1928 году подчеркивал зависимость замысла декабристских поэм от эпохи 1870-х годов, когда назревала и подготовлялась народническая революция: «Некрасова должны были интересовать и «первенцы свободы», зачинатели вооруженной борьбы с самодержавием, декабристы... Подвиг и жертва, с точки зрения Некрасова, роднили декабристов с последующими поколениями русских революционеров...»¹ С теми же или иными вариациями, акцентируя разные стороны вопроса, о том же писали и другие некрасоведы. Они обращали внимание на то, что в декабристских поэмах ставились актуальные для современности вопросы о преемственности революционных традиций, о тактике революционной борьбы. Шла речь о распространении в конце 1860-х годов в русском освободительном движении «отрицательных явлений тактического и в связи с этим нравственного порядка», бывших следствием распространения идеологических установок Бакунина и Нечаева. Нравственная чистота декабристов, «высота их стремлений и помыслов были для русской общественной борьбы не только историческим прошлым, но и настоящим»². Если бакунисты наивно верили, что народ в любой момент готов к революционному выступлению и лишь ждет сигнала вождей, то Некрасов стремится показать, что успех такого выступления определяется длительной подготовкой, распространением просвещения, революционной пропагандой.

Каждой стране наступает
Рано или поздно черед,
Где не покорность тупая —
Дружная сила нужна:
Грянет беда роковая —
Скажется мигом страна.
Единодушье и разум
Всюду дадут торжество,
Да не придут они разом,
Вдруг не создашь ничего, —
Красноречивым возваньем
Не разогрешь рабов,
Не озаришь пониманьем
Темных и грубых умов.

(т. III, с. 15)

¹ Евгеньев-Максимов В. Е. Некрасов как человек, журналист и поэт. М.—Л., ГИЗ, 1928, с. 306, 308.

² Груздев А. И. Поэма Н. А. Некрасова «Дедушка». — О Некрасове. Статьи и материалы. Вып. III, с. 73.

Поэма Некрасова «Дедушка» — произведение с классически простой и вместе с тем необыкновенно емкой композицией. Сквозь поэму проходят две линии: вопросы Саши о деде и ответы на эти вопросы, накопление фактов, сведений, которые впитывает пытливый мальчик, стремящийся разгадать загадку, которую первоначально поставил перед ним портрет, висевший в кабинете отца. Сначала он не может узнать даже, жив или умер его дедушка. Он слышит ответ, который станет неким рефреном, проходящим через всю поэму: «Вырастешь, Саша, узнаешь». Не многое объясняет ему мать: «Нет, он и добрый и смелый, // Только несчастный». Естественно, появляющийся дед — совершенная загадка для внука, и именно его восприятие события выражает Некрасов, когда говорит:

Вот, наконец, приезжает
Этот таинственный дед.

(т. III, с. 8)

Описание внешности и поступков возвратившегося декабриста глубоко символично.

Благословил он, рыдая,
Дом, и семейство, и слуг,
Пыль отряхнул у порога,
С шеи торжественно снял
Образ распятого бога.

(т. III, с. 8—9)

Улыбка у деда — «святая», он «как-то апостольски-просто // Ровно всегда говорит...» (т. III, с. 10). Как уже отмечалось, «пыль отряхнул у порога» — не бытовой поступок, а введение в текст евангельской формулы. Комментируя строки:

Правой рукою мамашу
Дед обхватил, а другой
Гладил румяного Сашу... —

А. И. Груздев справедливо усматривал в картине, нарисованной Некрасовым, аналогию с церковными фресками, где праведник располагается в центре композиции¹. Все описание внешности и поведения деда апеллировало к народному представлению о святых мучениках, символизировавших бескорыстие, самоотверженность, готовность принести себя в жертву ради слабых и угнетенных.

¹ Груздев А. И. Декабристский цикл поэм Некрасова. Курс лекций. Л., 1976, с. 24—25.

Первое впечатление, которое произвел дедушка на Сашу, побуждает обрушить на старика лавину вопросов. Но время ответов на них еще не пришло. Любопытство мальчика поначалу удовлетворяется самим поведением, поступками деда. Одна из первых его черт — забота о благе народа, стремление видеть его зажиточным, и прежде всего — свободным от крепостной зависимости. Во время долгих бесед с мужиками, бесед, которые велись в период подготовки крестьянской реформы, дед с надеждой говорит:

«Скоро вам будет нетрудно,
Будете вольный народ!»
И улыбнется так чудно,
Радостью весь расцветет.

(т. III, с. 11)

В уничтожении крепостного права вчерашнему декабристу видится достижение великой цели, за которую он боролся, которой жертвовал свободой и жизнью.

Новый и особенно богатый материал для далеко идущих выводов должны были дать Саше песни деда. В этих песнях нашли себе место основные вехи героической и вместе трагической биографии поколения, к которому принадлежал герой некрасовской поэмы: война 1812 года, деятельность тайных обществ, тяготы сибирской каторги, куда последовали за участниками восстания и их жены:

Пел о пустынях безлюдных
И о железных цепях;
Пел о красавицах чудных
С ангельской лаской в очах...

(т. III, с. 17)

В автографе поэмы, хранящемся в Библиотеке им. В. И. Ленина, последние четыре стиха имели другую редакцию, которую поэт, по-видимому, счел неприемлемой по цензурным соображениям:

Пел о пустынях безлюдных,
Где его братья легли.
Пел о красавицах чудных,
Что за героями шли.

(см. т. III, с. 422)

Эта песня — в сущности, единственный непосредственный рассказ дедушки о героическом прошлом, о выступлении передовой дворянской интеллигенции против самодержавия и последовавшей за этим расправе с восставшими. Но все, что говорит дед внуку о своих ны-

нешних ощущениях, о вере в неизбежность грядущих преобразований, все, что помогает читателю увидеть и оценить благородную, самоотверженную, возвышенную личность этого человека,— все это позволяет оценить, какими представлялись Некрасову события и люди прошлого — декабризм и декабристы, понять, почему поэт ставил декабристов в один ряд с теми, кого считал «цветом интеллигенции» — с Белинским, Чернышевским, Добролюбовым¹.

Выступление декабристов изображено Некрасовым как исполнение нравственного долга. Окружающая действительность, невыносимость угнетения достигли той меры, когда примирение с ними стало равносильно бесчестию.

Кто же, в ком честь не уснула,
Кто примирился бы с ней.

(т. III, с. 16)

В автографе Библиотеки им. В. И. Ленина далее следовали слова, которые К. И. Чуковский с основанием считал «ключом ко всей поэме» (т. III, с. 578):

Взрослые люди — не дети.
Трус, кто сторицей не мстит.
Помни, что негу на свете
Неотразимых обид.

(т. III, с. 422)

И действительно, здесь не только сформулирована этическая норма, которая вывела представителей передовой дворянской интеллигенции на Сенатскую площадь — здесь самое существенное из того, что вернувшийся декабрист стремится внушить внуку, в котором видит продолжателя своего дела. Именно эти стихи первыми приходят на память, когда мы вспоминаем характеристику, которую позднее дал своему герою Некрасов: «...Этот дед, в сущности, резче, ибо является одним из *действительных* деятелей... и притом выведен нераскаявшимся, т. е. таким же, как был» (т. XI, с. 208).

Художественное время поэмы приходится на период между двумя волнами революционного подъема: выступлением декабристов, к которому мысленно возвращается участник этого выступления, и движением революционной молодежи 70-х годов, в котором примет участие Саша — сознательный борец, обогащенный революционным опы-

¹ См.: Звенья, вып. III—IV, с. 657.

том прошлого. То воздействие, которое произведет на Сашу агитация деда, — за пределами поэмы, тема которой — искра, а не пламя. Но то, каким будет это воздействие, показано Некрасовым с полной определенностью. Саша уже сейчас изменился под влиянием того, что узнал, и узнал он больше, чем об этом прямо рассказано. Он «знает историю славно»,

Бойко на карте покажет
И Петербург, и Читу,
Лучше большого расскажет
Многое в русском быту,
Глухих и злых ненавидит,
Бедным желает добра.
Помнит, что слышит и видит.

(т. III, с. 19)

Вдумаемся в эти многозначительные строки. Вспомним, что «Петербург» и «Чита» — это не просто географические понятия. Петербург — город, в котором произошло восстание декабристов, а Чита — место их ссылки. Вспомним упоминание о «флоре Читы» в начале «Княгини Волконской». Это такой же символ, как и «железный браслет», выкованный когда-то декабристом-каторжником «из собственной цепи» (т. III, с. 48). Так же политически конкретно и «много в русском быту», «глупые и злые», то, что Саша «слышит и видит». И, осознав это, спросим себя: а что же еще предстоит Саше узнать? Ведь, в сущности, все сказано и осознано. Проведя сквозь поэму вопросы нетерпеливого внука, автор, по видимости, откладывая ответы на них, исподволь эти ответы дал. И налицо действенность их, несомненность революционного будущего Саши, который доведет до конца не совершенное его предшественниками. «Главная» беседа деда и внука впереди, но во время этой беседы дед скажет то, что читатель уже узнал и понял.

Уже в тексте «Дедушки» читатели нашли упоминание о тех, кому предстояло стать героинями новых историко-литературных поэм Некрасова.

О Трубецкой и Волконской
Дедушка пел и вздыхал...

(т. III, с. 17)

«Княгиня Трубецкая» была написана менее чем через год после опубликования «Дедушки», в июле 1871 года, «Княгиня Волконская» — летом 1872 года.

Именно эти поэмы дали и современникам, и поздней-

шим исследователям повод говорить, что Некрасов не воссоздавал прошлое, а в завуалированной форме изображал своих современников. П. В. Анненков сетовал по поводу отсутствия в изображенных поэтом декабристках «благородного аристократического мотива, который двигал сердцами этих женщин»¹. М. С. Волконский, усмотрев в «Княгине Трубецкой» отклонения от исторической истины, утверждал, что Трубецкая была не «бунтарка», а «высокодобродетельная и кроткая сердцем женщина», и выражал недовольство тем, что Некрасов «отказался выпустить четверостишие, в котором княгиня бросает куском грязи в только что покинутое ею высшее петербургское общество, к которому принадлежали ее родные и близкие друзья и к которому она, в действительности, стремилась душою из далекой ссылки до конца своих дней...»².

Говорилось, что рассказ, вложенный Некрасовым в уста Волконской, «был бы вполне уместен в устах какой-нибудь мужички», что его героини «мыслят, говорят и действуют совершенно подобно тому, как бы стали мыслить, говорить и действовать лучшие и образованнейшие женщины того же круга в наше время. А между тем в поэмах представляется прошлое, отстоящее от нашего времени на целое столетие»³.

Подобные нападки были, конечно, глубоко несправедливы. Для того, чтобы это осознать, надо видеть то, чего не могли или не хотели видеть критики Некрасова. Подлинной темой «Русских женщин» было не путешествие Трубецкой и Волконской в Сибирь, а декабризм. Некрасов отдавал себе в этом отчет и тщательно стремился утаить этот факт от цензуры. Журнальную публикацию «Княгини Трубецкой» он снабдил подстрочным примечанием, в котором говорилось, что, перечитывая «материалы для изучения эпохи, к которой относится настоящий рассказ...», автор постоянно с любовью останавливался на роли, выпавшей тогда на долю женщин и выполненной ими с изумительной твердостью. Если на самое событие можно смотреть с разных точек зрения, то нельзя не согласиться, что самоотвержение, высказанное ими, останется навсегда свидетельством великих душевных сил,

¹ Живые страницы. Н. А. Некрасов. М., Детская литература, 1974, с. 370—371.

² Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников, с. 359.

³ См.: Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений в 3-х томах. т. II. Л., Советский писатель, 1967, с. 668, 670.

присущих русской женщине, и есть прямое достояние поэзии. Вот причина, побудившая автора приняться за труд, часть которого представляется сейчас публике. Хотя минуло уже почти полвека со времени события, однако автор счел за лучшее вовсе не касаться его политической стороны, да это и не входило в пределы задачи, как увидит читатель» (III, с. 582). С этой же целью Некрасов снабдил поэму подзаголовком «1826 год» — пусть не усомнятся цензоры, что 1825-й не входит в пределы его задачи. В «Эпиллоге», который, по первоначальному замыслу, должен был завершить «Княгиню Трубецкую», он выделил подвиг «славных жен» как самое прекрасное из всего свершившегося в «ту годину роковую»:

Как ни смотри на драму тех времен,
Высок и свят их подвиг незабвенный!

(т. III, с. 397)

Но действительное содержание поэмы обнаруживало серьезное противоречие с сентенциями предисловия, с провозглашенным в нем отказом от изображения «политической стороны» «события». «Славные жены» были изображены Некрасовым не как «ангелы-хранители», которые «явились опорой неизменной//Изгнанникам в страдальческие дни», а как соратницы своих мужей, разделившие с ними те убеждения, которые привели их к участию в «драме тех времен».

Покидаемый Трубецкой «край родной» — это «несчастный край», а Петербург — «город роковой, гнездо царей». Она любила в молодости и этот город, и «эту площадь перед ней с героем на коне» (т. III, с. 24).

Мне не забыть...

За многозначительным отточием должны были, очевидно, следовать воспоминания о событиях на этой площади, но героиня обрывает себя:

Потом, потом
Расскажут нашу быль...

(т. III, с. 25)

Но то, как вспоминается ей кадрили, которую Трубецкая танцевала с царем, достаточно определенно говорит о том, какие перемены произвела «эта быль» в ее душевном мире:

А ты будь проклят, мрачный дом,
Где первую кадриль
Я танцевала... Та рука
Досель мне руку жжет...

(т. III, с. 25)

Одна из центральных сцен поэмы — это, конечно, картина декабрьского восстания. Она, как мы знаем, вызывала у поэта нешуточные опасения. В письме к В. М. Лазаревскому, члену совета Главного управления по делам печати, поэт, явно подсаживая аргументы, которые могут пригодиться для защиты «Княгини Трубецкой» от вероятных нападков, писал: «...Пожалуйста, пробегите еще мою поэму. Если у Вас завтра будет заседание, то не возникнут ли толки? Я побаиваюсь за сцену на площади; но прошло 50 лет! да и все это есть у Корфа, которого книги во многих тысячах экз. в руках у публики, — картина чисто внешняя, не гнущая мысль читателя ни в которую сторону...» (т. XI, с. 208). Эти опасения были небеспочвенны. Хотя сцена эта подверглась особенно жестокой автоцензуре (строки с упоминанием Николая: «Прощенье царь дарует вам!», «Сам царь командовал: па-ли!», «Падите пред царем!» — были заменены обезличенными: «Прощенье обещаем вам!», «Раздалось грозное: па-ли!», «Падите ниц челом!»), Некрасов отдавал себе отчет, что сама позиция, с которой он изобразил восстание, не имела ничего общего с той, с которой писалось казенно-верноподданническое сочинение Корфа.

Как много стояло за бегло, казалось бы, отчеркнутой деталью:

Зато посмеивался в ус,
Лукаво щуря взор,
Знакомый с бурями француз,
Столичный куафер...

(т. III, с. 31)

Недаром Некрасов так долго и тщательно отделявал эти четыре стиха, искал для них самые емкие слова, отсеивал все ненужное¹. Именно они придавали «происшествию 14 декабря» подлинный исторический масштаб, вызывая в памяти «бури» Великой французской революции.

Встреча Трубецкого с женой в крепости — это встреча с единомышленницей, готовой не только облегчить его участь, но и отомстить за него:

¹ См.: Чуковский К. И. Мастерство Некрасова. М., Художественная литература, 1971, с. 288—289.

Скажи, что делать? Я сильна,
Могу я страшно мстить!
Достанет мужества в груди,
Готовность горяча...

(т. III, с. 38)

И вот — Иркутск. Споры с губернатором, составившие содержание второй части «Княгини Трубецкой». Образ героини обрисован Некрасовым в динамике, которая, кажется, не отмечалась исследователями поэмы. Сначала она говорит как преданная жена, которая видит свой моральный долг в том, чтобы разделить тяготы, выпавшие на долю ее мужа:

Ужасно будет, знаю я,
Жизнь мужа моего.
Пускай же будет и моя
Не радостней его.

(т. III, с. 39)

...Пусть смерть мне суждена —
Мне нечего жалеть!..
Я еду! еду! Я должна
Близ мужа умереть.

(т. III, с. 40)

На второй стадии она произносит уже иные слова, где проявляется ее оценка деятельности Трубецкого как деятельности правой и отношение к тем, кто одержал победу 14 декабря, как к достойным презрения и проклятия палачам:

Приняв обет в душе моей
Исполнить до конца
Мой долг, — я слез не принесу
В проклятую тюрьму —
Я гордость, гордость в нем спасу,
Я силы дам ему!
Презренье к нашим палачам,
Сознание правоты
Опорой верной будет нам.

(т. III, с. 41)

И наконец — спор достигает апогея, и губернатор слышит из уст княгини убийственную характеристику николаевского Петербурга:

Там люди заживо гниют —
Ходячие гробы,
Мужчины — сборище Иуд,
А женщины — рабы...
Вернуться? Жить среди клевет
Пустых и темных дел?..

Там места нет, там друга нет,
Тому, кто раз прозрел.
Нет, нет, я видеть не хочу
Продажных и тупых,
Не покажусь я палачу
Свободных и святых.

(т. III, с. 42)

Первое из приведенных четверостиший вызвало особое неудовольствие М. С. Волконского, но Некрасов все же отказался исключить его из поэмы. Сын декабриста исходил из психологического облика княгини, каким он представлялся его памяти. Некрасов же видел петербургский свет таким, каким видели его декабристы. Он нарисовал картину, побудившую лучших людей из дворян на акт героического самопожертвования. В «Дедушке» подобную роль играли сцены, рисующие угнетение солдат и народа: расстроенное помещиком венчание «бедной Груши», бесчеловечная муштра в армии, а здесь — зрелище выродившегося, обезчеловеченного столичного общества. Эти некрасовские строфы зримо восходят к традициям декабристской литературы: к «Балу» Одоевского, где светское общество — «сборище костей», к гневной инвективе Александра Бестужева: «...Наш свет — гроб поваленный»¹, а прежде всего — к монологам Чацкого, которому в этом свете «места нет», потому что он «раз прозрел».

Трубецкая в поэме Некрасова разделяет с восставшими отращение к тому обществу, на борьбу с которым они поднялись. Она отдает себе отчет в том, что ее муж не «увлекся призраком пустым» и на борьбу с самодержавием, и на сибирскую каторгу привела его «к родине любовь». Это звучит как высшая моральная санкция действиям декабристов, и потому победа княгини над губернатором — это более чем победа любящей жены над тем, кто препятствовал ее свиданию с мужем. Ее одержала женщина, осознавшая правоту дела, за которое боролись и страдали декабристы, женщина, не делившая с ними тяжесть борьбы, но готовая разделить тяжесть страданий.

«Княгиня Волконская» написана в иной тональности. В ней нет гневных монологов и огненных инвектив, но другими словами, в другой манере Некрасов и здесь выражает то же отношение к декабризму и декабристам,

¹ Литературно-критические работы декабристов. М., Художественная литература, 1978, с. 72.

которое читатель видел в ранее появившихся поэмах. В «Княгине Волконской» Некрасова гораздо более занимала задача воссоздания психологически достоверного облика героини, ему были дороги мелочи, прозаические детали, почерпнутые из записок М. Н. Волконской. И подзаголовок «Бабушкины записки», и беседа с «проказниками-внуками», с которых начинается поэма, намеренная неторопливость рассказа — все это настраивало читательское восприятие на определенную, не случайно избранную поэтом волну. Детство, характер отца, нравы семьи, ученье «всему, что нужно богатой дворянке», беззаботный досуг, балы, замужество по воле своенравного отца — в этот размеренный ритм врывается нежданная и поначалу непонятная молодой княгине гроза. Ночной приезд Сергея Волконского, спешное уничтожение компрометирующих его бумаг, новая разлука с мужем, разговор молчания, которым посвященная в происходившее семья окружила молодую, еще не оправившуюся после тяжелых родов и двухмесячной болезни мать, и наконец ее проникновение в роковую тайну. Княгиня узнает,

Что был заговорщиком бедный Сергей:
Стояли они настороже,
Готовя войска к низверженью властей.
В вину ему ставилось тоже,
Что он... Закружилась моя голова...
Я верить глазам не хотела...
«Ужели?..» В уме не вязались слова:
Сергей — и бесчестное дело!
Я помню, сто раз я прочла приговор,
Вникая в слова роковые:
К отцу побежала, — с отцом разговор
Меня успокоил, родные!

(т. III, с. 53—54)

Понятно, что услышала героиня, что единственно и могло ее успокоить. Она поняла, что дело, за которое боролся и пожертвовал собой ее муж, не было бесчестным. И с этого момента начинается превращение жены декабриста в его единомышленницу и соратницу. Читатель может додумать пропущенные подробности, но вывод, на который они его натолкнут, в поэме сформулирован недвусмысленно.

Подробностей ряд пропустила я тут...
Оставив следы роковые,
Доныне о мщенье они вопиют...
Не знайте их лучше, родные.

(т. III, с. 54—55)

Сергей был далеко, но он и происшедшее с ним необратимо изменили образ мыслей и мироощущение героини. Он «много неведомых прежде страстей//Посеял в душе моей бедной» (т. III, с. 59). Они и продиктовали героине самое большое и важное в ее жизни решение,

Что место мое не на пышном балу,
А в дальней пустыне утрюмой...

(т. III, с. 60)

В час печали она нашла для него слова, которых прежде не было в ее душе: «Ты сердца! единственный избранник...» Мы помним, как проходило ее сватовство. Не она избрала Сергея Волконского. Это была воля отца, которому героиня стала было перечить, но он пресек эти попытки. Тогда она жаловалась: «Отец! он так мало со мной говорил...» Теперь разговоры с ним по-другому представляются ее памяти:

О подвигах жизни его боевой
Рассказы товарищей боя
Я слушала жадно — и всею душой
Я в нем полюбила героя...

Но еще выше она оценила его стойкость в заключении, мужество, проявленное в час испытаний: «он твердо стоял пред грозю», и

Последнюю лучшую сердца любовь
В тюрьме я ему подарила!

(т. III, с. 61)

Теперь для нее уже нет сомнений в том, что ее муж не был участником «бесчестного дела». Приговор, читанный ею дважды, заключал в себе клевету, но эта клевета не способна бросить тень на его святой облик.

Напрасно чернила его клевета.
Он был безупречней, чем прежде.
И я полюбила его, как Христа...
В своей арестантской одежде.
Теперь он бесшумно стоит предо мной,
Величием кротким сияя,
Терновый венец над его головой,
Во взоре — любовь неземная.

(т. III, с. 61—62)

Образ Христа, принесшего себя в жертву ради спасения людей, не раз возникал в умах революционеров-демократов, что запечатлели и их произведения, и письма. «Кто способен страдать при виде чужого страдания,

кому тяжело зрелище угнетения чуждых ему людей, — тот носит Христа в груди своей...»¹ — писал Белинский Гоголю.

И предстает как призрак предо мною
Распятый на кресте божественный плебей! —

восклидал Плещеев. А в другом стихотворении он еще прямее объяснял причины своих симпатий к пророку, который на кресте завещал людям

Свободы, равенства и братства идеал
И за него велел переносить гоненья².

Для молодого Чернышевского Христос — личность «благая и любящая человечество»³. А Некрасов сопоставлял с Христом Чернышевского:

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Царям земли напомнить о Христе.

(т. II, с. 381)

Таков контекст, в котором должны быть увидены и «апостольский» облик героя поэмы «Дедушка», и характеристика Волконского, «Христа в арестантской одежде», принявшего терновый венец — символ страдания и мученичества.

Та же символика используется Некрасовым и для описания подвига жен-декабристок, следовавших за своими мужьями:

Мы... обе достойно свой крест понесем
И будем мы сильны друг другом.
Что мы потеряли? подумай, сестра!
Игрушки тщеславья... Немного!
Теперь перед нами дорога добра,
Дорога избранников бога!

Она пронизывает и кульминационную сцену поэмы — картину встречи Волконской с мужем в сибирском руднике. Первое, что слышит она: унылый звук оков.

Да, цепи! Палач не забыл ничего
(О мстительный трус и мучитель!)...

Характеристика Николая I, уже известная нам по «Княгине Трубецкой» (кадриль с царем, «та рука досель

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X, с. 218.

² Плещеев А. Н. Полн. собр. стихотворений, с. 63, 88.

³ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. I, с. 193.

мне руку жжет», «Не покажусь я палачу свободных и святых») возникает теперь и в устах Волконской, а Сергей Волконский характеризуется как человек, ставший орудьем бога:

Но кроток он был, как избравший его
Орудьем своим искипитель.

(т. III, с. 84)

И как высшее освещение¹ героического дела декабристов воспринимается поступок его жены, которая,

прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила!..

(т. III, с. 85)

По первоначальным планам Некрасова «Русские женщины» должны были стать лишь началом более обширного повествования, главной героиней которого он предполагал сделать А. Г. Муравьеву. В эпилоге к «Княгине Трубецкой» поэт писал:

Быть может, мы, рассказ свой продолжая,
Когда-нибудь коснемся и других,
Которые, отчизну покидая,
Шли умирать в пустынях снеговых.
Пленительные образы! Едва ли
В истории какой-нибудь страны
Вы что-нибудь прекраснее встречали.
Их имена забыться не должны.

(т. III, с. 397)

Сохранился план продолжения поэмы «Русские женщины» (см. т. III, с. 398—399), а также многочисленные свидетельства устойчивого интереса Некрасова к декабристской теме и следы попыток дать ей поэтическое воплощение. Но замыслы эти остались неосуществленными. О том, по каким мотивам Некрасов отказался от создания новых произведений на декабристскую тему и какое освещение она могла в них получить, можно лишь догадываться. Но несомненно другое. Историко-революционные поэмы Некрасова ознаменовали одну из важнейших вех его творческого пути. Полон глубокого смысла тот факт, что Плеханов, выступая на похоронах Некрасова и разъясняя революционное значение его поэзии, отметил «также и то, что Некрасов впервые в легальной русской печати воспел декабристов, этих предшественников революционного движения наших дней...»¹.

¹ Плеханов Г. В. Литература и эстетика, т. II. М., Гослитиздат, 1958, с. 208.

Часть третья

ПОТОМКИ

АМНИСТИЯ. ТОЛСТОЙ. ЛЕСКОВ. ПОЛОНСКИЙ. БОБОРЫКИН.
СПОРЫ О ЧАЦКОМ. ГОНЧАРОВ. ДОСТОЕВСКИЙ. ДАНИЛЕВСКИЙ.
РЕАКЦИОННАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА. ДЕКАБРИСТЫ, КОТОРЫЕ
НЕ ДЕКАБРИСТЫ. В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
МИХЕЕВ. АРДОВ. БЕБУТОВА. КОРОЛЕНКО. КАМУН ОКТЯБРЯ.



Вскоре после вступления на престол Александра II началась подготовка акта об амнистии декабристам. Этот акт, официально именованный «Высочайший указ Сенату о милостях государственным преступникам», был подписан царем в день коронации — 26 августа 1856 года и всячески использовался официальной печатью для того, чтобы создать у русской общественности впечатление об обновленном, гуманном характере начинающегося царствования. Не остались в стороне от этой деятельности и верноподданные стихотворцы.

В «Московских ведомостях» было, в частности, напечатано стихотворение адъюнкт-профессора Н. П. Вагнера, прочитанное одним из его коллег на праздновании коронации Александра II в Казанском университете:

Шумя, народ ликует вновь,
Повсюду радость, счастье льется,
С ступеней трона раздается
Прощенье, милость и любовь¹.

Вряд ли стоит распространяться о том, как мало общего с реальным положением вещей имела эта идиллическая картина. Она рисовала не то, что происходило на деле, а то, что хотелось бы видеть правительству. В действительности указ об амнистии имел другое, не запланированное властями и нежелательное с их точки зрения следствие. Он всколыхнул интерес к декабристам, побудил вернуться к событиям тридцатилетней давности, заново их осмыслить. И реакция на этот интерес, на эти стремления не замедлила последовать. Именно тогда и вышло в свет «первое для публики» издание книги М. А. Корфа, излагавшее официальную версию событий 14 декабря. Но и выход этой книги был истолкован русским обществом по-своему. Значит, о декабристах можно писать! Или станет можно в недалеком будущем. Тогда и стали складываться замыслы посвященных этой теме произведений Некрасова, Плещеева, Полонского.

¹ Московские ведомости, 1856, 30 октября, № 130, с. 1144.

Тогда она впервые вошла в творческий мир Льва Толстого. И с тех пор до того времени, когда за год с небольшим до смерти он с интересом читал посвященные дворянским революционерам материалы в журнале «Былое» и обсуждал их с Н. Н. Гусевым¹ — более чем полвека события на Сенатской площади, духовный облик их участников были постоянным предметом раздумий писателя.

Естественно, многое в этих раздумьях менялось. Менялся сам Толстой, его взгляд на мир и людей. Но в чем-то отношение Толстого к декабристам оставалось неизменным — и, может быть, именно это особенно показательно и важно. На протяжении этих пятидесяти с лишним лет отчетливо выделяются три периода, когда декабристы особенно занимают Толстого и даже отодвигают для него остальное на второй план. Первый из них приходится на конец 1850-х и начало 1860-х годов, когда вынашивался замысел романа о «вернувшемся декабристе» и были написаны три главы, в центре которых стоял образ Петра Ивановича Лабазова, когда у писателя возникла идея «романа из времени 1810 и 20-х гг.» (т. 61, с. 23)², приведшая в конечном итоге к созданию «Войны и мира».

Вторым таким периодом был конец 70-х годов, когда, окончив «Анну Каренину», Толстой вновь задумывает исторический роман, изучает материалы декабристской эпохи, пишет ряд набросков, где декабристская проблематика вступает во взаимодействие с крестьянской.

Третий период — конец 1890-х и начало 1900-х годов. В эти годы раздумья о декабристах не связаны с определенной творческой работой, но в процессе напряженных мировоззренческих исканий, уяснения своих позиций Толстой высказывает несколько принципиально важных мыслей, позволяющих понять сущность противоречий, которыми было пронизано отношение писателя к деятельности дворянских революционеров, и причины, по которым планы посвященного им исторического романа остались неосуществленными.

В 1850-е годы мысленным собеседником Толстого в ходе его раздумий над декабристской темой явился Гер-

¹ См.: Гусев Н. Н. Два года с Толстым. М., Художественная литература, 1973, с. 237—238.

² Ссылки на произведения и письма Л. Н. Толстого даются в тексте по юбилейному Полному собранию сочинений, т. 1—90. М.—Л., ГИЗ, Гослитиздат, 1928—1959.

цен. Толстой внимательно читает «Полярную звезду», черпает в ней материалы для будущей работы. «Дочел «Полярную звезду». Очень хорошо», — отмечает он в дневнике 4 ноября 1856 года (т. 47, с. 98). «Писать же соби­рался вам о «Полярной звезде», которую теперь только прочел всю как следует, — пишет Толстой Герцену. — Превосходная вся эта книга, это не мое одно мнение, но всех, кого я только видел» (т. 60, с. 373). Речь идет о шестой книге «Полярной звезды», где напечатано несколько материалов, связанных с декабристами (воспо­минания Н. Бестужева о Рылееве, «Кавказские воды» Огарева, письма Рылеева и Лунина, стихи Одоевского и др.), и не случайно Толстой в этом же письме подробно возвращается к этой теме. «Вы говорите, я не знаю Рос­сии, — продолжает он спор, видимо, начатый при встре­чах с лондонским изгнанником. — Нет, знаю свою субъ­ективную Россию¹, глядя на нее с своей призмочки. Еже­ли мыльный пузырь истории лопнул для вас и для меня, то это тоже доказательство, что мы уже надуваем новый пузырь, который еще сами не видим. И этот пузырь есть для меня твердое и ясное знание моей России, такое же ясное, как знание России Рылеева может быть в 25 году. Нам, людям практическим, нельзя жить без этого» (т. 60, с. 374).

Здесь Рылеев приводится Толстым как образец че­ловека, беззаветная преданность которого своим идеям, своему пониманию нужд России и долга перед ней были доказаны и жизнью и смертью. Свою Россию Толстой знает так же, как знал Рылеев свою, идя за нее на гибель.

«Кроме общего интереса, вы не можете себе предста­вить, как мне интересны все сведения о декабристах в «Полярной звезде», — писал Толстой Герцену. — Я затеял месяца 4 тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист. Я хотел поговорить с вами об этом, да так и не успел. Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 го­ду в Россию с женою, сыном и дочерью и примеряющий свой строгой и несколько идеальной взгляд к новой Рос­сии. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о приличии и своевременности такого сюжета. Тургеневу, которому я читал начало, понравились первые главы» (т. 60, с. 374).

¹ «Субъективной Россией» Толстой называл русский народ (т. 60, с. 375).

В не дошедшем до нас ответе Герцена замысел Толстого был, по-видимому, поддержан. Толстой благодарит его за «добрый совет о романе», а на содержавшуюся, очевидно, в письме рекомендацию мемуарного отрывка Огарева «Кавказские воды» отозвался горячо и заинтересованно: «Огарева воспоминания я читал с наслаждением и очень был горд тем, что, не зная ни одного декабриста, чутьем угадал свойственный этим людям христианский мистицизм» (т. 60, с. 376). Это был отклик на замечания Огарева, что «большая часть декабристов воротилась с убеждениями христианскими до набожности» и что «общество 14 декабря» испытало влияние «революционно-мистического романтизма»¹. Толстой, видевший в своем герое «энтузиаста, мистика, христианина», естественно, нашел в этих словах прямое совпадение с собственным представлением о духовном облике вернувшегося декабриста.

Его всегда восхищало, что, пройдя через страдания, перенесенные на каторге и в ссылке, декабристы сохранили веру в жизнь и людей, способность и стремление делать добро. В их облике Толстой видел подтверждение своих мыслей, что «ясность, бодрость и сердечная разумность» — удел тех, кто не изменил «своему богу», а измена убеждениям и долгу оборачивается «великими бедствиями». Это противопоставление так занимало Толстого, что он собирался даже положить его в основу конфликта задуманного им произведения. «В моем начатом романе «Декабристы», — читаем мы в другом письме, — одной из мыслей было то, чтобы выставить двух друзей, одного, пошедшего по дороге мирской жизни, испугавшегося того, чего нельзя бояться, — преследований, и изменившего своему богу, и другого, пошедшего на каторгу, и то, что сделалось с тем и другим после 30 лет: ясность, бодрость, сердечная разумность и радость одного, и разбитость, и физическая и духовная, другого, скрывающего свое хроническое отчаяние и стыд под мелкими рассеяниями и похотями и величанием — перед другими, в которые он сам не верит» (т. 70, с. 49).

Очевидно, Толстой имеет в виду роман, три главы для которого он написал осенью и зимой 1860—1861 годов и напечатал в 1884 году в сборнике «XXV лет». В этом романе, по предположению Б. М. Эйхенбаума, «современность должна была быть проведена через восприятие че-

¹ Огарев Н. П. Избр. произведения, т. II, с. 382.

ловека другой эпохи — декабриста, вернувшегося из Сибири в 1856 году. Две эпохи должны были встретиться лицом к лицу»¹.

Современность вошла в текст первой главы обширным двустраничным периодом, выдержанным, как это не раз отмечалось исследователями Толстого, в гневно-саркастическом, памфлетном тоне. Иронические оценки, язвительные напоминания, которые должны были задеть за живое читателя начала 1860-х годов, идут сплошным потоком. Гневной насмешкой не обойдены ни органы печати («журналы под самыми разнообразными знаменами,— журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским мирозерцанием, и журналы, исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским мирозерцанием»), ни апологеты чистого искусства, описывающие «ропу и восход солнца, и грозу, и любовь русской девицы», ни обличительная литература, изображавшая «лень одного чиновника» и «дурное поведение многих чиновников». Слово «вопросы», выделенное уже в первой строке главы ироническим курсивом, повторено (снова курсивом) и пояснено: так «называли в 56 году все те стечения обстоятельств, в которых никто не мог добиться толку» (т. 17, с. 8).

И «вдруг,— говорит В. В. Ермилов,— на самой вершине всего этого нагнетания, нагромождения суеты появляется короткая и спокойная фраза, как отстраняющий жест рукой: «Но не в том дело»; и шумная волна мгновенно спадает, как пена, как будто ее вовсе не было, и сразу становится тихо... Ироническая приподнятость тона сменяется контрастирующей, серьезной повествовательной речью»². Так же поясняет смысл этой фразы и Э. Л. Штейман: «...Словно затихает в наших ушах весь шум простой суеты, перестает рябить в глазах от многочисленных прожектов, споров, «вопросов». Все это ментально спадает одной волной: «не в этом дело». Значит, только сейчас подведет нас автор к самому основному, главному для него, а следовательно, и для нас. Последняя самая короткая и решительная фраза — это не просто конец вступления. Это начало основного рассказа о чем-то прямо противоположном, то есть о том, что хо-

¹ Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. вторая. 60-е годы. М.—Л., Гослитиздат, 1931, с. 194.

² Ермилов В. В. Толстой-художник и роман «Война и мир». М., Гослитиздат, 1964, с. 28—29.

чет противопоставить Толстой картине, столь зло воссозданной им»¹.

Все эти рассуждения, которые могут на первый взгляд показаться убедительными, при более близком рассмотрении оказываются весьма уязвимыми. «Короткая и решительная фраза», которой отводится такая роль в тексте, повторяется еще раз спустя две страницы — когда Лабазов, предавшийся было воспоминаниям о прошлом — о том, как он в последний раз был в Успенском соборе, именно этой фразой: «Но не в том дело» — возвращает себя и собеседников к сегодняшнему дню. Это повторение как-то ускользнуло от внимания исследователей Толстого. Но не в том дело.

Интродукция, где одним обширным периодом обрисована панорама русской жизни, не просто противопоставлена тональности последующего текста. Не в том ее смысл, что, отбросив мишуру, Толстой¹ обращается к повествованию о самом основном, главном для писателя и для нас. Ирония, пронизывающая первые строки повествования, не исчезает и проходит сквозь все три последующие главы, остается определяющим изобразительным средством в палитре Толстого, но в зависимости от объекта изображения становится многообразной в оттенках: от уничтожающего сарказма до усмешки, смешанной с жалостью, порой с какой-то долей сочувствия.

Вот подъехал к подъезду гостиницы возок, а старик «продолжал свою беседу в возке так, как будто он намеревался ночевать в нем», рассказывая «о том, каков был Кузнецкий мост при французе». Дважды он повторяет: «А теперь устроиваться... Теперь надо устроиваться», а между тем, «ничего не делая», ходит из одной комнаты в другую. Поставил к притолоке лыжи и «прижал к ней». «Но лыжи не приклеились», — насмешливо замечает Толстой, — и «с грохотом упали поперек двери». Далее приехавший «употребил свой досуг на то, чтоб под предлогом содействия своей супруге смять ей какую-то одежду, и на то, чтобы спотыкнуться на опорожненный ящик». В разговоре с хозяином гостиницы Петр Иванович сообщает сведения, которые того совершенно не интересуют, но на хозяина производит впечатление хороший французский язык прибывшего. «Французский

¹ Штейман Э. Л. Исторический комментарий к интродукции романа Л. Н. Толстого «Декабристы». — Труды Иркутского гос. университета им. А. А. Жданова, 1969, т. 62. Серия литературоведения и критики, вып. 6, с. 128—129.

язык, как известно, есть нечто вроде чина в России», — иронически говорит Толстой. Узнав об услугах, которые он может получить в гостинице, Петр Иванович, «полагавший, должно быть, что он находился в Трухменской степи», «пришел в восторженное состояние».

Он приказывает подать чаю, забыв, что раньше намеревался идти в баню, отказывается от чаю, отнимая этим у хозяина «единственный результат беседы с новоприезжим», но остается «горд и счастлив своим устройством». Столь же иронически говорит Толстой и о том, как Петру Ивановичу приходит «счастливая мысль, что не ему одному надо быть веселым этот вечер», как он дает ямщикам по три рубля, «вроде того, как это делают, платя докторам за визиты. Обделав все эти дела, его повезли в баню» (т. 17, с. 13). За чаем он произносит нравоучительные сентенции, а между тем подливает себе рому, чем в конце концов вынуждает дочь потихоньку унести бутылку.

Эта насмешка, пронизывающая все описание поступков и поведения вернувшегося Лабазова, становится еще более ощутимой при сопоставлении с тем, как описана Наталья Николаевна. Едва перо писателя обращается к ней, исчезает и тень иронии. Толстой говорит, любуясь ею: «Ее прекрасные черные глаза устремились куда-то далеко; она смотрела и отдыхала. Она, казалось, отдыхала не только от одного раскладыванья, не от одной дороги, не от одних тяжелых годов — она отдыхала, казалось, от целой жизни, и та даль, в которую она смотрела, на которой представлялись ей живые любимые лица, и была тот отдых, которого она желала» (т. 17, с. 14).

Вторая глава переносит нас в ресторан Шевалье, и тон повествования ощутимо меняется. Мягкая, не лишенная сочувствия ирония сменяется непримиримым, беспощадным сарказмом. Петр Иванович обрисован Толстым без малейшего стремления к идеализации («как бы мне ни хотелось представить моим читателям декабрьского героя выше всех слабостей, ради истины должен признаться, что Петр Иванович особенно тщательно брился, чесался и смотрелся в зеркало» — т. 17, с. 27), но сочувственно. Отношение же писателя к посетителям ресторана, к кругу, в который попал вернувшийся декабрист, совсем иное.

Петр Иванович носит «одну из тех русских фамилий, которую всякий знает и всякий произносит с некоторым уважением и удовольствием». Но посетители ре-

сторана весьма далеки от этих чувств: «Казацкий офицер смутно помнил, что этот Петр Лабазов был чем-то знаменитым в 25-м году и что он был сослан в каторжную работу,— но чем он был знаменит, он не знал хорошенько. Другие же никто и этого не знали и ответили: «А! да, известный», — точно так же, как бы они сказали: «как же, известный!» про Шекспира, который написал «Энеиду» (т. 17, с. 19).

Здесь слышатся реплики вроде: «Сколько их наехало теперь этих сосланных!.. Право, их меньше, кажется, было сослано, чем вернулось», здесь рассказываются пошлые анекдоты. Здесь мы знакомимся с Иваном Павловичем Пахтиным, который станет вскоре самым преданным поклонником вернувшегося декабриста. «...Иван Павлович, сначала сомневавшийся, нужно или нет радоваться возвращению Лабазова» — запомним эту показательную деталь! — быстро входит в роль: он «уже более не употреблял введения о бале, статье «Вестника», здоровье и погоде, а прямо приступал ко всем с восторженным объявлением о благополучном возвращении знаменитого Декабриста» (т. 17, с. 21).

Благополучное возвращение для него лишь повод проявить свою осведомленность и первым разнести новость, которая, однако, отнюдь не везде оказывается ко двору. «Ежели он приехал таким же взбалмошенным, каким поехал, так нечему радоваться,— угрюмо сказал старичок... Этот отзыв смутил Ивана Павлыча, он опять не знал, *следовало ли или нет радоваться приезду Лабазова* (курсив мой. — Л. Ф.), и, чтобы окончательно разрешить свои сомнения, он направил шаги свои в комнату, где собирались умные люди разговаривать и знали значенье и цену всякой вещи, и всё знали, одним словом» (т. 17, с. 22).

И чтоб читатель ни на мгновение не допустил, что речь впрямь идет об умных людях, Толстой язвительно поясняет: «Я употребляю «умные» как (прозвание) посетителей умной комнаты» — и далее заключает это определение в кавычки: «Только Лабазова недоставало,— сказал один из «умных»... начал «умный»... перебил другой «умный» и т. д. Разговоры «умных» людей о Лабазове побуждают Пахтина с новым усердием сообщать новость свежим людям, пока кто-то не сообщает ее ему самому и не получает в ответ реплику: «Кто же этого не знает!»

И словно продолжая саркастическую характеристику «того времени», которой начиналась первая глава, Толстой

воскликает в заключение второй: «Что значит 56 год! Три года тому назад никто не думал о Лабазовых и ежели вспоминали о них, то с тем безотчетным чувством страха, с которым говорят о новоумерших; теперь же как живо вспоминались все прежние отношения, все прекрасные чувства, и каждая из дам уже придумывала план, как бы получить монополию на Лабазовых и ими угашивать других гостей» (т. 17, с. 25—26).

Благодаря хлопотам Пахтина Петра Ивановича осыпают визитными карточками «значительные москвичи», считающие «в 56-м году своей неперемнной обязанностью оказать всевозможное внимание знаменитому изгнаннику, которого они не хотели бы видеть ни за что на свете 3 года тому назад» (т. 17, с. 29). А сам Пахтин, который только что сомневался, нужно или нет радоваться возвращению Лабазова, теперь преобразился в «давнишнего поклонника Петра Иваныча»: «как только Петр Иваныч стал говорить, надо было видеть, с каким почтительным вниманием Пахтин получал каждое слово, вылетавшее из уст значительного старца, и как за каждой фразой, иногда словом, Пахтин кивком, улыбкой или движением глаз давал чувствовать, что он получил и принял достопамятную для него фразу или слово» (т. 17, с. 30). «Пахтин таял от наслаждения и был совершенно согласен со всем» и стыдил Москву за то, что возвращающийся Лабазов не был встречен у заставы.

А когда Петр Иванович разгоряченно изложил свое *profession de foi* (Толстой не упускает возможности выразить ироническое сомнение: вино или предмет разговора были истинной причиной этой горячности), «Пахтин пришел в восторг и тоже прослезился и, не стесняясь, выразил свое убеждение, что Петр Иваныч теперь впереди всех передовых людей и должен стать главой всех партий» (т. 17, с. 31).

Толстой, конечно, не разделяет этого мнения. Лабазов описан им с несомненной симпатией, годы лишений и страданий не состарили его. «Тебе все еще 16 лет, Пьер,— говорит ему Наталья Николаевна.— Сережа моложе чувствами, но душой ты моложе его» (т. 17, с. 16). Во внешности своего героя писатель подчеркивает «выражение несказанной доброты и впечатлительности» (т. 17, с. 32). Но видит он и другое: Лабазов не годится для того, чтобы «стать главой всех партий». Ирония, с которой он говорит о вернувшемся декабристе,— это, разумеется, не тот разящий сарказм, с которым описаны

«значительные москвичи» и вообще «Россия 56-го года», но, не учитывая ее и даже недостаточно принимая ее в расчет, мы неизбежно впадаем в существенные заблуждения.

Так, С. П. Бычков, отметив, что в главах незавершенного романа «все облит горечью, все отрицается, на все падает свет обличительной иронии писателя», далее говорит: «Но если все отрицается, то что же остается? Ответ на этот вопрос мы находим в романе, герой которого, декабрист Лабазов, заявляет, выражая взгляды самого Толстого: «Я должен сказать, что народ более всего меня занимает и занимал. Я того мнения, что сила России не в нас, а в народе»¹.

А теперь обратимся к контексту, в котором звучат у Толстого эти якобы выражающие его взгляды слова: Лабазов говорил, *«как бы протверживая старые фразы»*. — «А я должен сказать, что народ более всего меня занимает и занимал. Я того мнения, что сила России не в нас, а в народе», и т. д. «Петр Иваныч развил с свойственным ему жаром свои более или менее оригинальные мысли насчет многих важных предметов. Нам придется еще слышать их в более полном виде» (т. 17, с. 30—31. Курсив мой. — Л. Ф.). Не очевидно ли, что Толстой приводит эти слова Лабазова как пример «старых», «неоригинальных» фраз, повторяемых человеком, в действительности далеким от народа?

Представляется сомнительным и утверждение другого исследователя, что «все прекрасные качества» Лабазовых — «высокие моральные черты деятелей декабристской эпохи»². Лабазов, каким изобразил его Толстой, *не деятель* ни декабристской, ни какой-либо другой эпохи. Это возвратившийся декабрист, и на определении здесь следует сделать существенный акцент. По этому суматошному старичку, не знающему, куда себя деть, плохо разбирающемуся в том, что его окружает, тянущемуся к бутылке с ромом, нельзя судить об отношении Толстого

¹ Бычков С. П. Л. Н. Толстой. Очерк творчества. М., Гослитиздат, 1954, с. 112. Аналогичную трактовку этих слов можно видеть и у других исследователей. См.: Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. Изд. 2-е. М., Советский писатель, 1975, с. 133; Розанова С. А. О работе Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова над произведениями с декабристской темой и материалами декабристской поры (50—70-е годы). — Ученые записки Ивановского гос. пед. института, 1962, т. 29, с. 65—66.

² Арденс Н. Н. Творческий путь Л. Н. Толстого. М., Изд-во АН СССР, 1962, с. 140.

к декабризму и декабристам. В нем не было и намека на ту «ясность, бодрость, сердечную разумность», которые он собирался сделать определяющими качествами своего героя. По-видимому, это была одна из основных причин, побудивших писателя отступить от своих первоначальных планов.

«В 1856 году, — в одном из вариантов предисловия к «Войне и миру» — я начал писать повесть с известным направлением, героем которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил начатое» (т. 13, с. 54). Чтобы понять, как складывался характер героя задуманного Толстым произведения, «нужно было перенестись к его молодости». «Итак, — писал он, — от 1856 года возвратившись к 1805 году, я с этого времени намерен провести уже не одного, а многих моих героинь и героев через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 года. Развязки отношений этих лиц я не предвижу ни в одной из этих эпох» (т. 13, с. 55).

Отечественная война, движение декабристов и вторая половина 1850-х годов — все эти события писатель собирался охватить произведением, которое должно было называться «Три поры». Есть основания предполагать, что если бы этот замысел был осуществлен, то именно 1825 год должен был оказаться в центре внимания Толстого. Первая «пора» была бы необходимым введением — необходимым, чтобы понять, почему герой произведения, в 1825 году уже возмужалый человек, избрал путь, приведший его в тайные общества и на сибирскую каторгу. «...Так как надо было дать понятие, какие они были люди, откуда они, — говорил Лев Николаевич, — то я начал с 1805-го года и подхожу к 1808-му году. Но что выйдет из этого — не знаю»¹. А третья пора явилась бы развернутым эпилогом, отголоском одной эпохи в другой.

Этот замысел захватил Толстого. «Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы настолько свободными и столько способными к работе, — писал он осенью 1863 года А. А. Толстой. — И работа эта есть у меня. Работа эта роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени»

¹ Кузьминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания. Изд. 4-е. Тула. Приокское книжн. изд-во, 1964, с. 235.

(т. 61, с. 23). Дальнейшая эволюция этого замысла и приведет вскоре к созданию «Войны и мира», где Толстой, по справедливому суждению современного исследователя, стремился «проследить, каким образом, при каких жизненных обстоятельствах пробудились в человеке из аристократической среды в эпоху войны 1805—1812 гг. та совесть и то высокое понимание чести и долга человека, которые привели его к враждебно-отрицательному отношению к своей среде, а потом к разрыву с нею»¹.

Страницы эпилога, где воссоздана атмосфера, в которой складывались тайные общества, не могут быть восприняты и поняты иначе, как итог всего предшествующего повествования. В конечном счете те побуждения, которые в пору 1812 года двигали сердцами и помыслами людей, преградивших путь наполеоновскому нашествию, вызвали и ту благородную нетерпимость ко злу и насилию, которая вывела передовых дворян на Сенатскую площадь.

«...Все гибнет,— говорит Пьер.— В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения,— мучат народ; просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет» (т. 12, с. 283). Это именно те слова, которые будут позднее говорить декабристы, объясняя следствию причины, побудившие их к подготовке переворота². Толстой не мог знать этих показаний, но чуть гениального писателя безошибочно подсказало ему причины зарождения тайных обществ.

Слова Пьера находят живейший отклик в душе присутствовавшего при его разговоре с Ростовым «будущего декабриста» — Николеньки Болконского: «...Радостно-восторженно смотрел на Пьера забытый всеми мальчик, с тонкою шеей, выходявшею из отложных воротничков. Всякое слово Пьера жгло его сердце...» (т. 12, с. 284). Именно Николенька и произносит, может быть, самые важные в этом разговоре слова, бросающие ответ на прошлые страницы романа, связывающие их с проблематикой спора, описанного в эпилоге.

¹ Петров С. М. «Декабристский элемент» в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого.— Известия АН СССР, Отдел лит. и языка, 1958, т. XVII, вып. 2, с. 149.

² См. об этом: Кандиев Б. И. Мотивы декабризма в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого.— Ученые записки Северо-Осетинского гос. пед. института им. К. Л. Хетагурова, т. XIX. Дзауджикау, 1953, с. 45—55.

« — Дядя Пьер... вы... нет... Ежели бы папа был жив... он бы согласен был с вами?» (т. 12, с. 285). И Пьер не может не дать утвердительного ответа на этот вопрос. Значение этого эпизода особенно возрастает, если мы вспомним, что Николенька Болконский по замыслу Толстого «непрерменно» должен был «выступить в романе из эпохи декабристов»¹.

Известное свидетельство П. А. Сергеевко, что, по словам Толстого, «Войну и мир» он написал как бы случайно, в виде вступления к «Декабристам»², сегодня кажется парадоксальным. «Декабристы» для нас — один из многих незавершенных творческих замыслов Толстого, несколько набросков, относительно мало знакомых широкому читателю, а «Война и мир» — одна из вершин мировой литературы, роман, на котором воспитаны поколения и который известен во всех концах нашей планеты. Но если окинуть единым взглядом динамику тех поисков, которые вел Толстой в 60-е годы, окажется, что в этом замечании намного больше истины, чем может показаться.

Как мы помним, Тургенев упрекал Толстого, что тот упустил из вида декабристский элемент, когда писал «Войну и мир». Ирония ситуации, однако, в том, что сам Тургенев упустил из вида весь декабристский элемент, который такую роль играл в движении творческой мысли, планов и творений Толстого.

В начале 1878 года декабристская тема вновь выдвигается для Толстого на первый план. Ее имел в виду писатель, когда сообщал С. А. Рачинскому, что у него «есть работа, отвлекающая в другую сторону» (т. 62, с. 377), и когда писал Н. Н. Страхову о том, что «увлекся другими занятиями» (т. 62, с. 380). «Все время Л. Н. занимается чтением времен Николая Павловича и, главное, заинтересован и даже весь поглощен историей декабристов. Он ездил в Москву и привез целую грудку книг и иногда до слез тронут чтением этих записок»³. В письме к П. Н. Свистунову, одному из немногих де-

¹ Русанов Г. А. Поездка в Ясную Поляну. — В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, в 2-х томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1955, с. 235. Далее это издание обозначается сокращенно: Изд. 1955.

² Сергеевко П. А. Как живет и работает граф Л. Н. Толстой. Изд. 2-е. М., 1903, с. 19.

³ Толстая С. А. Мои записи разные для справок. — В кн.: Толстая С. А. Дневники. В 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1978, с. 506.

кабристов, которые дожили до 70-х годов и помогали Толстому в подборе материалов для его романа, он признавался: «Работа моя томит и мучает меня, и радует и приводит то в состояние восторга, то уныния и сомнения, но ни днем, ни ночью, ни больного, ни здорового мысль о ней ни на минуту не покидает меня» (т. 62, с. 459).

Переписка Толстого хранит многочисленные свидетельства того, как глубоко он был захвачен замыслом нового исторического романа, с какой ненасытной жадностью рвался к документам, которые должны были, как он надеялся, позволить ему заглянуть в эпоху 20-х годов, в души людей того времени. Он добивается (безуспешно) разрешения ознакомиться с делами декабристов, находившимися в архиве III Отделения, просит Стасова «найти, указать — как решено было дело повешения 5-х, кто настаивал, были ли колебания и переговоры Николая с его приближенными?» (т. 62, с. 400). Когда ему удалось получить с помощью Стасова копию записки Николая I о казни декабристов, он отзывается на это таким письмом: «Не знаю, как благодарить вас, Владимир Васильевич, за сообщенный мне документ. Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь. Это ответ на главный вопрос, мучивший меня. Считаю себя вечным должником вашим за эту услугу» (т. 62, с. 429).

Неудивительно, что друзья Толстого, с которыми он постоянно делился своими мыслями и планами, были поражены, когда в феврале 1879 года он внезапно и окончательно прервал работу над «Декабристами». Это был отказ, вовсе не похожий на то, что случилось в начале 60-х годов, когда от замысла романа о вернувшемся декабристе Толстой перешел сначала к поре «заблуждений и несчастий» своего героя, затем планировал роман из эпохи 1810-х и 1820-х годов, произведение, которое как бы вмещало в себя и роман о декабристе, и «Войну и мир», и наконец создал свою великую эпопею, в многоплановом содержании которой не последнее место занимал «декабристский элемент», предыстория тайных обществ. Тогда было изменение подхода к теме. Теперь же она оказалась отвергнута, и причины, по которым писатель решил на это, он не сообщил в письмах даже ближайшим друзьям, оставив без ответа многочисленные взволнованные вопросы. Судить об этих причинах сегодня можно лишь гипотетически, потому что свидетель-

ства современников порой малоубедительны, порой сбивчивы, нередко противоречат друг другу.

«Скажите мне непременно,—спрашивала А. А. Толстая,—действительно ли вы совершенно оставили ваших декабристов. В таком случае я буду неутешна. Что за дело, что они не русские, а французы или западники. Разве это тоже не исторический и характерный факт той эпохи»¹. Особенно горевал Стасов: «Тут было у нас сто нелепых слухов, будто Вы бросили «Декабристов», потому, мол, что вдруг Вы увидели, что все русское общество было не русское, а французятина!?! Может ли это быть, я никогда не верил»². Между тем не кто иной, как сам Толстой, объяснил свой отказ от дальнейшей работы над романом о декабристах тем, что «почти все декабристы были французы»³. Ту же версию поддерживает и С. А. Берс: «Но вдруг Лев Николаевич разочаровался и в этой эпохе. Он утверждал, что декабрьский бунт есть результат влияния французской аристократии, большая часть которой эмигрировала в Россию после французской революции. Она и воспитывала потом всю русскую аристократию в качестве гувернеров. Этим объясняется, что многие из декабристов были католики. Если все это было привитое и не создано на чисто русской почве, Лев Николаевич не мог этому симпатизировать»⁴.

При всей авторитетности этих свидетельств, указанная здесь причина прекращения работы Толстого над романом о декабристах представляется совершенно неправдоподобной, настолько неправдоподобной, что возникает подозрение: не сознательно ли говорил об этом Толстой, стремившийся утаить от настойчивых вопрошателей действительные мотивы принятого им решения. И в самом деле, можно ли себе представить, что Толстой, так досконально знавший русское дворянство первой четверти XIX века, изображенное им в «Войне и мире», вдруг на протяжении считанных дней уяснил такие на поверхности лежащие факты, как то, что русских аристократов

¹ Отдел рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого. Цит. по кн.: Гусев Н. Н. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1884 год. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 532.

² Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906. Л., Прибой, 1929, с. 45.

³ Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой (1857—1903). СПб., 1911, с. 19.

⁴ Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом.— Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, в 2-х томах, т. 1, с. 191. Далее это издание обозначается сокращенно: Изд. 1978.

воспитывали гувернеры-французы и что часть декабристов питала симпатии к католичеству? Конечно, все это было ему давно и в деталях известно, известно и тогда, когда он обдумывал и вынашивал свой замысел.

Трудно принять как достаточное и другое объяснение, данное Толстым 24 августа 1883 года в беседе с Г. А. Русановым: «...Из эпохи декабристов я не мог написать потому, что она, наоборот, оказалась чересчур недавнею, слишком близкою ко мне. Декабристы были слишком всем известные люди, осталась масса записок, мемуаров, писем их эпохи, и я положительно терялся в этой массе»¹.

На наш взгляд, здесь была другая причина, коренящаяся и в том переломном моменте эволюции мировоззрения Толстого, на который приходится его занятия декабристской темой в конце 1870-х годов, и в самом времени, в характере событий, развернувшихся на глазах писателя. Биограф Толстого с основанием отмечал: «Рационалистическое, лишенное религиозной основы мирозерцание большинства декабристов, подчеркнутый автором рационализм князя Андрея — человека с декабристской психикой, рационализм будущего декабриста Пьера Безухова в эпилоге «Войны и мира» теперь уже не удовлетворяли Толстого. Не удивительно, что при том религиозном настроении, которым тогда был проникнут Толстой, представители декабристского движения, при всем его уважении к их личностям, не могли вдохновить его до такой степени, чтобы он сделал их центральными героями своего романа»².

Толстой, по-видимому, вначале не ощущал этого противоречия и говорил С. А. Толстой о своем намерении строить свое повествование о декабристах так, чтобы фоном служило «его теперешнее религиозное настроение. Я спросила: «Как же это?» Он говорит: «Если б я знал — как, то и думать бы не о чем». Но потом прибавил: «Вот, например, смотреть на историю 14 декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать»³. По воспоминаниям А. А. Толстой, писатель говорил ей: «Я хочу доказать, что в деле декабристов никто не был виноват — ни заговор-

¹ Русанов Г. А. Поездка в Ясную Поляну. — Изд. 1955, т. 1, с. 235.

² Гусев Н. Н. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии..., с. 534.

³ Толстая С. А. Дневники. В 2-х томах, т. 1, с. 506.

щики, ни власти»¹. Та же мысль выражена в одном из его писем: «Надобно, чтоб не было виноватых» (т. 62, с. 397).

Эта мысль, несомненно, сопрягалась у Толстого с наблюдением над событиями, происходившими в то время в России: активизацией террористической деятельности народников, репрессиями властей. Только что завершилось судебное рассмотрение дела Веры Засулич, стрелявшей в петербургского генерал-губернатора Ф. Ф. Трепова. Оно произвело на Толстого большое впечатление: «...С тех пор как я прочел про этот суд; и про всю эту кутерьму, она не выходит у меня из головы», — писал он А. А. Толстой. «Мне издалека и стоящему вне борьбы ясно, что озлобление друг на друга двух крайних партий дошло до зверства, — говорилось в том же письме. — Для Майделя и других все эти Боголюбовы и Засуличи такая дрянь, что он не видит в них людей и не может жалеть их; для Засулич же Трепов и другие — злые животные, которых можно и должно убивать, как собак... Все это, мне кажется, предвещает много несчастий и много греха. А в том и другом лагере люди, и люди хорошие. Неужели не может быть таких условий, в которых они перестали бы быть зверями и стали бы опять людьми?» (т. 62, с. 409). Это письмо написано менее чем через три недели после того, в котором он выражал намерение изобразить борьбу декабристов с царизмом так, «чтоб не было виноватых».

Но тенденция, которую хотел вложить в свое произведение Толстой, вступала в противоречие с историей, с документами, которые проходили через его руки в процессе изучения эпохи 1820-х годов. Особое впечатление произвела на него записка Николая I о казни декабристов, которую помог получить Стасов. Она побудила его иными глазами взглянуть на царя, которого он собирался изобразить невиноватым. «Это какое-то утонченное убийство», — сказал он Д. Д. Оболенскому².

С. А. Берс рассказала о своих воспоминаниях о Толстом: «Проезжая со мной по Большой Морской улице мимо памятника императору Николаю I, он отвернулся от памятника и сказал, что не может видеть этой личности.

¹ Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой..., с. 19.

² Оболенский Д. Д. По поводу казней декабристов. — Наша старина, 1917, № 2, с. 36.

Он высказывал, что с гибелью декабристов погибла большая и лучшая часть русской аристократии, и строго осуждал за это императора Николая I. Он находил, что допущенная им смертная казнь пятерых доказывала полное отсутствие в нем свойственных всякому монарху милости и великодушия, которые так необходимы на этом посту. Это было, по мнению Льва Николаевича, особенно неблагоприятно потому, что нельзя было не знать, что такое же участие, как и приговоренные к казни, принимали в бунте еще и многие другие¹. И когда, значительно позднее, Толстой обратился к работе над «Хаджи-Муратом», где создал необыкновенный по выразительности и обличительной силе образ Николая, он вновь поставил в вину царю расправу с декабристами. На «вспыхнувший мятеж» царь «ответил картечью, виселицами и каторгой лучших русских людей. Ложь вызвала человекоубийство. Человекоубийство вызвало усиленную ложь» (т. 35, с. 542).

С другой стороны, исторические материалы неизбежно должны были раскрывать Толстому страшную удаленность декабристов от народа, и, как справедливо отметил С. П. Бычков, «с его новых идейных позиций эта тема уже не давала ему материала для решения волновавших его вопросов о сближении с народом, о путях этого сближения»². Толстой хотел писать о русском крестьянстве, жизни и проблемам которого посвящены почти все отрывки, оставшиеся от его работы 1878—1879 годов. Но путей к изображению «простой жизни в столкновении с высшей» он в декабристской теме не видел. Это и побудило его позднее заметить, что он «не нашел в ней того, чего искал, т. е. общечеловеческого интереса. Вся эта история не имела под собой корней»³.

Вскоре после того, как Толстой прервал работу над романом о декабристах, у него состоялся чрезвычайно интересный и достойный самого пристального внимания обмен письмами с А. А. Фетом. Чтобы глубже понять те немногие слова, которые были сказаны Толстым в этом письме на интересующую нас тему, нужно не упускать из виду, что переписке Толстого вообще присуща характерная и оригинальная черта: он порой отвечает на заданный вопрос как бы в обход, откликается на часть

¹ Изд. 1978, т. 1, с. 190.

² Бычков С. П. Л. Н. Толстой, с. 322.

³ Сергеев П. А. Как живет и работает граф Л. Н. Толстой, с. 19.

обращенных к нему слов, а другие оставляет без ответа. Эти умолчания бывают у него красноречивее и значительнее иных самых пространств рассуждений.

7 октября 1857 года А. А. Толстая обратилась к писателю: «На днях зашел разговор об вас, кто-то сказал, что вы, вероятно, со временем сделаетесь вторым изданием Искандера. Ох, как это меня задело за живое... Докажите им, милый друг, что ваша цель и пряма, и свята, и чиста; а мне скажите успокоительное слово насчет Искандера. Надеюсь, что вы ему не сочувствуете»¹.

Толстой словно не услышал этого горячего призыва. И ответ его был вроде бы не о том. «Мне смешно вспомнить, — пишет он, — как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! *Нельзя, бабушка*» (т. 60, с. 231).

Но в действительности ответ Толстого, конечно, о том... Вопрос не так однозначен для него, как это представляется его корреспондентке. Нет, вторым изданием Искандера он не станет («Герцен сам по себе, я сам по себе» — т. 60, с. 436, — скажет он), но вся картина видится ему гораздо более сложной. Для нее дело сводится к дилемме: либо путь Герцена, либо прямая святая и чистая цель, к которой должен устремиться Толстой. А он объясняет ей, что это равносильно стремлению уйти в счастливый и честный мирок. Он может видеть в одних действиях лондонского изгнанника ошибки, в других путаницу, но ему теперь смешно вспомнить, что он «думывал», что этой путаницы, ошибок, раскаяния можно избежать. «*Нельзя, бабушка*».

Итак — об обмене письмами между Фетом и Толстым в апреле 1879 года. 9 апреля Фет, еще не знавший, что Толстой оборвал свою работу над романом о декабристах, писал ему: «Из немногих брошенных Вами слов я составил себе, дай бог, чтобы превратное, понятие о Вашем новом капитальном труде. Общественное мнение 55 лет привыкло смотреть на декабристов, как на олигархов, то есть как на своекорыстных мечтателей. Вы, быть может, с большим историческим правом смотрите на них как на мечтателей самоотверженных, и в силу последнего ка-

¹ Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой..., с. 90.

чества они возникают перед Вами в венцах из звезд, как в «Полярной звезде» Герцена, отказавшегося под конец от солидарности с этой темой.

Если бы Вы имели дело со мной или Страховым, Вы были бы совершенно правы. В художественном произведении мы не стали бы во что бы то ни стало доискиваться исторической правды. У Байрона Авель — свинья, а Каин — высокий герой и спаситель человечества, как Прометей. Нам и в голову не придет оспаривать Байрона и его Каина, хотя Книга Бытия нам его представляет в некрасивом виде. Но ведь никогда толпа не смотрит с этой стороны. Когда Шиллер написал своих «Разбойников» — студенты ушли в Богемские горы на разбой. И чем выше голос говорящего, тем ужасней последствия недоразумения его речей.

Я ужасаюсь мысли, что теперешние цареубийцы могут подумать, что Вы их одобряете и напутствуете благословением их растление несчастных женщин, глупеньких юношей и покушение силой и насилием проникнуть в народ, который всей массой по простому, прямому историческому чувству знает, что нам без царя на престоле и в голове жить нельзя¹.

Толстой отозвался коротко, одной фразой: «...Теперь только отвечу на Ваши опасения: «Декабристы» мои бог знает где теперь, я о них и не думаю, а если бы и думал, и писал, то лъщу себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества» (т. 62, с. 483).

Письмо Фета было продиктовано прежде всего его острой неприязнью к народовольцам, которых он называет «теперешними цареубийцами». При этом он явственно выражает и свое отношение к «цареубийцам» 20-х годов. Он не настаивает на том, что они были лишь «свокорыстными мечтателями», и признает, что смотреть на них как на «мечтателей самоотверженных» можно с большим историческим правом. Но эта самоотверженность не исчерпывает в глазах Фета их характеристики; если исходить только из этого качества, они предстанут «в венцах из звезд», как у Герцена. Стремясь удержать Толстого от создания произведения, которое морально санкционировало бы деятельность декабристов, Фет обращается к сравнению, чрезвычайно показательному для

¹ Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. В 2-х томах, т. 2. М., Художественная литература, 1978, с. 61—62.

всего хода его мыслей,— к сравнению возможной трактовки декабристов в романе Толстого с трактовкой образа Каина в поэме Байрона. «Я или Страхов» поняли бы такой роман правильно, т. е. не стали бы «доискиваться исторической правды». Но историческая-то правда в чем состоит?

Для Фета в том, что декабристы — преступники, Каины, что возвысить их — это все равно, что представить библейского убийцу «высоким героем и спасителем человечества», а его жертву — «свиньей». Все это Толстой, конечно, увидел в письме Фета. Но решительно поддерживая отношение своего корреспондента к «теперешним царубийцам» («мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества»), ни словом не поддержал Фета в его негативном отношении к декабристам, а только успокоил его: роман, дескать, «бог знает где теперь», «я о них и не думаю» и т. д.

Толстой не переставал думать о декабристах до конца своих дней, продолжая интересоваться их наследием, материалами, связанными с их деятельностью, порой говорил о своем желании вернуться к этой теме. 22 апреля 1904 года он писал Стасову: «Хотелось бы получить некоторые записки Декабристов, изданные за границей, именно: Трубецкого, Оболенского, Якушкина и вообще такие, которые не изданы в России» (т. 75, с. 86). Занимаясь Николаем I и «вообще деспотизмом, психологией деспотизма», Толстой собирался ее «художественно изобразить в связи с декабристами» (т. 75, с. 103). Летом 1904 года Г. М. Волконский сообщил Толстому о заметке, появившейся в «Новом времени»: «Как известно, по крайней мере по слухам, он (Толстой.— Л. Ф.) не нашел в фигурах декабристов достаточно характерных русских черт, да и вообще достаточной важности, чтобы можно было из них сделать центр большого эпического создания». Волконский спрашивал: «Неужели это верно?»¹ Толстой ответил категорически: «Декабристы более, чем кто-нибудь, занимают меня и возбуждают мое удивление и умиление» (т. 75, с. 134). Д. П. Маковицкий вспоминает, как 23 января 1905 года писатель, ознакомившись с документами о декабристах из Тайного архива, сказал: «Хотелось бы мне быть молодым, чтобы засесть за эту

¹ Волконский Г. М. «Новое время» и Лев Толстой о декабристах.— Освобождение (Штутгарт), 1904, № 55, с. 86.

работу»¹. А в 1908 году он писал П. Е. Щеголеву, что декабристы «всегда интересны и вызывают самые серьезные мысли и чувства» (т. 78, с. 163).

Высказывания Толстого о декабристах, относящиеся к последним годам жизни писателя и запечатлевшие итоги многолетних раздумий, отчетливо делятся на две группы. В одних случаях он оценивает их как исторических деятелей, обратившихся к революционным методам для достижения своих целей, и рассматривает их в ряду других русских революционеров, деятельность которых относилась как к предшествующим, так и к последующим эпохам. В других — в центре его внимания их моральный, нравственный облик, и тогда Толстой видит в них явление своеобразное и неповторимое.

31 августа 1896 года Толстой писал А. М. Калмыковой: «Со времен Радищева и Декабристов способов борьбы употреблялось два: один способ Стеньки Разина, Пугачева, Декабристов, революционеров 60-х годов, деятелей 1-го марта и других; другой... способ «постепеновцев»... состоящий в том, чтобы бороться на законной почве, без насилия, отвоевывая себе понемногу права» (т. 69, с. 128—129). Первый путь, с точки зрения Толстого, неприемлем. В случае успеха «новый, установленный насилием порядок вещей должен был бы непрестанно быть поддерживаемым тем же насилием, т. е. беззаконием, и, вследствие этого, неизбежно и очень скоро испортился бы так же, как и тот, который он заменил. При неудаче же, как это всегда было у нас, все насилия революционные, от Пугачева до 1-го марта, только усиливали тот порядок вещей, против которого они боролись». Но если это средство «кроме того, что безнравственно, — неразумно и недействительно», то «еще менее действительно и разумно» второе средство (т. 69, с. 129). Обоим этим средствам Толстой противопоставляет «простое, спокойное, правдивое исполнение того, что считаешь хорошим и должным», «отстаивание своих прав разумного и свободного человека» (т. 69, с. 132).

Несколькими годами позднее, давая в письме к В. Г. Черткову обзор «русских попыток недворцовых революций, начиная с 14 декабря» до конца XIX века, Толстой пришел к выводу, что все они «ни в коем случае не могли кончиться ничем иным, как только по-

¹ Маковицкий Д. П. Толстой в жизни. — Изд. 1955, т. II, с. 180.

гибелью многих хороших людей и самой жестокой реакцией со стороны правительства». Особенно показательно, с точки зрения Толстого, выступление декабристов. «Попытка революции 14 декабря, происходившая в самых выгодных условиях случайного междуцарствия и принадлежности к военному сословию большинства членов и в Петербурге и в Тульчине, и та не имела ни малейшего вероятия успеха, что чувствовали и признавали сами участники ее, и без малейшего усилия была задавлена покорными правительству войсками» (т. 88, с. 332). Деятельность революционеров не может, по мнению Толстого, «дать свободу людям потому, что под свободой революционеры понимают совершенно то же самое, что под этим словом разумеют правительства» (т. 88, с. 333). А для Толстого «свобода людей достигается не определением каких-либо прав, а только признанием всеми людьми незаконности, преступности, ненужности насилия» (т. 88, с. 334).

Но в эти же годы Толстой говорил о декабристах и другое, резко выделяя их из ряда революционеров, которые, как он неоднократно повторял, «отдаются этой явно бесполезной деятельности только потому, что ими руководит чувство спорта» (т. 55, с. 60). «Это были люди все как на подбор, как будто магнитом провели по верхнему слою кучи сора с железными опилками, и магнит их вытянул»¹.

Никто из писателей второй половины XIX века не отдал раздумьям над декабристами и работе над художественными произведениями, посвященными декабристской теме, столько лет, сколько их отдал Толстой. Но было много случаев, когда единичное, вроде бы спорадическое обращение к ней являет собой тем не менее важный и показательный момент творческой биографии того или иного русского писателя и дает возможность существенно уточнить наши представления о его общественном и художественном облике.

Мы не рискуем ошибиться, утверждая, что «Смех и горе» и «Кадетский монастырь» не принадлежат к тем произведениям Н. С. Лескова, которые находятся в центре внимания его исследователей. Между тем постановка в них декабристской темы, то, как обратился к ней Лесков,— все это должно быть учтено при самых общих суж-

¹ Маковицкий Д. П. Толстой в жизни.— Изд. 1955, т. II, с. 180.

дениях о его месте в литературной и общественной жизни своего времени.

Повесть «Смех и горе», присланную в начале 1870 года в редакцию «Русского вестника», сам автор определил как «разнохарактерное pot-pourri из пестрых воспоминаний полинявшего человека». Среди множества штрихов, которыми он обрисовал николаевскую эпоху, — время полновластного произвола тупых, ограниченных «голубых купидонов», то есть жандармов, всеобщего испуга, растерянности и приниженности, есть один, связанный с декабристами, точнее с превосходящим всякие разумные пределы стремлением властей вытравить какие-то следы восстания и самую память о нем.

В основу лег подлинный исторический факт: неприятности, которые принесло князю С. Г. Голицыну шутовское прозвище «Фирс». Поскольку по русским святцам 14 декабря празднуется память святого мученика Фирса, то возникло подозрение, не связано ли прозвище Голицына с событиями на Сенатской площади, и князю пришлось давать вполне серьезные объяснения по этому нелепому поводу.

У лесковского героя, прозванного Филимоном, находят книгу Рылеева «Думы». Само по себе это достаточно неприятно, но возникает подозрение, что этот факт связан с другим, ещё более страшным: с тем, что день святого Филимона приходится на 14 декабря. Владелец злосчастливого прозвища должен дать ответ перед допрашивающим его генералом. «Вас зовут *Филимон!*.. — воскликнул генерал. — Нам все известно: прошу не запыряться, а то будет хуже! Вас в нашем кружке зовут *Филимоном!*» Бедняга вынужден признать, что действительно «пришла когда-то давно одному моему знакомцу блажь назвать меня Филимоном, а другие это подхватили, находя, что имя *Филимон* мне почему-то идет...»

«А вот в том-то и дело, что это вам идет», — обрадовался генерал, установивший состав преступления, и тотчас объявил о решении отправить «Филимона» на военную службу, дабы не допустить еще более «дурной развязки». В ужасе от происходящего герой повествования пытается убедить генерала, что имя Филимон соответствует только внешним его свойствам, но генерал «подвинул свое лицо к моему лицу, нос к носу и, глядя мне инквизиторски в лицо», возвращается к страшному вопросу, когда празднуется день святого Филимона. «*Четырнадцатого декабря!* — произнес вслед за мною в некоем

ужасе генерал и, быстро отхватив с моих плеч свои руки, поднял их с трепетом вверх, над своею головою и, возведя глаза к небу, еще раз прошептал придыханием: «Четырнадцатого декабря!» — и, качая в ужасе головою, исчез за дверью, оставив меня вдвоем с его адъютантом»¹. Вся эта анекдотическая история рассказана Лесковым отнюдь не как анекдот. Она рассказана так, чтобы читатель ужаснулся окружающему его миру тупости, подозрительности и произвола, чтобы он задумался над тем, «как грустна наша Россия».

Повесть «Смех и горе» была недооценена современниками. Отчасти это объясняется тем, что непосредственно за ней последовал антинигилистический роман Лескова «На ножах» и отблеск негодования, вызванного им в демократических кругах, пал и на предшествующее произведение. Такой подход нуждается, конечно, в серьезных коррективах. Не углубляясь в самостоятельную и сложную проблему отношений Лескова с общественным движением его эпохи, напомним о той настойчивости, с которой он отвергал «обвинения в огульных нападках на революционеров и указывал, что отрицательно обрисовал он лишь нигилистов»².

Декабристы же были для Лескова именно революционерами, и мы располагаем рядом подтверждений того пиетета, с которым он к ним относился. В музее Лескова в Орле сохранились издания сочинений Рылеева и записок Розена с владельческим штампом «Редкость». Там же находится портрет эконома кадетского корпуса А. П. Боброва, под которым Лесков собственноручно написал рылеевское четверостишие:

Вот он — пред Вами — знаменитый,
Царь кухни, мрачных погребов,
Топленным жиром весь облитый,
Честнейший бригадир Бобров!³

Сын писателя А. Н. Лесков вспоминал: «Каждый год 13 декабря вечером отец говорил мне: «Ложась спать, помолись сегодня о погибших 14 декабря». Имена Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола я слышал в доме с

¹ Лесков Н. С. Собр. соч. в 11-ти томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1957, с. 448—451.

² Лесков А. Н. Н. С. Лесков по воспоминаниям сына — А. Н. Лескова (К 25 л. со дня кончины). — Вестник литературы, 1920, № 4—5 (16—17), с. 11.

³ См. об этом: Дмитрихина Л. Со штампом «Редкость». — Орловская правда, 1975, 24 декабря, № 299, с. 4.

детства, я с ними сросся, как сросся со священным уважением к казненным борцам за свободу. Когда мне исполнилось 14 лет, отец дал мне прочесть записки декабриста Розена, а некоторые отдельные места сам читал мне»¹.

Если в повести «Смех и горе» отчетливо проявился гуманизм Лескова, его заступничество за маленького человека, беззащитного перед своеволием жандармской тупости, то написанный десятью годами позднее «Кадетский монастырь» — произведение, где возвращение к событиям 1825 года слилось с одной из самых сокровенных лесковских тем — темой «праведника» и «праведничества». В основу этой вещи Лесков положил воспоминания бывшего кадета, позднее видного общественного деятеля Г. Д. Похитонова. От его имени ведется повествование, в центре которого — образ благородного и самоотверженного директора Первого кадетского корпуса М. П. Перского, кумира своих воспитанников.

Здание корпуса, в котором развернулись описанные Лесковым драматические события, было расположено против Исаакиевской площади, и лишь гладь покрытой льдом Невы отделяла кадетов от Сенатской площади. Когда восстание было подавлено, несколько раненых солдат Московского полка перешли по льду замерзшую реку и нашли приют в корпусе. Здесь их накормили и перевязали. Кадеты не считали, что сделали что-то «непозволительное и вредное», тем более что «Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова оуждения, а напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание». Но день 14 декабря оказался для кадетов «очень многопоследственным». Сострадание, проявленное ими к раненым, привело к тому, что сутки спустя в корпус пожаловал сам «государь Николай Павлович. Он был очень гневен». В вину было поставлено и то, что здесь «бунтовщиков кормили», и то, что «отсюда Рылеев и Бестужев»². Новый главный директор всех кадетских корпусов, назначенный год спустя, получил особое приказание «подтянуть» провинившееся заведение.

Несомненную симпатию к декабристам выразили и два других представителя либеральной беллетристики второй

¹ Вестник литературы, 1920, № 4—5 (16—17), с. 11.

² Лесков Н. С. Собр. соч. в 11-ти томах, т. 6, с. 323, 324.

половины XIX века: Я. П. Полонский в «Признании Сергея Чалыгина» и П. Д. Боборыкин в романе «На ущербе». Полонский устами своего юного героя несколько раз повторял, что его установка не включала анализа исторических событий, что его внимание было сосредоточено на психологии Сергея Чалыгина, на его восприятии происходящего. «Пусть другие собирают исторические факты и излагают перед вами причины и последствия 14 декабря; я не историк моего отечества, — я только историк впечатлений, вынесенных мною по милости этого дорогого мне отечества. Читатели мои увидят не более того, что я видел, и, быть может, поймут этот день никак не более, как понимал его тогда ваш юный слуга — Сергей Чалыгин...»¹ Между тем в действительности роман изображает исторические факты, хотя бы сквозь призму восприятия их героем романа, и тем самым дает им определенную трактовку.

По случайному стечению обстоятельств мальчик, отпущенный 14 декабря на прогулку в сопровождении крепостного дядьки Логина, становится очевидцем трагических событий этого дня: «...Какими-то судьбами, пробиваясь сквозь толпу, очутились мы на площади, в проходе между шеренгами выстроившегося войска». Сергей слышит топот кавалергардских коней, выстрелы, потом «целые залпы», от которых «рамы в окнах дрогнули, между ними посыпались осколки лопнувших стекол» (с. 282). Вечером он узнает, что восстание подавлено. Поначалу все, что случилось 14 декабря, видится ему романтическим приключением, а сам он кажется себе человеком, не то освободившимся из плена, не то воротившимся из дальнего путешествия. Ему, без сомнения, льстит, что он, со своими «детскими рассказами, быть может, преувеличенными по милости разгулявшегося воображения, между домашними стал предметом любопытства» (с. 289).

Но позднее он слышит два разговора, из которых ему открывается иной, глубокий смысл происшедших событий. И в обоих случаях слова, поразившие воображение мальчика, говорит декабрист Кремнев. Он выражает уверенность в том, что цели, за которые боролись декабристы, будут достигнуты несмотря ни на что:

¹ Полонский Я. П. Признание Сергея Чалыгина. — Полн. собр. соч., т. V. СПб., 1886, с. 276. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

«...Уверен, что многое заветное исполнится, до многого радостного и утешительного еще доживем мы с вами — и до освобождения крестьян, и до иного устройства наших судов, и до большей свободы печати... до всего еще доживем...» (с. 292). Слова «освобождение крестьян» особенно поражают воображение мальчика. «Освобождение! Какое освобождение? Разве они в тюрьме, в цепях, в плену? Разве они невольники? Что это значит?» (с. 293). Наконец он решается задать Кремневу мучивший его вопрос: «Александр Сидорович, неужели наши крестьяне не свободны?

— Да, не свободны, оттого что они рабы...

— Рабы, как рабы?

Кремнев объяснил.

— И Логин раб?— спросил я не без удивления.

— И Логин.

Помню, что когда, после этого небольшого разговора, я увидел вошедшего Логина,— я поглядел на этого приземистого старика и отца семейства так, как будто бы на лбу его хотел прочесть что-нибудь особенное. Раб! Я могу его продать, проиграть в карты, как говорил Кремнев, и от этой мысли что-то горячее прихлынуло к щекам моим. До сей поры никогда ничего подобного не приходило мне в голову... Кремнев первый дал мне понять всю силу и безнравственность будущих прав моих над людьми» (с. 294).

Другое важное суждение слышит Сергей Чалыгин из уст Кремнева во время его беседы с баронессой Баффель, которая возмущается известием об отстранении от власти всесильного при Александре I наместника Аракчеева, которого называет «великим, гениальным государственным человеком». «...Не будь у нас этого великого человека,— возражает ей Кремнев,— и не создай он целую массу таких же, как он, маленьких Аракчеевых, то есть таких же деспотов, для которых, кроме их личного произвола, не существует никаких законов, ни божеских, ни человеческих,— не было бы и тех происшествий, о которых вы упомянули и о которых все вспоминают не иначе, как с великим сокрушением» (с. 311).

Именно благодаря Кремневу герой романа начинает глубже и правильнее понимать происходящее. Ощущается сильное влияние декабриста и на других, на всех, кто его окружает («Кремнев, видно, успел заслужить любовь не одну мою»). Понятно, как поразило Сергея известие об аресте Кремнева: «Какой-то испуг охватил

меня — и слезы застыли у меня на лице» (с. 336). Все, что произошло, начинает представляться герою уже не интересным приключением, а подлинной трагедией. Пребывание на Сенатской площади 14 декабря перерастает в его сознании в какое-то участие в восстании: «Мне не шутя мерещилось, что я бунтовщик, что Кремнев взят по ошибке и что скоро узнают, что это я с Логиным, а не Кремнев — был на площади» (с. 338).

Из многих страниц, которые посвятили декабристской теме беллетристы второй половины XIX века, написанное Полонским отмечено наибольшей психологической достоверностью и особенно ярко выраженным сочувствием деятельности дворянских революционеров.

Симпатизировал декабристам и Боборыкин. Образ Семена Александровича Бахтурина, вернувшегося из ссылки декабриста, выведенный в романе «На ущербе», дает ценный материал для раздумий об отношении писателя не только к революционерам 20-х годов, но и к своим современникам. Главное для характеристики Бахтурина — монолог, во время которого он критически отзывается о «добровольном бездействии» народника Евмения Кустарева, оставившего кафедру. Он говорит: «...Потому-то все так рыхло, без контрабаса в оркестре, что хорошие люди никакой ценности не имеют, горячатся без разума, уклоняются от дела, а плуты, невежды и гасильники подбирают все, что плохо лежит. Профессуру потерял Евмений, а на своем народолюбии ничего не выиграет. До сих пор ни он, ни другие, подобные ему, не хотят понять, что простой народ — против них; а они-то его обсахаривают... Мы не так рассуждали и чувствовали. Ошиблись, сунулись рано, спору нет, но мы надеялись на себя. Мы почитали ум, истину, ученость, талантливость, породу и не ставили себя ниже черни, от себя самих не отрекались».

В этих словах звучит уже упрек не одному лишь «бездействию» Кустарева, но и народничеству в целом, которое, дескать, «отрекается» от себя, заискивая перед чернью. Но Боборыкин идет и дальше. Устами Бахтурина он порицает террористическую деятельность семидесятников. Мы, утверждает он, «и в поступках имели благородство... в выборе средств. А нынче — ломом хватим — и никаких разговоров, из-за угла или в западне... Лом! — повторил брезгливо старик. — Мы ломом-то руду ломали на каторге, а не человеческое тело, не людей, себе подобных, хотя бы и лютых врагов наших...»

Герой романа Ермилов думает по этому поводу: «Молодцы были!.. Богатыри. Это после двадцатилетней-то работы в цепях!» Он мысленно сравнивает представителей трех поколений: «Три поколения, декабрист, человек шестидесятих годов и классик-гимназист восьмидесятых»¹. И отдает предпочтение декабристу.

И Полонский, и Боборыкин затрагивают, таким образом, одну проблему — проблему воздействия декабристов на молодое поколение. При этом у Боборыкина явно дает себя знать противопоставление декабристов народникам. Он не только не уловил преемственной связи между двумя поколениями в русском освободительном движении, но и апеллировал к взглядам дворянских революционеров, чтобы дискредитировать деятельность своих современников.

* * *

Наше рассмотрение того, как русская литература и русское общество осмысливали социальный и этический феномен декабризма, страдало бы существенной неполнотой, если бы мы не уделили специального внимания трактовкам, которые давались во второй половине XIX века комедии Грибоедова «Горе от ума». Для русского читателя и зрителя Чацкий — одно из наиболее сильных и художественно совершенных воплощений идеи и морали декабризма. Оценка жизненной позиции Чацкого не могла не быть в той или иной мере оценкой деятельности его поколения, его лагеря, его единомышленников. Особенно важное место заняла проблематика «Горя от ума» в идейном мире Гончарова и Достоевского, но прежде чем обратиться к этим писателям, надо хотя бы в общих чертах представить себе обстановку, в которой сложились и были высказаны их мысли о Чацком.

Через несколько лет после того, как амнистия 1856 года сделала менее запретными, по крайней мере, скрытые напоминания о декабристах, появилась статья Ап. Григорьева «Горе от ума» Грибоедова (По поводу нового издания старой вещи). Критик писал: «...Чацкий до сих пор единственное героическое лицо нашей литературы. Пушкин провозгласил его неумным человеком, но ведь героизма-то у него не отнял, да и не мог отнять. В уме

¹ Боборыкин П. Д. На ущербе.— В кн.: Боборыкин П. Д. Собр. романов, повестей и рассказов, т. V. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1897, с. 38—39.

его, т. е. практичности ума людей закалки Чацкого он мог разочароваться, но ведь не переставал же он никогда сочувствовать энергии падших борцов. «Бог помочь вам, друзья мои!» — писал он к ним, отыскивая их сердцем всюду, даже в мрачных пропастях земли». Прошло так мало времени с момента, когда уцелевшие «борцы» вернулись из «мрачных пропастей земли», так на памяти у всех было это событие, что яснее сказать о духовном родстве Чацкого и декабристов было невозможно.

«Чацкий,— говорит далее Ап. Григорьев,— кроме общего своего героического значения, имеет еще значение историческое. Он порождение первой четверти русского XIX столетия, прямой сын и наследник Новиковых и Радищевых, товарищ людей «вечной памяти двенадцатого года», могущественная, еще глубоко верующая в себя и потому упрямая сила, готовая погибнуть в столкновении с средою, погибнуть хоть бы из-за того, чтоб оставить по себе «страницу в истории»¹. Здесь каждое слово пронизано декабристским мироощущением. Здесь рылеевские мысли о своем предназначении: ценой своей гибели купить свободу. Здесь восклицание юного Александра Одоевского, вырвавшееся у него накануне восстания: «Ах, как славно мы умрем!» Здесь сказано все, что было нужно, чтобы читатель услышал слово, еще запретное по цензурным соображениям.

Но, запретное в России, оно громко звучало в изданиях Вольной русской типографии. Огарев в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература» характеризовал Чацкого как человека, который представляет «негодование, ненависть к существующему правительственному складу общества», говорил, что «время Чацкого и Онегина, время Рылеева и Пестеля разразилось 14 декабря...»².

В отличие от Белинского, а также Чернышевского и Добролюбова, следовавших за ним в оценке «Горя от ума»³, Огарев и идейный смысл, и могучее воздействие комедии связывал именно с образом Чацкого. «...Все лица сгруппированы около него; он самый рельефный образ в целой комедии и один стоит на первом плане. От этого и громадное впечатление, которое «Горе от ума» имело

¹ Григорьев Ап. Собр. соч. под ред. В. Ф. Саводника, вып. 5. М., 1915, с. 12, 18.

² Огарев Н. П. Избр. произведения, т. II, с. 477, 479.

³ См. об этом: Дмитриуц Е. Я. Огарев о комедии Грибоедова «Горе от ума». — Литература в школе, 1959, № 5, с. 19—20.

в то время при чтении и после, на театре, принадлежит собственно Чацкому, как лицу, сосредоточивающему на себе общественное страдание и движение своего времени».

Конечно, у читателя — да еще в контексте именно этой статьи — не могло не возникнуть сомнения в том, какое общественное движение имеет в виду автор. Но Огарев идет дальше: полемизируя с Пушкиным, который считал неестественным поведение Чацкого, высказывавшего свои душевные мысли Фамусовым и Скалозубам, Огарев апеллирует к социальному поведению декабристов, каким оно запечатлелось в его памяти. «...Вспоминая, как в то время члены тайного общества и люди одинакового с ними убеждения говорили свои мысли вслух везде и при всех, дело становится более чем возможным — оно исторически верно. Энтузиазм во все эпохи и у всех народов не любил утаивать своих убеждений, и едва ли нам можно возразить, что Чацкий не принадлежит к тайному обществу и не стоит в рядах энтузиастов...»¹

Спустя три года огаревская формула об энтузиасте Чацком была подхвачена Герценом, который развил ту же мысль, придав ей еще более законченное, чеканное выражение: «Энтузиаст Чацкий (герой комедии Грибоедова), декабрист в глубине души...»². А незадолго до смерти заявил еще категоричнее и тверже: «Если в литературе сколько-нибудь отразился, слабо, но с родственными чертами, тип декабриста, — это в Чацком»³.

Из твердого убеждения в том, что Чацкий — это воплощение декабризма, исходил и А. С. Суворин, посвятивший герою грибоедовской комедии значительное место в своей бойко и темпераментно написанной статье «Недельные очерки и картинки», которую под псевдонимом «Незнакомец» напечатал в 1871 году в «Санкт-Петербургских ведомостях»⁴. В дни, когда писалась эта статья, поворот Суворина к «беспардонному лакейству» был еще впереди, но он уже далеко не тот «либеральный и даже демократический журналист, с симпатиями к Белинско-

¹ Огарев Н. П. Избр. произведения, т. II, с. 477—478.

² Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVIII, с. 183.

³ Там же, т. XX, кн. I, с. 342.

⁴ Как установил Н. К. Пиксанов, статья Суворина была посвящена той самой постановке «Горя от ума» 10 декабря 1871 г. в бенефис Монахова, на которую откликнулся и Гончаров в «Миллионе терзаний» (см.: Пиксанов Н. К. «Горе от ума» в творчестве Гончарова.— В кн.: А. С. Грибоедов. 1795—1829. Сб. статей. М., Гос. лит. музей, 1946, с. 118).

му и Чернышевскому, с враждой к реакции»¹, каким он начал свой путь в 50—60-х годах. В статье явственно сказалось и то, что связывало Суворина с его вчерашним днем, и то, что предсказывало завтрашний.

Напомним о том, что Грибоедов «был замешан в деле декабристов», сославшись на «обнародованные в последнее время записки» деятелей тайных обществ, Суворин говорит: «Кто читал эти записки, кто вникал в характер эпохи двадцатых годов, тот не затруднится признать в Чацком яркого представителя тогдашнего прогрессивного движения. Это не заговорщик, не политический деятель, но человек, близкий им по убеждениям, попадающий в московское общество прямо из-за границы, с свежими впечатлениями, с неостывшим духом свободы, какого он понабрался там».

Здесь очень существенно противопоставление: «представитель тогдашнего прогрессивного движения», но «не заговорщик», Чацкий, каким видит его Суворин, не революционер, а поклонник реформ. Критик проводит прямую аналогию между героем грибоедовской комедии и теми кругами русского общества, которые после смерти Николая I прониклись верой в возможность общественных перемен и «изливали» по этому поводу «красноречивые монологи». «...Чацкий,— говорит Суворин,— являлся у Грибоедова не лицом выдуманным, а лицом, которое существовало в жизни, которое было представителем части общества, желавшей реформ со всем пылом и нетерпением молодости. Если б не тогдашние цензурные условия, которые Грибоедов, конечно, принимал во внимание, Чацкий мог явиться у него в комедии еще более живым типом не с одним отрицанием, а и с положительными идеалами. Грибоедов не сделал ошибки, выставив подобное лицо, а напротив сохранил живой тип двадцатых годов».

Суворин признает, что «деятели тогдашнего прогрессивного направления отличались благородством характера, горячностью, экспансивностью», и вместе с тем поглядывает на них как бы свысока. «...Молодость самонадеянна и преувеличивает свои силы,— снисходительно замечает он.— Если хотите, став на эту точку зрения, можно признать за «Горем от ума» не только сатиру на все затхлое и скверное, что копошилось и жило в обществе, но и сатиру на самих декабристов, которые бра-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 43.

ли на себя дело непосильное, которые слишком самонадеянно брались преобразовать Россию, когда общество уничтожило их одною сплетнею об их сумасшествии»¹.

Высказывания критиков и разыскания историков, публикации новых источников, появившихся в русской печати, привели и к новым сценическим трактовкам «Горя от ума» и главного героя комедии. Специалисты отмечают, что для театра 1880-х годов было показательно «снижение не только в «Горе от ума», но и в других спектаклях остроты сатирического, обличительного и — шире — героического начала»². Но были исполнители, которые шли против этой тенденции. Так, А. И. Южин, дебютировавший в роли Чацкого в 1882 году, «с каждым сезоном все больше и больше выявлял идейное содержание великой комедии. Благодаря этому в его игре постоянно усиливались ноты негодования и возмущения не только против фамусовского общества, но и против самодержавно-крепостнического строя в целом. Сочетая в своем Чацком мильон терзаний мысли с мильоном терзаний чувств, Южин был первым, кто своей трактовкой роли заставлял вспоминать декабристов и этим поднимал общественное значение спектакля «Горе от ума» в Малом театре»³. В. Михайловский, видевший Чацкого-Южина в 1889 году, вспоминал, как «по мере хода спектакля А. И. все более и более овладевал сердцами слушателей, и мои мысли невольно вращались около декабристов, погибших также жертвами непонимания косной дворянской и чиновной среды»⁴.

Среди других актеров, которые «подчеркивали в Чацком борца», называются имена П. В. Самойлова в Петербурге, А. И. Слонова в Саратове, М. Ф. Ленина в Москве. П. М. Садовский, игравший Чацкого в Малом театре, «давал почувствовать, как личная драма обостряет негодование Чацкого не только против низкопоклонства, зло-

¹ Санкт-Петербургские ведомости, 1871, 12 декабря, № 342, с. 1.

² История русского драматического театра, т. 6. М., Искусство, 1982, с. 71.

³ Филиппов В. А. «Горе от ума» А. С. Грибоедова на русской сцене. М., Знание, 1954, с. 20. Подробнее об этом см.: Филиппов В. А. Актер Южин. Опыт характеристики. М.—Л., ВТО, 1941, с. 109—115.

⁴ Михайловский В. Первые шаги первого трагика русской сцены (Из воспоминаний молодости).— В кн.: А. И. Южин. Малый театр. 1882—1922. М., 1922, с. 58.

словия, но и против самодержавно-крепостнического строя в целом»¹.

В этом широком контексте и должны быть рассмотрены высказывания о Чацком Гончарова и Достоевского. Оба они определенно и недвусмысленно увидели в нем декабриста, хотя оценки, данные ими герою грибоедовской комедии, оказались разительно несходны.

На протяжении долгого времени представление о Гончарове как о человеке политически индифферентном, о цензоре, ревностно проводившем официальную линию, редакторе реакционной «Северной почты», неприязнь писателя к «нигилизму», идеализация помещичьей среды, давшая знать себя в «Обрыве», — все это препятствовало объективному пониманию вопроса об отношении Гончарова к декабристам. Начало такому пониманию было положено содержательной статьей О. А. Демиховской «И. А. Гончаров и декабристы». Автор напоминает, в частности, о декабристах и людях, близких им по настроениям, которые составляли окружение писателя в годы его юности. «Интерес и симпатии Гончарова к декабристам, — пишет она, — укрепились в первой половине 30-х годов, когда Гончаров, будучи студентом словесного факультета Московского университета, сам составлял часть той «компактной массы товарищества», в которой царил культ декабристов, дух романтического протеста»².

Позднее Гончарову довелось во время путешествия по Сибири общаться с находившимися там участниками восстания. По словам писателя, он «перебывал у всех декабристов, у Волконских, у Трубецких, у Якушкина и других»³. Он не скрывает своего восхищения твердостью и духовной несломленностью Волконского, который «как будто застыл государственным преступником... Как вы думаете, о чем просил меня этот неисправимый декабрист на прощанье: «Не возите нам ничего другого, — сказал он, — только запрещенных книг»... Каков радикал!»⁴

Как неоднократно отмечалось в литературе, поездка Гончарова по Сибири явилась важным этапом творческой истории романа «Обрыв», в котором нашли себе место

¹ Филиппов В. А. «Горе от ума» А. С. Грибоедова на русской сцене, с. 22.

² Русская литература, 1975, № 4, с. 109.

³ Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М., Художественная литература, 1978, с. 493. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

⁴ Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 7, М., Гослитиздат, 1954, с. 527.

вдохновенные слова, выразившие восхищенье подвигом, который совершили и декабристы, и их жены: «С такою же силой скорби шли в заточение с нашими титанами, колебавшими небо, их жены, боярыни и княгини, сложившие свой сан, титул, но унесшие с собой силу женской души и великой красоты, которой до сих пор не знали за собой они сами, не знали за ними и другие и которую они, как золото в огне, закаляли в огне и дыме грубой работы, служа своим мужьям — князьям и неся и их и свою «беду».

И мужья, преклоняя колена перед этой новой для них красотой, мужественнее несли кару. Обожженные, измощенные трудом и горем, они хранили величие духа и сияли, среди испытания, нетленной красотой...» (т. 6, с. 319—320).

Этот фрагмент из «Обрыва» стал позднее темой переписки Гончарова с Некрасовым. Восхищаясь «Русскими женщинами» и благодаря поэта за присылку экземпляра поэмы, Гончаров писал: «...Намек в нескольких строках в моей книге на этих героинь — такая ничтожная капля, что — ради бога — и не упоминайте о ней. Я привел его на память только как доказательство того, как судьба этих женщин сильно действует на воображение — что я вспомнил о них наряду с другими сильными историческими женщинами, а Вы избрали их судьбу и характеры сюжетом для целой поэмы! Впоследствии другие будут, вероятно, делать из них статуи, драмы и т. д. Это самый благодарный предмет для искусства, а теперь, пока близко, нужно, к сожалению, соблюдать осторожность» (т. 8, с. 399).

Гончаров, бесспорно, был осторожнее, чем Некрасов. Но это не помешало ему ни назвать декабристов «нашими титанами, колебавшими небо», ни выразить свое отношение к ним, хоть и не прямо, но совершенно недвусмысленно — в статье «Милльон терзаний». М. В. Нечкина, анализируя эту статью, акцентировала факт большого значения: за год до ее появления вышла в свет книга А. Н. Пыпина «Общественное движение в России при Александре I», «первая монография, посвященная декабристам». Она помогала правильно понять ту «сеть намеков и сопоставлений», которую сплел в своей статье Гончаров, не хотевший говорить прямо в силу цензурных условий¹.

¹ Нечкина М. В. А. С. Грибоедов и декабристы. Изд. 3-е, с. 17—18.

Говоря о бессмертии комедии «Горе от ума» и ее героя, Гончаров противопоставляет его Онегину и Печорину. Они «каменеют... в неподвижности, как статуи на могилах» (т. 8, с. 19), между тем как Чацкий — «искренний и горячий деятель, а те — паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век — и в этом все его значение и весь «ум» (т. 8, с. 24—25). Интересно отметить, что и Герцен раскрывал специфику образа Чацкого как декабриста в сопоставлении с образами «лишних людей». «Чацкий, — писал он, — шел прямой дорогой на каторжную работу, и если он уцелел 14 декабря, то, наверно, не сделался ни страдательно тоскующим, ни гордо презиращим лицом» (т. XX, с. 342). Суждения Гончарова в чем-то продолжают ход герценовской мысли.

«Горе от ума» для Гончарова — не только вершина русской драматургии, но и произведение, запечатлевшее важный, переломный момент истории общественной жизни в России, «тогдашний ее дух, исторический момент и нравы» (т. 8, с. 21). Содержание комедии — «борьба, важная и серьезная, целая битва» (т. 8, с. 28). И чтобы у читателя не осталось никаких сомнений в том, как велик масштаб этой борьбы, Гончаров так развивает свою мысль: «Нужен был только взрыв, бой, и он завязался, упорный и горячий — в один день, в одном доме, но последствия его, как мы выше сказали, отразились на всей Москве и России. Чацкий породил раскол и если обманулся в своих личных целях, не нашел «прелестив встреч, живого участия», то брызнул сам на заглохшую почву живой водой, — увезя с собой «миллон терзаний», этот терновый венец Чацких...» (т. 8, с. 40). Терновый венец их в том, что они, передовые воины, застрельщики, редко могут видеть плоды своих усилий. Чацкие неизбежны «при каждой смене одного века другим», но лишь «очень немногим просветленным Чацким дается утешительное сознание, что они недаром бились — хотя и бескорыстно, не для себя и не за себя, а для будущего, и за всех, и успели» (т. 8, с. 43).

Чацкий дорог Гончарову и тем, что он дал возможность критику, хоть исподволь, коснуться проблем своего времени в трудную для него пору, когда он подвергся суровым нападкам за «антинигилистические» тенденции романа «Обрыв». Чацкий, по Гончарову, человек, неспособный на «бессмысленное отрицание» во имя «неизвест-

ного идеала» и «обольщения мечты». Его программа выработана «не им, а уже начатым веком. Он не гонит с юношеской запальчивостью со сцены всего, что уцелело, что, по законам разума и справедливости, как по естественным законам в природе физической, осталось доживать свой срок, что может и должно быть терпимо» (т. 8, с. 41—42). Все это говорится, конечно, в поучение людям 70-х годов, которым в борьбе за осуществление собственных программ не грех бы, по мнению Гончарова, оглянуться на Чацкого.

Особенно показателен факт, что продолжателя дела Чацкого, человека, который, подобно Чацкому, «страдал от «милльона терзаний», Гончаров видит в Герцене, деятеле, «разбуженном» декабристами и ставшем глашатаем дворянской революционности. «...Вспомним его стрелы, бросаемые в разные темные, отдаленные углы России, где они находили виноватого. В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого» (т. 8, с. 44).

Проблематика «Горя от ума» всколыхнула что-то глубинное, что крылось в духовном мире Гончарова, и его статья о комедии позволила ощутить в нем то, чего, казалось, трудно было ждать. Как отметил В. И. Кулешов, «неожиданно оказывалось, что не штольцы и тушины, а именно Чацкие были теми героями, которые всегда говорили в России всемогущее слово «вперед»¹.

Достоевский смотрел на Чацкого совершенно иначе, но и его грибоедовский герой побудил высказать несколько мыслей, глубинных и сокровенных, позволяющих правильнее представить себе его взгляды на настоящее и прошлое России. Не учитывая того, что Достоевский говорил о Чацком, нельзя разобраться в его отношении к дворянской революционности. С другой стороны, и отношение к Чацкому должно быть увидено в контексте всего, что мы знаем о восприятии писателем идеологии и революционной практики декабристов.

Насколько можно судить по дошедшим до нас материалам, молодого Достоевского декабристы занимали мало. Деятельность кружка Петрашевского, видимо, не представлялась ему продолжением того, что делали в свое время участники тайных обществ. Попав на каторгу, Достоевский встречается с женами декабристов, что, бес-

¹ Кулешов В. И. История русской критики XVIII—XIX веков. Изд. 2-е, испр. и доп. М., Просвещение, 1978, с. 380.

спорно, не могло не натолкнуть его на размышления о событиях, предшествовавших появлению этих женщин в Сибири. Но когда он рассказывал об этих встречах в «Дневнике писателя» спустя четверть века, его внимание было приковано не к героизму мужей, а исключительно к самоотверженности жен. «Мы увидели этих великих страдалец, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь,— вспоминал он.— Они бросили все: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья»¹.

Позднее, находясь за границей, Достоевский, как об этом свидетельствует дневник А. Г. Достоевской, читает «Полярную звезду», которая была одним из важных источников его сведений о декабристах. Достоевский хорошо осведомлен о том, кто из них жив, а кто нет. В 1870-е годы Достоевский особенно много и напряженно размышляет о революциях и революционерах, его обращения к истории революционной мысли и освободительного движения стимулируются современностью, и день минувший неизменно сопрягается в этих размышлениях с нынешним днем.

Движение декабристов виделось Достоевскому как одно из многочисленных звеньев в длинной цепи заблуждений, явившихся отдаленным следствием петровских реформ. Тогда и было, по его мнению, положено начало противоестественному переносу на русскую почву западноевропейских идей, приведшему к разрыву зараженной этими идеями русской интеллигенции с народом, и разрыв этот длится по сей день. В «Записной тетради 1872—1875 гг.» сохранились наброски Достоевского для статьи на эту тему. Один из этих набросков заключает в себе, как можно полагать, основной тезис этой статьи, и на полях против него имеется помета: «Идея». Вот его текст: «Вся интеллигенция России, с Петра Великого начиная, не участвовала в прямых и текущих интересах России, а всегда тянула дребедень отвлеченно-европейскую (Александр I, Мордвиновы, Сперанские, декабристы, Герцены, Белинские и Чернышевские и вся современная дрянь)» (т. XXI, с. 267).

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. XXI. Л., Наука, с. 12. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

В другом месте, поминая «историю перевоплощения разных европейских идей в лицах русского дворянства», Достоевский наряду с масонами и «перевоплощением Пушкинского Сильвио, взятого из Байрона», называет и «зачатки декабристов»¹.

Тем не менее отношение Достоевского к декабристам никогда не было однозначно отрицательным. Включая их деятельность в число «ошибок, происшедших от грубой реформы Петра, основанной на презрении к самостоятельности исторической России», он здесь же называет их «лучшими людьми» и подчеркивает: «Без лучших людей невозможно»². «14 декабря было диким делом западного уродливого, зачем мы не лорды?» — и тут же красноречивое признание: «Меж тем с исчезновением декабристов — исчез как бы чистый элемент из дворянства. Остался цинизм: нет, дескать, честно-то, видно, не проживешь» (т. XXIV, с. 82). «Что такое 14 декабря? Бунт русских помещиков, пожелавших стать лордами, тем не менее к ним примкнуло все великодушное и молодое»³.

Но, субъективно «чистые», «великодушные», декабристы были обречены, ибо отрыв от народа лишал их возможности видеть происходящее в правильном свете, а их планы — малейших шансов на успех. «Они исчезли бы, не продержавшись и двух-трех дней. Михаилу, Константину стоило показаться в Москве, где угодно, и все бы повалило за ними» (т. XXIV, с. 82). «Бьюсь об заклад, — говорит Шапошников (в черновых записях к «Бесам»), — что декабристы непременно бы освободили тотчас русский народ, но непременно без земли — за что им непременно сейчас же народ свернул (бы) головы и тем бы доказал им, что не одно их московское общество составляет Россию — к величайшему их удивлению» (т. XI, с. 88).

В январе 1877 года Достоевский поместил в «Дневнике писателя» развернутое и вдумчивое рассуждение, повод к которому дала передовая статья, появившаяся в «Петербургской газете». Ее автор (видимо, редактор газеты И. А. Баталин) развивал идею о «мельчании» тех, кого он именует «субъектами политических преступлений в России», и, в частности, утверждал, что если в 20-е го-

¹ Цит. по кн.: Гроссман Л. Библиотека Достоевского. Одесса, Книгоиздательство А. А. Ивасенко, 1919, с. 85.

² Литературное наследство, т. 83. Неизданный Достоевский. М., Наука, 1971, с. 316.

³ Там же, с. 430.

ды таковыми были «люди, выходившие из среды высшего, интеллигентного общества (декабристы), то в 40-х годах тип русского политического преступника стал мельче («петрашевцы»)»...

Достоевский, сочувственно принявший «мысль автора о ничтожности у нас революционной пропаганды», подчеркнул, однако, что «коренное изменение типа политического преступника произошло у нас лишь за последние двадцать лет», иными словами, он относит его ко времени, когда дворянский период в русском освободительном движении сменился разночинским, «но петрашевцы были совершенно еще одного типа с декабристами, по крайней мере по тем существенным признакам типа, на которые указывает сам автор статьи. Автор говорит, что декабристы были люди, «выходившие из среды высшего интеллигентного общества». Но чем же иным были петрашевцы? В составе декабристов действительно, может быть, было более лиц в связях с высшим и богатейшим обществом; но ведь декабристов было и несравненно более числом, чем петрашевцев, между которыми было тоже немало лиц в связях и в родстве с лучшим обществом, а вместе с тем и богатых. К тому же высшее общество нисколько ведь не сочувствовало замыслу декабристов, и в нем не участвовало даже и косвенно, так что с этой стороны не могло им придать никакого особого значения. Тип декабристов был более военный, чем у петрашевцев, но военных было довольно и между петрашевцами. Одним словом, я не знаю, в чем видит различие автор. И те, и другие принадлежали бесспорно совершенно к одному и тому же *господскому*, «*барскому*», так сказать, обществу, и в этой характерной черте тогдашнего типа политических преступников, то есть декабристов и петрашевцев, решительно не было никакого различия. Если же между петрашевцами и было несколько разночинцев (крайне немного), то лишь в качестве людей образованных, и в этом качестве они могли явиться и у декабристов. Вообще же говоря, мещане и разночинцы не могли бы быть ни у декабристов, ни у петрашевцев в значительном числе. Что же до «интеллигентности», как высшего качества декабристов над петрашевцами, то в этом автор совсем уже ошибся: общество декабристов состояло из людей, несравненно менее образованных, чем петрашевцы» (т. XXV, с. 24—25).

Мы сочли необходимым привести эту, может быть, чрезмерно длинную цитату, потому что она дает мате-

риал для весьма существенных выводов и в каких-то отношениях уточняет то, что мы знаем об отношении Достоевского к декабристам из других источников. Прежде всего, не оставляет сомнений, что эти строки были результатом длительных и напряженных раздумий над декабристами, можно сказать, изучения декабристов. Хотя к петрашевцам Достоевский принадлежал сам и мог во многом опираться на личные впечатления и воспоминания, взвешенность его сопоставлений убеждает, что он представлял себе русских революционеров 20-х годов не хуже, чем деятелей следующего поколения борцов с царизмом. Во-вторых, хотя Достоевский всегда видел в декабристах представителей дворянства, интеллигентного барства и много раз это подчеркивал и исходил из этого в своих оценках движения, он видел, оказывается, и другое, он видел противоречие между позициями дворянства в целом и «лучших людей из дворян» и акцентировал, что «высшее общество несколько ведь не сочувствовало замыслу декабристов и в нем не участвовало даже и косвенно...». Наконец, в противовес опять-таки характерным и повторяющимся у Достоевского утверждениям, что «тип русского революционера» в основе своей неизменен, что «революционеры наши говорят не то и не про то, и это целое уже столетие» (т. XXV, с. 26), и готовности изливать на предшествующие поколения революционеров то раздражение, которое вызывали у Достоевского его современники, здесь резче и определеннее, чем где-либо, Достоевский говорит о «коренном изменении типа политического преступника» и становится, или, по крайней мере, пытается стать, на путь конкретно-исторического подхода к этому процессу.

Это очень важно иметь в виду, потому что хотя революционный путь решения стоявших перед Россией проблем был Достоевскому чужд, к разным поколениям в русском революционном движении он относился по-разному. А. В. Архипова справедливо объясняла этим различие в отношении автора «Бесов» к Верховенским — отцу и сыну: «Как ни снижен Степан Трофимович Верховенский, все-таки при сравнении с Петром Степановичем он оказывается на какой-то моральной высоте, уже хотя бы потому, что это искренний и сомневающийся человек». Если отсутствие сомнений в правильности избранного пути представлялось писателю признаком узости и ограниченности, то «мучительные сомнения в себе, поиски правды были в значительной степени характерны для рево-

людионеров первого этапа, и искренность, честность, чистота помыслов этих людей не отрицалась Достоевским даже в пору создания «Бесов»¹.

Отношение Достоевского к декабристам всегда было двойственным. С одной стороны, он осуждал их как революционеров, считал их программу и их деятельность трагическим результатом оторванности русской интеллигенции от народа и неоправданным перенесением на русскую почву западных идей. С другой — ему imponировали их личные качества, их самоотверженность, чистота их исканий. В разные периоды Достоевский подчеркивал разные стороны своего отношения к декабристам. Это отчетливо проявилось и в тех оценках, которые Достоевский давал образу Чацкого, всегда воплощавшего в его глазах тип декабриста.

В 1862—1863 годах, когда создавались «Зимние заметки о летних впечатлениях», Достоевский писал: «Чацкий — это совершенно особый тип нашей русской Европы, это тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве, а между тем все-таки уехавший опять в Европу, когда надо было сыскать, «где оскорбленному есть чувству уголок...» — одним словом, тип совершенно бесполезный теперь и бывший ужасно полезным когда-то. Это фразер, говорун, но сердечный фразер и совестливо тоскующий о своей бесполезности. Он теперь в новом поколении переродился, и мы верим в юные силы, мы верим, что он явится скоро опять, но уже не в истерике, как на бале Фамусова, а победителем, гордым, могучим, кротким и любящим. Он сознает, кроме того, к тому времени, что уголок для оскорбленного чувства не в Европе, а, может быть, под носом, и найдет, что делать, и станет делать» (т. V, с. 61—62). «Чацкий был человек очень умный», но «бедоручничество» (с. 62), неумение «по одному шагу шагать», стремление «прямо одним шагом перелететь до цели» и привели к тому, что он не нашел себе дела. «Однако ж Чацкий очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять за границу: промешкал бы маленько — и отправился бы на восток, а не на запад» (т. V, с. 62).

Прочитав в газете «Эпоха» в статье Д. В. Аверкиева «Значение Островского в нашей литературе» упоминание

¹ Архипова А. В. Дворянская революционность в восприятии Ф. М. Достоевского. — Литературное наследие декабристов, с. 230.

о Чацком, который охарактеризован как «единственное историко-героическое лицо (хотя и не русское)», Достоевский возразил: «Почему же не русское? Или все, что у нас есть оторванного цивилизацией от народного быта,— уже не русское? Напротив, тип Чацкого только и дорог нам тем, что это изображение *русского*, оторванного от народного быта. Иначе, что ж бы он для нас значил? Это доказывается отчасти уже симпатичностью для нас этого типа и непрерывною его повторяемостью в нашей литературе» (т. XX, с. 229).

Чацкий, ставший предметом спора между Шапошниковым и Грановским в подготовительных материалах к «Бесам», получает иную и значительно более резкую оценку: «Чацкий и не понимал, как ограниченный дурак, до какой степени он сам глуп... Он был барин и помещик, и для него, кроме своего кружка, ничего и не существовало. Вот он и приходит в такое отчаяние от московской жизни высшего круга, точно, кроме этой жизни, в России и нет ничего. Народ русский он проглядел, как и все наши передовые люди, и тем более проглядел, чем более он передовой. Чем больше барин и передовой, тем более и ненависти — не к порядкам русским, а к народу русскому. Об народе русском, об его вере, истории, обычае, значении и громадном его количестве — он думал только как об оброчной статье. Точно так думали и декабристы...» (т. XI, с. 86—87).

Как ни гневна эта тирада, все же в ней находит себе место и доброе слово о Чацком, оговорка, как-то смягчающая предшествующую характеристику: «Но пусть он глуп — зато у него сердце доброе. Пусть он недалекий — зато мысль его все-таки оригинальна. Тогда все эти тирады против Москвы все-таки были оригинальны. Но вы-то, вы-то что, повторяя это теперь?» (т. XI, с. 87). Достоевский готов смягчить приговор, вынесенный Чацкому, при условии, что его тирады были данью своему времени, ушли с ним в прошлое и никак не могут сегодня никого ничему полезному научить.

Поэтому его должна была чрезвычайно раздражать та оценка, которую дал Чацкому Гончаров в статье «Миллион терзаний». И, видя, какими безоговорочно негативными стали высказывания Достоевского о Чацком в 70-е годы, их нельзя не расценить как реакцию на то воззрение на героя грибоедовской комедии, которое наиболее определено и резко было выражено именно Гончаровым. Не случайно одно из суждений о ней Достоевский пре-

дварил словами, прямо указывающими на то, кому оно адресовано: «Горе от ума» (Гончарову) (XXVII, с. 44). Автор «Мильона терзаний» не только не хотел видеть в Чацком фигуру, отошедшую в прошлое, а, напротив, усматривал в нем черты, которые позволяли ставить его в пример современникам. Гончаров утверждал, что «Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим», что «Чацкие живут и не переводятся в обществе, повторяясь на каждом шагу», что «каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого...» (т. 8, с. 43).

Достоевский 1870-х годов, напротив, ожесточенно разоблачает Чацкого. Он ставит в вину Грибоедову то, что драматург «выставил Чацкого положительно, тогда как надо бы отрицательно... Мелко плавает. Основной сущности зла не понимает». «Остроты Чацкого не остроты, а дерзости. Да так и должно быть: он преследует не сущность дела, а лишь лица, бранится с ними и говорит им личности... Глупее ничего нельзя и представить» (т. XXIV, с. 303, 304, 306). «На грош амуниции, да на рубль амбиции. Чацкий» (т. XXIV, с. 245).

«Пойду искать по свету...» — иронически повторяет Достоевский слова грибоедовского героя. — То есть где? Ведь у него только и свету, что в его окошке, у московского хорошего круга, не к народу же он пойдет. А так как московские его отвергли, то, значит, «свет» означает здесь Европу. За границу хочет бежать.

Если б у него был свет не в московском только окошке, не вопил бы он, не кричал бы он так на бале, как будто лишился всего, что имел, последнего достояния. Он имел бы надежду и был бы воздержаннее и рассудительнее.

Чацкий — декабрист. Вся идея его в отрицании прежнего, недавнего, наивного поклонничества. Европы все нюхнули, и новые манеры понравились. Именно только манеры, потому что сущность поклонничества и раболепия и в Европе та же» (т. XXVII, с. 87).

Многочисленные оценки, которые Достоевский в разное время давал «Горю от ума», сходятся как в фокусе, в одной его фразе: «Комедия Грибоедова гениальна, но сбивчива» (т. XXVII, с. 87). Гениальна потому, что «сильна своими яркими художественными типами и характерами», сбивчива, потому что «Грибоедов, оставляя роль художника, начинает рассуждать сам от себя, от своего личного ума (устами Чацкого, самого слабого типа в комедии)», а нравоучения Чацкого состоят, по мне-

нию Достоевского, «из чистого вздора» (т. XXII, с. 106). Тип Чацкого — «сбивчивый». «Если б сознательно нарисовал его таким бессмертный поэт, то вышел бы и тип бессмертный и правдивый. Но Грибоедов сам взглянул на свой тип не отрицательно, а положительно, и сам уверовал в «ум» своего героя и вышло — сбивчивость» (т. XXVI, с. 219).

Достоевский решительно и последовательно заострен против «нравоучений» Чацкого и заключенной в них декабристской программы. Он беспощаден к Грибоедову постольку, поскольку автор «Горя от ума» солидаризируется с этой программой. Чацкий в глазах Достоевского воплощает тип русского революционера, тип, который «во все наше столетие представляет собою лишь наияснейшее указание, до какой степени наше передовое, интеллигентное общество разорвано с народом, забыло его истинные нужды и потребности, не хочет даже и знать их и вместо того, чтобы действительно озаботиться облегчением народа, предлагает ему средства, в высшей степени несогласные с его духом и естественным складом его жизни, и которых он совсем не может принять, если бы даже и понял их» (т. XXV, с. 26).

Эти слова выражают самую сущность воззрения Достоевского на деятельность декабристов в единстве как сильных, так и слабых сторон. Достоевский был прав, когда указывал на отрыв декабристов от народа и видел в этом причину слабости движения. Но эта оценка заключала и глубокое заблуждение, ибо виной дворянских революционеров он считал то, что было в действительности их трагедией.

Обвиняя русских революционеров в том, что они забыли «истинные нужды и потребности» народа, в том, что они «говорят не то и не про то», он исходил из того, что ему самому подлинны потребности народа известны и понятны. В этом была его ошибка. В этом была причина того, что он так и не сумел справедливо оценить борьбу, которую вели деятели русского освободительного движения. В этом была собственная трагедия Достоевского.

* * *

В последние десятилетия XIX века появляется ряд романов, темой которых было движение декабристов. Хотя среди них нет произведений, занявших сколько-нибудь заметное место в истории литературы, они за-

печатлели воззрения определенных слоев русского общества на деятельность и духовный облик дворянских революционеров и с этой точки зрения представляют для нас несомненный и значительный интерес.

Упомянем прежде всего роман Г. П. Данилевского «Восемьсот двадцать пятый год». Хотя он не был завершен, появившиеся в печати фрагменты причислялись тогдашней критикой к тем произведениям плодовитого беллетриста, в которых «пред воображением читателя восстают совершенно живые, метко очерченные, самые крупные фигуры петербургского периода русской истории»¹.

Три отрывка, предназначавшиеся Данилевским для романа «Восемьсот двадцать пятый год»², хранят следы работы их автора над историческими и мемуарными материалами о декабристах. В частности, сцена, где изображается, как в присутствии Пушкина обсуждали вопрос о целесообразности создания в России тайного общества, за чем последовало объявление, что все это была шутка,— вся эта сцена определенно восходит к воспоминаниям И. Д. Якушкина, напечатанным в «Полярной звезде на 1861 год». Но и опираясь на документальные источники, Данилевский не слишком заботился об исторической точности. Так, он сделал участником упомянутой сцены М. П. Бестужева-Рюмина, которого на описанном Якушкиным «заседании» не было, произвольно изменил его дату³. Союз благоденствия, заменивший прежний Союз спасения, существовал, по сведениям Данилевского, в 1825 году (см. с. 19). В действительности он был, как известно, распущен уже в 1821 году.

Трудно сказать, какой вид принял бы роман, если бы он был завершен. Три отрывка, которые были напи-

¹ Левин С. Г. Г. П. Данилевский.— Исторический вестник, 1890, № 4, с. 165.

² Данилевский Г. П. Соч., т. 14. Изд. 8-е. СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1901, с. 3—91. Ссылки на это издание даются в тексте.

³ Рассказ о «заседании» Данилевский начинает словами «В памяти Мишеля (М. П. Бестужева-Рюмина.— Л. Ф.) особенно врезался последний из тогдашних вечеров в Каменке». Между тем, как говорится ранее, «Михаил Павлович Бестужев-Рюмин посетил Каменку впервые (курсив мой.— Л. Ф.) осенью в 1821 году». В действительности сцена, описанная якобы по его воспоминаниям, имела место годом ранее — 28 или 29 ноября 1820 г. (см.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1951, с. 269).

саны, посвящены главным образом Шервуду, обстоятельствам, которые побудили его написать донос на деятелей тайных обществ, и тому, как автор доноса доказывал достоверность сообщенных им сведений. В последних двух отрывках — «Шервуд у Аракчеева» и «В Зимнем дворце» — декабристы, в сущности, не появляются, и лишь в первом — «Каменка» — им уделено заметное место.

Из декабристов, изображенных в Каменке, наибольшее внимание Данилевский уделил Пестелю. Вождь Южного общества предстает таким, каким впервые увидел его «Мишель» — Бестужев-Рюмин: «невысокого, даже несколько ниже среднего, роста, плотный и на крепких ногах, смуглый и с приятным, строгим лицом, темно-волосый, коротко остриженный и черноглазый, тридцатидвухлетний человек. Сдержанный и вместе приветливый на вид, он сразу приковал к себе внимание» (с. 22).

Пестель представляет на усмотрение собравшихся плод своего многолетнего труда — «Русскую правду», просит их высказать свое мнение о нем. «Я никому в жизни не желал зла, — сказал, между прочим, Пестель, — ни к кому не питал ненависти и ни с кем не был жесток... Я бы желал, чтобы и эти мысли привились мирно к каждому, чтоб они были приняты добровольно и без потрясений. Вы, добрые товарищи, помогите мне в том...» (с. 23).

Мишель любит голосом Пестеля, «смелым и ясным изложением задушевных мыслей», вспоминает «отзывы товарищей о суровом, почти отшельническом образе жизни Пестеля, о его богатой, классической библиотеке, о заваленном бумагами и книгами рабочем столе и о его упорном непрерывном труде. И ему становится понятно, почему сухой, положительный и степенный Пестель верил в свои, казалось, неосуществимые выводы и мечты, как в строго доказанную, математическую истину» (с. 24).

Но не все участники тайного общества разделяют те чувства к Пестелю, которые испытывал Бестужев-Рюмин. Данилевский неоднократно упоминает и о «нерасположении», которое вызывал Пестель, несмотря на влияние, которое он имел на своих сочленов. «Наш вождь — невозможный самолюбец и деспот... — говорят о Пестеле, — он ищет покорных сеидов, слуг, а не преданных друзей» (с. 25). «Пестель метит в Кромвели, в Наполеоны» (с. 45). Сам Пестель страстно и искренне

опровергает эти предположения, говорит, что ничего не ищет для себя и готов, удалившись в Киевскую лавру, кончить жизнь монахом. «Меня подозревают в честолюбивых, суровых замыслах. Говорят, что я против демократа Сперанского и за олигарха Мордвинова! Партии!.. Дайте нам только свободу мнений и речи — не будет ни Аракчеева, ни других своекорыстных, темных сил, — будет одна неподкупная истина» (с. 49).

Пестель должен был выступить в романе Данилевского как фигура сложная и трагическая. В этом смысле показательна действительно сильная и лаконично написанная сцена, когда Пестель, Поджио и Муравьев-Апостол отправляются на реку купаться. Полоса загара вокруг его шеи наталкивает на мысль о петле, и как бы повисает в воздухе во время беззаботно-шутливого разговора не произнесенная прямо пословица: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Сидя на мельнице у окна, Шервуд видит, как, «довольный теплой погодой и купанием, Пестель с удовольствием вступил в воду.

— Странно, — сказал Пестель, собираясь погрузиться в реку с головой: — я всегда думал одно, как бы не утонуть... не плаваю...» (с. 41).

Роман «Восемьсот двадцать пятый год», как известно, остался незавершенным, и можно лишь предполагать, какими предстали бы в нем декабристы. Но и дошедшие до нас фрагменты убеждают в том, что замысел Данилевского не был отравлен теми реакционными тенденциями, которые явственно давали себя знать в произведениях иных его современников, где деятели тайных обществ представлены в искаженном свете, а их палачи выглядят рыцарями без страха и упрека. Так, роман П. П. Каратыгина «Дела давно минувших дней» изображает Сенатскую площадь как место, на котором «суждено было пролиться чистой крови мученика Милорадовича и крови несчастных жертв, вовлеченных в бунт подстрекательствами людей злонамеренных»¹. Николай соглашается принять престол, движимый лишь благородством и самоотверженностью. «Если царь — жертва, намеченная злоумышленниками, — вопрошает верноподданный романист, — мог ли Николай — наш истинно русский витязь и честнейший человек — уступить царский сан старшему брату? Это было бы равносильно спасению

¹ Каратыгин П. П. Дела давно минувших дней. Исторический роман. СПб., 1888, с. 207.

своей жизни его головою... На это Николай Павлович никогда бы не был — и не мог быть способен»¹. Не случайно Каратыгин вплетает в свою «художественную ткань» обширную цитату из книги Корфа². Каратыгин заимствовал у своего предшественника не только трактовку событий, но и красоты придворного слога: «Заглушив в себе голос доброго сердца, Николай повиновался голосу сурового рассудка. Взглянув на бронзовую статую Петра, своего пращура, он вспомнил стрелецкие мятежи при его воцарении; избыток *великодушия* был бы *малодушием* со стороны Петра: сильные недуги требуют и сильных средств»³.

Если Каратыгин расточает восторги по поводу доблестного поведения Николая, то Л. Жданов создает не менее иконописный образ его старшего брата. После того, как «восстание, подготовленное уже давно, угасло, зато пленное в крови бунтовщиков»⁴, Константин не отказывает заблудшим злоумышленникам в своем милосердии.

В 1893 году в «Русском вестнике» появилась повесть К. Романова «Сестра декабриста» — произведение бесцветное и маловыразительное. Но если само оно не заслуживает даже краткого разбора, то очень показательное редакционное примечание, которым оно сопровождается. В повести, поясняет редактор, очень удачно нарисованы «эпизоды всего этого удивительного дела, где господа выступают за интересы крепостных, где солдаты, вовлеченные в бунт обманом, движимы лишь законными верноподданническими чувствами, где крепостные из преданности помогают укрыться господам, где жены самоотверженно идут в ссылку за мужьями, нередко не уясняя себе даже вполне целей своих мужей, людей, глубоко заблуждавшихся и мало знавших Россию, которой они готовили столь великие несчастья, где карающая их власть заботилась о воспитании их детей и где столько особенностей, которых не найти в каком бы то ни было другом движении»⁵. Первое в истории России революционное выступление против царизма охарактеризовано как какое-то собрание парадоксов и несуразностей, причем

¹ Каратыгин П. П. Дела давно минувших дней, с. 275.

² См.: там же, с. 301.

³ Там же, с. 313.

⁴ Жданов Л. В стенах Варшавы (Цесаревич Константин). Исторический роман-хроника (1814—1831), т. II, СПб., Прометей, б. г., с. 136.

⁵ Русский вестник, 1893, № 10, с. 150.

«карающая власть» вызывает очевидные симпатии автора, а декабристы, мало знающие свою страну, готовые ей несчастья и обманом вовлекающие в бунт солдат, представлены в весьма непривлекательном виде.

Несколько подробнее стоит остановиться на романе В. С. Соловьева «Старый дом» (1883), входящем в обширную серию его произведений, содержащих хронику дворянского рода Горбатовых. Глашатаем декабристских идей выступает в романе Бельский, убеждающий своего друга, героя романа Бориса Горбатова, в необходимости вести борьбу против общественных недугов. На Западе «заметны попытки, серьезные попытки высвободиться из-под гнета: решительно и смело действуют карбонарии, в Испании силою добывают себе конституцию. Ну, а у нас — задыхаются и трепещут, у нас понимают ужас своего положения — и не ищут из него выхода. Мы рабы, бессильные рабы, мечтающие только о свободе».

Горбатов, выражающий, естественно, мнение автора, против подобных методов. Он не верит, чтобы «насилиями и тайными убийствами можно было достигнуть святой цели». «Утвердить алтарь» можно лишь «чистыми руками». «Надо поискать других средств, чем те, какие нам рекомендует Европа»¹. Он соглашается примкнуть к тайному обществу лишь в том случае, «если оно намерено действовать прямым, честным путем без всяких насилий, без всяких несправедливостей». Но те, кого он видит на заседаниях общества, — «горячие молодые люди», в речах которых «ничего серьезного. Все это были, по большей части, общие места, пламенные молодые фразы — и только».

Глава, посвященная восстанию 14 декабря, многозначительно озаглавлена «Недоразумение». Описана «известная борьба великодушия между великими князьями Константином и Николаем». Николай «испытывал благородное смирение, недоверие к себе, указывающие на всю глубину его натуры...». Ситуацией воспользовались «члены общества» (эти два слова В. Соловьев заключает в недоброжелательные кавычки). «Решились на возмутительный обман и вели честных русских солдат на бунт — во имя законности и верности долгу присяги. Такой ловкий и легкий по обстоятельствам обман должен был удался. Некоторые полки поддались ему, произошло грустное и ужасное недоразумение. Обманутые бунтов-

¹ Соловьев В. С. Старый дом. Роман двадцатых годов XIX века. В двух частях. СПб., 1903, с. 130, 131.

щики стояли перед своими необманутыми собратьями — искренно считая себя исполнителями долга, а тех — бунтовщиками, готовые пролить кровь свою...

Заговорщики бегали между ними, возбуждая их горячими речами и в своей фанатической экзальтации даже не понимая, какую позорную роль они играют, не задумываясь о том, что вся кровь обманутых, неповинных людей ляжет на их совесть и будет смыта только их собственной кровью... да и будет ли еще смыта?..

Темный народ был в изумлении и ужасе, не понимал, что такое происходит, на чьей стороне правда.

Мало-помалу эта многотысячная толпа начала проявлять инстинкты бессмысленного стада и, как всегда бывает в таких случаях, свирепела с каждой минутой. Эти люди, в большинстве своем кроткие и послушные, теперь не были способны поддаваться никаким увещаниям. По-видимому, для них не существовало никакой сдерживающей силы».

Описав смерть Милорадовича, В. Соловьев восклицает: «Теперь это были уже настоящие дикие звери, почувшавшие кровь... И вдруг нашлась высшая сила. Молодой царь, не помышляя об опасности, полный вдохновения, появился среди толпы, обвел ее своим властным, орлиным взглядом. Могучий голос возвысился надо всеми беспорядочными звуками... Миг — и толпа стихла... Народ расходился... Мысли прояснились — все поняли, в чем дело, недоразумение окончилось...»

Вот как, оказывается, было дело. Не было орудийных залпов по мятежному каре, не было кровавой расправы и трупов на площади. Орлиный взгляд царя прояснил мысли его заблудших подданных и положил конец «недоразумению».

Борис Горбатов пришел на площадь и, увидев «членов общества», «начал горячо уговаривать их «хоть в последнюю минуту» одуматься и исправить то, что еще можно», но его не послушали. «Однако его присутствие в толпе заговорщиков было замечено...»¹ Невинного противника насилия арестовали. Но не нужно обвинять власти в несправедливости. Отправка в Сибирь изображена как благодеяние, которым царизм одарил заблудших жертв: «...Время каторги было для них счастливым временем, но за эти годы быстро и далеко продвинулось их нравственное и умственное развитие. Люди соединились в

¹ Соловьев В. С. Старый дом, с. 320—322.

дружную, единомысленную семью, каждый помогал другому, каждый учил другого тому, чего тот не знал, и сам в свою очередь от него учился»¹.

Под статью «Старому дому» В. Соловьева и другое произведение подобного уровня — роман И. А. Строевой-Поллиной «Декабрист». В предисловии к нему говорится, что намерения членов тайных обществ вначале сводились к тому, чтобы, «насколько возможно, стараться на пользу общую, поддерживать благие намерения правительства», но в 1825 году они стали преследовать «другие уже цели, а именно перемену образа правления... Настало 14-е декабря... Этим днем заговорщики думали воспользоваться для приведения в исполнение своих намерений. Но сильный духом Николай I твердой ногой вступил на свой престол и сразу положил конец всем мечтам заговорщиков...»²

Действие романа разворачивается после разгрома восстания. Его герой подпоручик Журин сидит в Петропавловской крепости и раскаивается. Условия заключения «очень значительно поуспокоили молодой горячий пыл, искусно разжигаемый ранее агитаторами только что минувших «декабрьских событий». Агитаторы эти состояли главным образом из врагов нашего отечества, разных любителей сильных ощущений, — каковы бы они ни были — и, наконец, впечатлительной молодежи». Журин принадлежит к числу людей «отчасти впечатлительных, искавших правды и добра, незрелых и попавших главным образом благодаря «науськиванию вожжаков партий», т. е. по ложному убеждению и вследствие общего волнения умов, — волнения, которое требовало какого-нибудь исхода, волнения, скорее безотчетного и даже бессознательного, так как эта последняя часть молодежи (да и не одной молодежи!) не знала в точности «в чем дело?», не задавала даже себе серьезно вопросов: зачем? почему? нужно ли это и *почему* нужно? и главное, — какая цель всего этого и какой смысл, и будет ли или можно ли ожидать, что будет из всего этого «бесения» какой-либо *положительный* результат»³. Он спрашивает себя: «зачем я туда попал», но — поздно. «Он готов был рвать на себе волосы от досады на себя и от угрызений совести...»⁴

¹ Соловьев В. С. Старый дом, с. 367—368.

² Строева-Поллина И. А. Декабрист. Исторический роман. М., (1903), с. II—IV.

³ Там же, с. 3, 4.

⁴ Там же, с. 13.

Особого внимания достойно описание того, как злодеи, возглавлявшие тайные общества, вовлекали в него доверчивых и легкомысленных людей. «Тактика общества велась иезуитски терпеливо, умно и безукоризненно правильно. Ильюша был горячая голова, гордая и упрямая, причем упрямство часто принималось у него за гордость и — наоборот, но в глубине души он никогда не сочувствовал своим товарищам, вовлеченным в эти общества. Вначале, когда его намеревались завербовать в эту банду, он долго и горячо ратовал «против», а «за» все же никогда не был, хотя раза три ходил на «совещания», так как боялся прослыть и трусом и «подъюбником». Журина обвиняли в том, что его видели на площадях перед бунтом — на Исаакиевской площади, а во время бунта — на Дворцовой, куда он пробрался из-за разгоревшегося до крайности любопытства». «Ах! зачем, зачем все это случилось? Зачем я полез в эту толпу?! — уже в сотый раз задавал себе вопрос молодой человек...»¹

Разжалованный Журин попадает на службу в Архангельск, влюбляется в дочь генерала, и весь роман, собственно, и посвящен описанию героических усилий, которые он приложил, чтобы получить согласие на желанный брак. Он отправляется на Кавказ, доблестно там сражается, едва не гибнет, но в конце концов добивается производства в офицеры, получает орден и руку любимой им женщины.

Расставшись с этим сентиментальным повествованием, мы в некотором недоумении спрашиваем себя: почему писательнице вздумалось назвать свой роман «Декабрист»? Что общего у этого легкомысленного молодого человека с той шеренгой борцов, которая впервые в истории России бросила вызов самодержавному произволу? Ровным счетом ничего. Но в том и состояла цель и В. Соловьева, и И. Строевой-Поллиной, и других консервативно настроенных русских беллетристов, чтобы в качестве декабристов изображать недекабристов, людей далеких от реального дворянского революционного движения или случайных его участников. Эту традицию, сложившуюся еще в XIX веке, продолжил Д. С. Мережковский романами «Александр I» (1911) и «14 декабря» (1918). В ее струе они могут быть наиболее правильно поняты, и поэтому мы, несколько отступая от хронологической последовательности, именно здесь обратимся к этому немало-

¹ Строева-Поллина И. А. Декабрист, с. 18, 19, 21.

важному этапу эволюции декабристской темы в русской литературе.

Романы Мережковского получили у современников более или менее единодушную оценку, и оценка эта была отрицательной. Характерна статья Б. Садовского о романе «Александр I», посвященная главным образом изображению в нем декабристов и озаглавленная «Оклеветанные тени»¹. Рецензент упрекает Мережковского в предвзятости его подхода к изображаемым событиям, в том, что «навязчивая, как бред, идея, уже много раз повторенная автором за последние годы, вяжет романиста по рукам и ногам, а историка заставляяет, может быть, против желания, приписывать своим героям небывалые слова и поступки». Тенденция убивает в зародыше попытки романиста «художественно изображать людей». «Опрометчиво-легкомысленный Рылеев, пошляк Бестужев, ограниченный Пестель, дикий Каховский — все они таковы, что заставляют невольно думать: конечно, декабрьское восстание не могло кончиться удачно, если во главе его стояли *такие* вожди.

Основная ошибка Мережковского при изображении декабристов заключается в том, что он без критики доверился их показаниям на следствии. По подлинным актам известно, что не все декабристы проявили при допросе гражданское мужество, и поэтому к свидетельству некоторых из них надо относиться крайне осторожно. Слова, произнесенные в 1826 году, после того как катастрофа уже совершилась, психологически неверны в устах людей, веривших в успех заговора в 1824 году.

С. Мельгунов говорил о «фантастическом представлении», которое составил себе Мережковский о декабристах, представлении, в угоду которому он «донельзя искажил действительность»². А. А. Корнилов заметил, что декабристы в романе изображены с несомненною шаржировкою и очень напоминают каких-то «максималистов» или «большевиков» в самые бурные моменты 1905 года³.

Критически был встречен и второй роман Мережковского о декабристах — «14 декабря». «Если вы хотите, — писал А. Измайлов, — с наименьшею затратою труда узнать или освежить в памяти весь ход декабрьского

¹ Северные записки, 1913, № 1, с. 115—119.

² Мельгунов С. Обзор журналов. — Голос минувшего, 1913, № 4, с. 266.

³ Корнилов А. А. О романе Д. С. Мережковского «Александр I». — Современник, 1913, кн. 2, с. 192.

мятежа, не перечитывая утомительно длинных и повторяющихся мемуаров декабристов, официальных донесений, переписки современников, от великих князей до случайного чиновника, — прочтите «14 декабря». В книге *исчерпывающе* освещены и речи заговорщиков, и день мятежа, и утешение приближенных царю, и Серафим на площади, и допрос арестованных, и беседа с ними в казематах прикомандированного к ним попа из Казанского собора, Мысловского, и злоеший день казни пятерых.

Но если по прочтении этой поистине «достоверной повести» вы спросите себя, — видите ли вы роковое событие русской жизни в «мясе эпохи», восстало ли оно перед вами в живом ходе исторического дня, в быте и воздухе дня, во всей полноте восприятия его *народом*... — вы ответите — нет»¹.

Те или иные отдельные упреки, которые высказывали Мережковскому эти и другие рецензенты, могли звучать убедительно. Но, перечитывая их статьи сегодня, нельзя не видеть, что главные слабости, предпосылки той тенденциозности, которая помешала автору сколько-нибудь достоверно изобразить первых русских революционеров, не были уловлены современной ему критикой. Все это нужно анализировать заново, и, как подступ к такому анализу, хотелось бы привлечь внимание к полузабытому очерку Мережковского «Декабрист Булатов», появившемуся в 1915 году в сборнике «Невский альманах». То, как рассказал он здесь о судьбе Булатова, что отобрал и о чем не упомянул, какие расставил акценты, — все это показательно и полно глубокого смысла.

«Александр Михайлович Булатов — герой 12-го года», человек, в улыбке которого «видна была душа его, душа солдата, простая и прямая, как пшлага... Вся философия его сводилась к немногим правилам: не искать ни в ком, а идти всегда прямою дорогою, служа на фронте верою и правдою своему царю и отечеству; дав слово, держать его, в чем бы оно ни состояло, дружбе не изменять...»

И не имел бы он никогда ничего общего с событиями на Сенатской площади, если бы не подстрекательство Рылеева, который «потихоньку, с усмешкою» — «усмешка эта запомнилась ему — должно быть, не понравилась», — так комментирует слова Булатова Мережков-

¹ Измайлов А. «14 декабря» Д. С. Мережковского. — Вестник литературы, 1919, № 4, с. 5.

ский, — «сообщил, что в России существует заговор, вот уже 8 или 9 лет» и «в будущем году будет всему решение».

6 декабря Булатов обедал у поручика Панова, отступая от правил своих, выпил «сначала за здоровье двух старых гренадеров, тех самых, которые вынесли его из-под огня под Смоленском; потом за весь их полк, в котором он служил в 12-м году; и, наконец, за невесту хозяина...» Но вино не настолько помутило разум Булатова, чтобы он одобрил «вольные» разговоры, которые велись вокруг него, напротив: нашел, что они «врут вздор». И все-таки удалось декабристам провести честного солдата: он «так и не понял, в чем дело: был прост, как голубь, но не мудр, как змей. Панов и гости его, заговорщики, члены Северного тайного общества, испытывали Булатова, — и он испытание выдержал! Сеть была расставлена так ловко, что он и не почувствовал, как увяз в ней — пока лишь одним коготком; но коготок увяз, всей птичке пропасть».

На следующий день Рылеев снова повел с Булатовым речь о заговоре, как выражается Мережковский, вождь Северного общества «опять закинул... удочку». Они говорят на разных языках. Булатова заботит «польза отечества». Рылеев зовет его «уничтожить монархическое правление», т. е. «тиранскую власть».

«— Какая же в этом польза отечества? — спросил Булатов.

Рылеев не понял вопроса или не хотел понять и начал говорить о представительном образе правления, о двухпалатной системе, о выборе депутатов. Но это было совсем не то, что нужно Булатову...» Не понравился ему и будущий «диктатор» мятежников — князь Трубецкой, который «все молчал», «приняв на себя важность настоящего монарха». Среди заговорщиков Булатов видит «все-таки больше хороших людей, чем дурных... Но ему казалось, что почти все идут в заговор нехотя, потому что сомневаются, не могут решить, где «польза отечества», и мучатся этим так же, как он».

Не отказался Булатов от роли, назначенной ему заговорщиками, «все по той же нерешительности. Да и жаль было «хороших людей»: как покинуть их в такую минуту опасности не только для жизни, но и для чести и совести. Он был похож на солдата, который вдруг ослеп в бою: нельзя сражаться и нельзя бежать».

И здесь следует в очерке Мережковского странный

провал: Булатов, который должен был вместе с Трубецким принять командование над восставшими, оказывается на Сенатской площади, рядом с императором Николаем Павловичем: «Мне понравилось мужество его... Я очень жалел, что не могу быть ему полезен... Теперь я был возле него и совершенно покоен и судил, что попал не в свою компанию...»¹

И открывается ему, что декабристы — «невинные преступники». «Преступники, потому что восстали на царя; невинны, потому что восстали для «пользы отечества», сами не зная, что делают». Он же, Булатов, познал истину и был спокоен и счастлив в готовности умереть «за царя и отечество». «Исчезли двойники проклятые. Сердце его, простое и прямое, как шпага солдата, сломалась надвое; но царская милость расплавил его, как молния плавит железо, и спаяла куски. Опять — одно сердце, чтобы любить одно: царя и отечество. Народ, как несправедлива молва твоя! Какого вы хотите иметь еще государя? А ты, Рылеев, взгляни, чем я жертвовал для пользы отечества, которую ты не открыл мне... Куда ты вед душу мою? В вечное мучение... Но царь искупил ее... Боже, благодарю тебя!» — молился он и плакал от счастья. «Среди «невинных преступников» 14 декабря, — заключает свой очерк Мережковский, — есть много людей более сильных и свободных духом, чем Булатов, но нет ни одного более чистого сердцем и кто бы так страдал, как он»¹.

В действительности Мережковский о многом умолчал и многое истолковал по-своему из того, что он знал из письма Булатова к великому князю Михаилу Павловичу, письма, на котором он строил свой очерк и которое в нем обширно цитировал. Как ясно из этого письма, узнав от Рылеева о планах будущего переустройства России, Булатов не только не порвал с тайным обществом, но и принял на себя функции одного из военных руководителей восстания. «Я думал, — пишет он, — 14 числа узнать и если найду настоящую пользу отечества в планах и как искуснее Трубецкого в военном ремесле, а духом тверже и того более, то и предлагал обещаемое войско свое разделить на два отряда, и, надеюсь, после моих распоряжений, сделанных в моей голове, товарищи мои

¹ Мережковский Д. Декабрист Булатов. — В кн.: Невский альманах. Пг., 1915, с. 48—52.

² Там же, с. 54, 57.

препоручили бы мне начальство войск наших». «...Беру на себя,— заявляет он далее,— распорядить всем и без всякого обмана буду искать гибели государя и пользы народа и отечества и надеюсь, что не будет неудачи»¹.

Но, как обнаруживается из того же письма, Булатов намеревался действовать не по плану Рылеева и Трубецкого, а по своему собственному, направленному на срыв восстания. Как отмечает тонко проанализировавший ход событий Я. Гордин, Булатов и Якубович «составили тайное общество внутри тайного общества с тем, чтобы бороться не только с Николаем, но и с Трубецким...»². Булатов сказал Якубовичу, что «мы будем обмануты и потому подтвердили и еще слово один без другого не выезжать и не приступать к делу»³.

В соответствии с этим решением они и поступили. «Принципиальное бездействие Булатова и Якубовича стоило заговорщикам нескольких часов драгоценного времени. Крепость, арсенал и дворец остались не захваченными»⁴. Пока участники восстания пытались как-то наверстать упущенное, спасти положение, Булатов кружил вблизи Сенатской площади, расспрашивал знакомых о сложившейся ситуации, старался сориентироваться в обстановке. Так он и оказался вблизи императора, мужество которого его восхитило.

Нам не важно сейчас, в чем именно Мережковский в своем очерке погрешил против истины. Искажения действительности здесь представляют собой систему, и важна, показательна тенденция, определяющая эту систему. В очерке «Декабрист Булатов» изображен не декабрист. И избран из участников тайных обществ он, потому что он был в дворянском революционном движении человеком чуждым и, по справедливому определению Я. Гордина, «случайным»⁵, потому что и психология, и поведение его были недекабристскими.

Может быть, это случайность? Может быть, Мережковского заинтересовала необычная и трагическая судьба Булатова, и только? Но обратимся к романам «Алек-

¹ Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов. Киев, 1906, с. 233, 241.

² Гордин Я. Гибель полковника Булатова.— Аврора, 1975, № 12, с. 62.

³ Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов, с. 236.

⁴ Гордин Я. Гибель полковника Булатова, с. 63.

⁵ Там же, с. 62.

сандр I» и «14 декабря». Их главный герой — князь Голицын. Почему Голицын? Почему автор обширных романов о декабристском движении поставил в центр не Рылеева, не Пестеля, не Муравьева-Апостола, а мало-заметного, малоизвестного, так сказать, периферийного деятеля, ничем себя не проявившего ни в период подготовки восстания, ни в самый день 14 декабря, деятеля, оставившего о себе сведения скудные и невнятные? Тоже случайность?

О нет! Именно такой человек, как Голицын, нужен был Мережковскому на амплу главного героя. Глазами Голицына романист смотрит на изображаемые события. Голицын оценивает происходящее, Голицын судит. Он никак не действует в движении, по существу не участвует в событиях? Так и нужно. Его бессилие, бездействие, апатия — это и есть, по Мережковскому, бессилие движения декабристов. Зато Голицын фиксирует и повторяет, закрепляет в читательском восприятии то, что Мережковский считает наиболее важным в происходящем. Снова, хоть по-иному, но в чем-то так же, как у Соловьева и Строевой-Поллиной, под личиной декабриста изображен недекабрист. И ему-то вверена важнейшая функция. Он своеобразный посредник между читателем романа и его содержанием. Он регулирует или, по крайней мере, должен, по замыслу Мережковского, регулировать восприятие этого содержания.

Еще не войдя в комнату Рылеева, Голицын слышит обрывки ведущихся в ней разговоров:

«— Быть или не быть России, вот о чем дело идет!

— Россия, какова сейчас, должна сгинуть вся!

— Ах, как все гадко у нас, житья скоро не будет!

— Давно девиз всякого русского есть: чем хуже, тем лучше!

— А вот уж революцию сделаем — и все будет по-новому...» (т. XVI, с. 109) ¹.

И с этих первых слов второй части романа, в которой декабристы становятся предметом изображения, они и Голицын существуют как бы порознь, он видит и оценивает их со стороны: «С любопытством вглядывался в лица: не похожи на лица заговорщиков; все молодые, тоже весенние, веселые. «Милые дети», — думал он. Или

¹ Мережковский Д. С. Полн. собр. соч., т. XVI. СПб.— М., изд. М. О. Вольфа, 1913. Здесь и далее ссылки на это издание даются в тексте.

как пьяному кажется, что все пьяны, так ему, счастливому, — что все счастливы» (т. XVI, с. 111).

Этот мотив: декабристы — дети, их затея — детская шалость — звучит в романе постоянно и настойчиво. Вот разговор Голицына с Рылеевым, который говорит, что не узнал бы его после встреч в 1814 году:

«— Еще бы за десять-то лет! Ведь совсем дети были... «И теперь дети», — подумал Голицын.

— Русские дети взяли Париж, освободили Европу, — даст бог освободят и Россию! — восторженно улыбнулся Рылеев и сделался еще более похож на маленького мальчика» (т. XVI, с. 112).

Под стать ему и Бестужев: «Тоже на мальчика похож: самодовольно пощупывал темный пушок над губою, как будто желал убедиться, растут ли усики. Говорил темно и восторженно» (т. XVI, с. 114). В заговор он попадает, «как кур во щи, — из мальчишеского ухарства, байронства, подражания Якубовичу; играл в заговорщики, как дети играют в разбойники» (т. XVI, с. 138).

И как противовес им появляется «взрослый» Пущин. «С простым и тихим лицом, с простою и тихую речью, Иван Иванович Пущин между этими пылкими юношами казался взрослым между детьми» (т. XVI, с. 116). Отсюда и отношение его к заговорщикам:

«— Да, есть-таки в нас, во всех эта дрянь. Болтуны, сочинители, Репетилковы: «шумим, братец, шумим!» Или как в цензурном ведомстве пишут о нас: «упражняемся в благодетельной словесности». А господа словесники, — сказал Альфиери, — более склонны к умозрению, нежели к деятельности. Наделала синица славы, а моря не зажгла.

И прибавил, взглянув на Голицына:

— Ну да не все же такие, есть и получше. Может быть, это не дурная болезнь, а так только, сыпь, как на маленьких детях: само пройдет, когда вырастем...» (т. XVI, с. 122—123).

Жалкими выглядят участники тайных обществ, желчно судят о слабостях друг друга. Бестужев «говорил как в бреду, пил с жадностью стакан за стаканом; с неприличиями быстро хмелел» (т. XVI, с. 154). Кюхельбекер, «или попросту Кюхля, русский немец, белобрысый, пучеглазый, долговязый, как тот большой вялый комар, которого зовут караморой; лицо странно перекошенное, слегка полоумное, но если взглядеться, пленительно-доброе» (т. XVI, с. 114). А вот каким видится Каховскому

Рылеев: «...Он берет все на себя и объявляет мнения своей волею диктатора; обманывает всех и себя самого. Революция — точка его помешательства. Недурной человек, но весь в воображении, в мечтах, ну, словом, поэт, сочинитель, как и все мы, грешные. Годится только для заварки каш, а расхлебывать приходится другим...» (т. XVI, с. 151).

Видит и свою, и соратников своих слабость сам Рылеев. Известные строки «...А встречаешь труппы хладные//Иль бессмысленных детей» комментирует в разговоре с Бестужевым так:

«— Да, труппы хладные! — вздохнул Рылеев и опустил голову.— Ты что думаешь, Саша: других обличаю, а сам?.. Нет, брат, знаю: и сам — подлец! За жену, за дочку, за теплый угол да за звучный стих отдаю все,— все свободы. А Якубович, тот — за свою злобу, Каховский — за свою славу, Пущин — за свою честность, Одоевский — за свою шалость...

— А я?

— А ты — за картишки, за девчонок, за аксельбанты флигель-адъютантские... Ну, да что говорить, все хороши!» (т. XVI, с. 139).

Значительное внимание Мережковский уделяет Пестелю. Вначале мы видим его как бы глазами Рылеева. И вождь Южного общества открывается ему разными сторонами своего облика. Сначала ему кажется, что Пестель «и в самом деле, пожалуй, Наполеона из себя корчит» (т. XVI, с. 165), что «Пестель не то, что все они,— романтики, словесники, мечтатели: для него понять — значит решить, сказать — значит сделать» (т. XVI, с. 168). Но пройдет немного времени, и Рылеев увидит Пестеля совсем иным: «...Рылееву почудилось в этой улыбке что-то робкое, жалкое, как в улыбке тяжелобольного или бесконечно усталого. Понять — значит решить, сказать — значит сделать,— полно, так ли? Счет убийств по пальцам и эшарп *тру-тру*; чувств не имеет, а в сестрицу влюблен. Не такой же ли и он мечтатель, как все они,— только лжет искуснее? Не говорит ли больше, чем делает?» (т. XVI, с. 174).

Но главное — то, каким видит Пестеля Голицын — выразитель авторской точки зрения: «Маленький человек похож был на свою собственную куклу, автомата в музее восковых фигур. Неземная тяжесть, роковая одержимость. Как будто не сам он двигается, а кто-то двигает, дергает его, как петрушку за ниточку» (т. XVI, с. 201).

Появившись среди членов Северного общества, Пестель потрясает их радикализмом своей программы. Излагая планы убийства государя, и «не одного государя», он «говорил так спокойно, как будто доказывал, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым; но в этом спокойствии, в бескровных словах о крови было что-то противоестественное» (т. XVI, с. 196). А оказывается, что эта уверенность в своей правоте — кажущаяся, что Пестель такой же путаник, как и другие декабристы. То доказывает необходимость убийства государя, то говорит, что «нам нет другого спасения, как принести государю повинную. Он благородный, почти благородный человек, мы тоже почти благородные — отчего бы нам и не сговориться? Открыть ему все и убедить, что лучший способ уничтожить революцию — дать России то, чего мы добиваемся. Вот поеду в Петербург и донесу... Заврался, запутался,— усмехнулся Пестель» (т. XII, с. 193).

Не раз Мережковский подчеркивает фантастичность, неосуществимость планов декабристов, то, что они и обманываются сами, и вводят в заблуждение друг друга. «...Да начни мы хоть завтра же», — излагает планы восстания М. П. Бестужев-Рюмин, — шестьдесят тысяч человек у нас под ружьем...

— Ну, полно, Миша, какие шестьдесят тысяч? Дай бог и одну, — остановил его Муравьев. — Иван Иванович, у вас чай простыл, хотите горячего?

Эти простые слова вернули всех к действительности» (т. XVII, с. 106). Голицын слушает рассуждения Бестужева-Рюмина о широкой поддержке декабристских замыслов и поражается тому, что слышит. Он знает, что все это ложь. «Голицын знал, что никто никогда не возил конституцию в чужие края, что ни генерал Киселев, ни генерал Раевский не участвуют в обществе, а Полиньяку до него такое же дело, как до прошлогоднего снега, и что все остальное, что говорил Бестужев о силе заговорщиков, — ложь... «Как может он лгать так бессовестно?» — удивился Голицын» (т. XVII, с. 218—219).

В 1918 году Мережковский выпустил в свет роман, явившийся продолжением и завершением «Александра I». Он назывался «14 декабря»¹. Как и в «Александ-

¹ Мережковский Д. С. 14 декабря. СПб., 1918. Роман состоит из двух книг: «Книга первая. Четырнадцатое» и «Книга вторая. После четырнадцатого». Каждая из них имеет свою пагинацию. Ссылки на издание даются в тексте.

ре I», здесь в центре остается Голицын, взгляд которого на происходящее позволяет видеть точку зрения автора.

«— «Планщиком» назвал меня Пушкин. «Не поэт, а планщик». Да, планщик и есть,— усмехнулся Рылеев.— Умозритель свободы, а не делатель. Планы черчу, а не строю.

— Не вы один, Рылеев, мы все такие же,— возразил Голицын» (кн. I, с. 51). Те же слова на устах Оболенского. Мы «не делатели, а умозрители. «Планщики», теоретики, лунатики» (кн. I, с. 58).

Каховский говорит: «Вся наша революция — стоячая!», и Мережковский — через Голицына — утверждает и закрепляет это определение: «Стоячая революция», — повторил про себя Голицын с вещим ужасом» (кн. I, с. 138), «Стоячая революция», — вспоминал Голицын слова Каховского», «Неужели прав Каховский? — думал Голицын.— Неужели вся наша революция — стоячая?» (кн. I, с. 152).

Каховский ожесточенно опровергает чаяния Бестужева и его единомышленников, надеявшихся на то, что «кровопролития почти не будет» (т. XVII, с. 221): «Человеколюбивая революция, филантропический бунт! Душу спасаем. Крови боимся, без крови хотим. Но будет кровь — только напрасная и падет на нашу голову! Расстреляют, как дураков,— так нам и надо! Холопы, холопы вечные! Подлая страна, подлый народ! Никогда в России не будет революции» (кн. I, с. 154).

И Голицын отзывается, словно эхо: «Крови боимся, без крови хотим. Но будет кровь — только напрасная», вспомнились Голицыну слова Каховского. «Напрасная! Напрасная! Напрасная!» — стучало в больной голове его, как бред, однозвучно-томительно» (кн. I, с. 173). Все это, конечно, мысли Мережковского. Среди набросков и подготовительных материалов к романам о декабристах мы находим показательные сентенции их автора: «Решимость действовать почти без всякой надежды... Судя по средствам, по намерениям — сие есть верх безумия... Кто на сие решится, кроме тех, кои довели себя до политического сумасшествия?»¹

Еще прежде, чем восстание было подавлено пушками Николая, его участники, какими изображает их Мережковский, были подавлены сознанием своего бессилия

¹ Отдел рукописей Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), шифр 24201, л. 1.

и обреченности, чуждости своего дела интересам России, отрывом от ее народа. Это особенно проявляется в покаянных рассуждениях Рылеева: «Ну, я и разошелся, заговорил о конституции, о вольности, о правах человечества. А за спиной, слышу, смеется солдатик пьяненький да ласково так, будто жалеючи: «Эх, барин, хороший барин, да бестолковый! Кажись, и по-русски говорит, а ничего не поймешь!» Только всего и сказал, а я вдруг понял, пришельцы, скитальцы, изгнанники вечные. Даже и не смеем сказать, что восстаем за вольность,— говорим: за царя Константина. Лжем. А когда узнает правду народ, то нас же проклянет, предаст палачам на распятие. Верьте, друзья, я никогда не надеялся, что дело наше может состояться иначе, как нашею собственной гибелью. Но все-таки думал, что увидим страну обетованную, хоть издали. Нет, не увидим. Не увидят свободной России наши глаза, ни глаза наших внуков и правнуков! Погибнем бесславно, бесследно, бессмысленно. Разобьем голову об стену, а из темницы не вырвемся. Кости наши сгниют, а надежды наши не сбудутся...» (кн. I, с. 52).

Не Рылеев, а Голицын выражает убеждение в том, что жертвы, принесенные декабристами, не окажутся бесплодными. Глядя, как очищают, скребут окровавленную Сенатскую площадь, он думает: «Не отскребут. Кровь из земли выступит и возпиет к богу и победит Зверя!» (кн. I, с. 176).

Рылеев во время допроса в Зимнем дворце оказывается шаток, податлив на посулы царя. Сначала излагал ему цели повстанцев и «сделался похож на прежнего Рылеева, бунтовщика неукротимого» (кн. II, с. 39), а потом каялся, уверял Николая в своей преданности: «Вот вы какой! Чувствую биение ангельского сердца вашего! Ваш, ваш навсегда!» (кн. II, с. 44). Голицын же в разговоре с царем незыблем и убежден в своей правоте. Потому что стоит он не за конституцию, не за вольность, а за веру.

Завершают роман «Записки С. И. Муравьева-Апостола», сочиненные, разумеется, Мережковским и выражающие его отношение к событиям. Свои мысли романист неспроста излагает от имени Муравьева: именно этот декабрист еще в сценах, описанных в «Александре I», убеждал членов тайных обществ, что единственно правильный способ действия — не «рассуждения политические», а пробуждение «веры в бога» (т. XVII, с. 108—109). «Именно у нас в России, более, чем где-либо, в случае восстания, в смутные времена переворотов, привязанность к вере

должна быть надеждой и опорой нашей твердейшею...» (т. XVII, с. 111).

И видится Муравьеву страшный сон, ужасы «безбожной» революции: «С восставшими ротами, шайкой разбойничьей я прошел по всей России победителем. Всюду вольность без бога — злодейство, братоубийство неутолимое. И надо всей Россией, черным пожарищем — солнце кровавое, кровавая чаша дьявола. И вся Россия — разбойничья шайка, пьяная сволочь — идет за мной и кричит:

— Ура, Пугачев-Муравьев! Ура, Иисус Христос!

Мне уже не страшен этот сон, но не будет ли он страшен внукам и правнукам?» (кн. II, с. 160). Прав был Н. Л. Бродский, когда утверждал, что в мнимых записках Муравьева-Апостола «мы видим перед собой историческую фигуру, но не передового деятеля первой четверти XIX века, а испепеленного двумя русскими революциями человека, с ужасом отпрянувшего от революционного народа и увидевшего гибель и разрушение там, где засевались семена новой жизни; нового периода истории человечества»¹.

На России видится Муравьеву-Мережковскому черная надпись: «Царство Зверя». «Страшен царь-Зверь; но, может быть, еще страшнее Зверь-народ. Россия не спасется, пока из недр ее не вырвется крик боли и раскаяния, которого отзвук наполнит весь мир. Слышу поступь тяжкую: Зверь идет. Россия гибнет, Россия гибнет... Боже, спаси Россию!» (кн. II, с. 160—161).

В Рукописном отделе Библиотеки им. В. И. Ленина сохранились материалы к работе Мережковского над романом «14 декабря». Среди них особый интерес представляет набросок плана записок Муравьева, где содержащиеся в них мысли получили наиболее концентрированное выражение: «Общие мысли. Гибель России. Завещание. Демократия. «Толпа ничто — могла бы все». Революция без Бога. Революция с Богом. «Боже, спаси Россию»².

И рецензенты романов Мережковского, и позднейшие исследователи не раз обращали внимание на тенденциозность подхода к истории в этих произведениях, но их автор еще раз проявил эту тенденциозность, когда вскоре после февральской революции издал уже упоминавшуюся

¹ Бродский Н. Л. Декабристы в художественной литературе, с. 220.

² РОБЛ., ф. 218. Собрание отдела рукописей, карт. 1362, ед. хр. 7, л. 200-об.

ся нами брошюру «Первенцы свободы»¹. То, как изображены декабристы и их деятельность в этой брошюре, не имеет ничего общего с их изображением в «Алексаандре I» и «14 декабря». Может показаться, что она принадлежит другому автору. Автор, однако, тот же, но тенденциозность этого его произведения иная, чем прежних. Он воодушевлен целью отыскать все мыслимые параллели между декабрем 1825 и февралем 1917 года и представить участников февральской революции продолжателями дела, начатого на Сенатской площади. Поэтому декабристы здесь прославлены и героизированы. Ни о каких их слабостях, так неумоимо расписанных в обоих романах, нет и речи. «Победная Русская Революция,— трубным гласом вещает Мережковский,— началась почти сто лет тому назад», в 1825 г. «...Создатели и участники русской борьбы за свободу, офицеры и солдаты полков 14-го декабря,— вы участники и первой победы; вам, пролившим кровь за правое дело сто лет тому назад, первая память, первый поклон до земли... Именно русские офицеры, создавшие восстание 14-го декабря (и прозванные декабристами), были начинателями революции в России, были первыми русскими революционерами» (с. 3).

Мережковский дает беглый очерк возникновения и деятельности тайных обществ, написанный торопливо, неточно, пестрящий трудно объяснимыми ошибками². Но это и понятно. Автора мало занимает, что, как и почему было в 1825 году. Напоминание о тех событиях нужно ему, чтобы освятить февральскую революцию, чтобы убедить своих современников, что «желания декабристов — наши достижения. Их кровь — за нашу сегодняшнюю победу» (с. 13).

Октябрьская революция повергла Мережковского

¹ Мережковский Д. С. Первенцы свободы. История восстания 14 декабря 1825 г. Пг., Народная власть, 1917. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

² О Рылееве, например, сказано, что в 1825 г. «ему было только 26 лет» (с. 12). Подобные вещи обращали на себя внимание и в романах Мережковского. Н. Л. Бродский с основанием замечал, что «Д. Мережковский не слишком церемонился с бывшим, с подлинно историческим» (Бродский Н. Л. Декабристы в художественной литературе, с. 219): Голицын, вспоминая беседы с Чаадаевым в 1817 г., приписывает ему мысли, изложенные много лет спустя в «Философическом письме», Каховский в ночь на 14 декабря 1825 г. цитирует стихи Бальмонта, один из персонажей «14 декабря» Мария Павловна тоже в 1825 г. читает стихи Баратынского, впервые опубликованные в «Северных цветах на 1830 год» (см. с. 12 и 86) и т. п.

в ужас. 14 декабря 1917 года он напечатал витийственную заметку, в которой пытался доказать, что «подлинный «авангард русской революции» — не крестьяне, не солдаты, не рабочие, а вот эти герои Четырнадцатого и мы, наследники их,— русские интеллигенты — «буржуи», «корниловцы», «калединцы»... На царя-Зверя восстали герои Четырнадцатого: мы восстанем на Зверя-народ».

Эти остервенелые вопли дают колоритное представление о том, какие настроения владели Мережковским, когда он дописывал роман «14 декабря». Страх перед грядущей победой революции овладел им задолго до того, как она свершилась. Мережковский с ужасом следил за тем, как обострялось общественное внимание к декабристам в пору революционного подъема начала XX века, как толковалась декабристская традиция, с какой целью воскрешались образы участников тайных обществ, какие выводы делались из сопоставлений прошлого с настоящим.

В годы, предшествующие первой русской революции, подвиг декабристов стал темой многих листовок и других агитационных материалов социал-демократической партии. Ленинская «Искра» сообщала о вечерах и собраниях, посвященных памяти героев 14 декабря. В листовке, выпущенной Одесским комитетом РСДРП 14 декабря 1901 года, говорилось: «Участники восстания 14 декабря слишком верили, что их борьба не пропадет бесследно, и правду они писали из каторги нашему поэту Пушкину — из искры возгорится пламя... Искра возгорелась. Развилась великая рабочая партия, которая насчитывает тысячи славных борцов за лучшую долю, за новый социальный строй, и теперь этот пожар уже не потушить... Кровью сердца своего запишем имена Пестеля, Рыльева, Каховского, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина... Нашей великой освободительной борьбой мы соорудим им вечный и несокрушимый памятник. Помните, товарищи, 14 декабря 1825 года»¹.

В 1902 году Тверской, Киевский, Пермский, Харьковский и другие комитеты РСДРП отмечали годовщину восстания. Во многих листовках и статьях звучало и поэтическое слово. Так, «Киевский социал-демократический листок» поместил большую статью «Памяти декабристов». «Эмоционально написанная, с цитатами из стихо-

¹ Рубинштейн Е. «Прочитав, передайте товарищам». — Литературная Россия, 1975, 19 декабря, № 51, с. 21.

творений Пушкина, Некрасова и Одоевского, она рассказывала о том, кем были декабристы и к чему они стремились»¹.

В листовке, выпущенной Тверским комитетом РСДРП, были взяты эпиграфом строки Одоевского из ответа на послание Пушкина, а в тексте приводились стихи Рылева из «Исповеди Наливайки» («Известно мне: погибель ждет» и след.). «В этот славный день 14 декабря,— писали авторы листовки,— когда 78 лет тому назад впервые зажглась ярко звезда русского освободительного движения, мы, социал-демократы, вспоминая добрым словом о павших героях декабристах, провозглашаем: «Вечная память павшим борцам-героям за политическую свободу»².

А в листовке, которую распространял в те же дни Батумский комитет, говорилось: «Великие славные тени декабристов Пестелей, Муравьевых, Горбачевских, Батеньковых и проч. не давали и не дают спать мерзкому самодержавию. Их голос звонко звучал и далеко-далеко разносил и разносит похоронную песнь царизму, наводил и наводит ужас на деспотов, будил и будит новое поколение и громко кличет клич свободы. Их великие тени и теперь стоят перед революционерами и ободряют их к самоотверженной борьбе с царским правительством»³.

Восьмидесятая годовщина восстания декабристов совпала, как известно, с декабрьским вооруженным восстанием 1905 года в Москве. Это побудило впоследствии выпустить в свет хрестоматию революционной поэзии «Красный декабрь», приуроченную к обеим этим датам⁴. Острота, которой достигла в те дни борьба с царизмом, оказала значительное влияние на материалы, связанные с декабристами, которые появились тогда в революционной печати. Расширилась их география.

«Известия Совета рабочих депутатов г. Одессы» обратили призывные слова к офицерам Одесского гарнизона: «Офицеры! Ваши товарищи при первом Николае начали дело революции. Нет более достойного способа почтить

¹ Ляшенко К. Г. Листовка РСДРП о восстании декабристов.— Вопросы истории, 1975, № 12, с. 199.

² Социал-демократическая листовка памяти 14 декабря 1825 года.— Советские архивы, 1975, № 6, с. 24.

³ См.: Вопросы истории, 1975, № 12, с. 201.

⁴ Бродский Н., Львов-Рогачевский В. Красный декабрь. От 14 декабря 1825 г. к декабрю 1905 г. (Революционные мотивы русской поэзии). Л., Колос, 1925.

память героев, как примкнуть к начатому ими делу и закончить революцию при Николае втором и последнем»¹.

Орган Кавказского союзного комитета РСДРП — газета «Кавказский рабочий листок» поместила передовую статью «Декабристы», в которой говорилось: «Восьмидесятая годовщина восстания декабристов совпадает с моментом всеобщей политической стачки, когда воспрянувшая от сна Россия, охваченная революционным пожаром, мобилизует свои силы для последней и решительной схватки с грозными твердынями самодержавия и тем самым исполняет завет героев 14 декабря»².

По материалам Иркутского государственного архива удалось восстановить картины митинга и демонстрации, устроенные в память декабристов в этом городе. Трудящиеся прошли по улицам с пением революционных песен. «У могилы Екатерины Ивановны Трубецкой состоялся митинг, на котором выступили два оратора, отметившие значение восстания декабристов в революционном движении в России. Затем участники митинга пропели вечную память пионерам русской революции. Была отдана дань глубокого уважения и памяти героической женщине, пожертвовавшей всем и последовавшей за своим мужем в Сибирь, разделившей с ним все невзгоды каторжной и поселенческой жизни»³.

Фонды Главного управления по делам печати, хранящиеся в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде, повествуют о том, что в декабре 1905 года во Владивостоке была выпущена брошюра М. А. Курджинского и Ф. И. Попова «Памяти борцов-декабристов». Ее авторы выражали убеждение, что «святая кровь» пролита не напрасно, призывали «помянуть добрым словом славных борцов-декабристов, подавших первый пример самоотверженной борьбы с тиранией, и имена этих мучеников за народную волю должны вечно жить в памяти русского народа»⁴.

Понятно, что восхищение декабристами и благодарная

¹ См.: 1905. Материалы и документы. Советская печать и литература о Советах. Сост. В. Невский. М., Госиздат, 1925, с. 177.

² См.: Маградзе А. 115 лет со дня восстания декабристов.— Заря Востока, 1940, 26 декабря, № 299, с. 2.

³ Колмаков Ю. Памяти декабристов. К 150-летию восстания.— Советская молодежь (Иркутск), 1974, 11 апреля, № 44, с. 4.

⁴ См. об этом: Добровольский Л. М. Запрещенные книги о декабристах.— В кн. Декабристы и их время. Материалы и сообщения. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 256—258.

память о них, жившие во многих тысячах сердец, лишь изредка, преодолевая сопротивление властей, могли вы-явиться в произведениях, опубликованных в легальной печати. Но случаи такие были, и они достойны пристального внимания. 14 декабря 1905 года в ярославской газете «Северный край» № 297 было напечатано стихотворение «Декабристы» с подписью: «А». Это был псевдоним поэта-демократа Василия Михайловича Михеева. «Стихотворение было напечатано в самый разгар революционных событий, через пять дней после «кровавой пятницы» в Ярославле, кровавой расправы с манифестацией рабочих «Большой мануфактуры», происшедшей 9 декабря. Памяти погибших Михеев посвятил прекрасное стихотворение «Реквием» (в № 295 газеты «Северный край») ¹.

В том же номере «Северного края», где появились «Декабристы» Михеева, была опубликована неподписанная статья, посвященная восьмидесятилетию того дня, когда «улицы Петербурга залились кровью людей, желавших освободить Россию от тех цепей, в которые она была закована путем векового рабства». «Однако со смертью великих борцов-декабристов,— продолжал автор статьи,— не погибло их славное дело освобождения много-страдальной родины. Воодушевляемый величавыми тенями Пестеля, Рылеева, Трубецкого, Волконского, Муравьева и др. декабристов, русский народ напрягает все свои силы, чтобы сбросить вековое ярмо рабства» ². Естественно, что стихи В. Михеева воспринимались как прямое продолжение этой статьи, напечатанной на обороте того же газетного листа.

Обращение Михеева к декабристской теме не было случайным. Будущий поэт с детства находился в атмосфере преклонения перед величием подвига и страданиями дворянских революционеров. Его мать была ученицей декабриста Поджио, дед хранил как реликвию поэму Рылеева «Войнаровский», переписанную для него князем Трубецким ³.

В первом сборнике стихотворений Михеева «Песни о Сибири» (1884) были напечатаны три стихотворения, посвященные дворянским революционерам: «Ряженые», «Князь» и «Друзья шайтана». Наиболее интересно последнее, где старый бурят, ранее представлявший себе

¹ Черных П. Заметки о творчестве В. М. Михеева.— Сибирские огни, 1937, № 4, с. 127.

² Северный край, 1905, № 297, 14 декабря.

³ Сибирские огни, 1937, № 4, с. 125.

декабристов «друзьями шайтана», находит в них добрых и ласковых людей, с участием относящихся к местному населению. Он начинает сочувствовать им, становится их другом.

В стихотворении «26 октября 1881 года», написанном по поводу трехсотлетия завоевания Сибири, В. Михеев тоже собирался упомянуть декабристов. В автографе были такие строки:

Ермак не ведал, что проложит
Для декабристов дальний путь ¹.

Но в печати последний стих заменен другим:

Для Достоевского он путь.

Вероятно, это было сделано под давлением цензуры. И уж конечно, по цензурным соображениям не попало в сборник и увидело свет двадцать с лишним лет спустя стихотворение «Декабристы», имеющее в рукописи дату «17 октября 1883 года». Это стихотворение представляло собой поэтический ответ Тютчеву. Михеев возражал своему предшественнику, утверждавшему, что выступление декабристов не оставило следов.

Борьбы той жертвы! раны ваши
Не могут полюс растопить,
Но им, как оцетом из чаши,
Врагов пришлось окропить.
Уста страдальцев на распятьи,
Где не один из нас распят!
Стих о презреньи и проклятыи
Мои стихи не повторят.
Ведь все же, все ж она сверкнула,
Та кровь на мертвой глыбе льда,
Пусть на нее зима пахнула,—
Оледенив — не навсегда ² —
Той крови праведников алой
Незабываемой пятно.
Ко льду пятно то не пристало?!
Лед не украсило оно?!
И если родины туманы
Вновь всколыхнулись, и вновь
Борцов за будущее раны
На льды былого лили кровь.
И тают льдины — и помину
Не будет рабской жизни сна,—
Не подточили ль, скажут, льдину
И этой крови письмена ³.

¹ Сибирские огни, с. 128.

² В автографе 1883 г. этот стих читался: «Оледенила навсегда». Но атмосфера революционного энтузиазма, в которой В. Михеев перерабатывал свое стихотворение для печати в декабре 1905 г., побудила его внести в текст эту многозначительную поправку.

³ Северный край, 1905, № 297, 14 декабря.

Преклонением перед декабристами, убеждением в том, что их дело не прошло бесследно, проникнуто и стихотворение «Декабристы» Т. Ардова, вошедшее в его сборник стихов «Вечерний свет». В свое время оно несколько раз перепечатывалось и было, по-видимому, популярно, но сейчас совершенно забыто и нам кажется не лишним напомнить его текст.

Был день... давно... с тех пор промчались годы...
Зимой, на площади, в толпе... в тот светлый день
Над бедною страной мельнула тень,
Прекрасная, как небо, тень свободы...
Восстали смелые. И доблестная речь
Сменила рабское молчанье, стон ненастья...
Толпа... Мятежники... И грянула картечь.
И потонул в крови прекрасный образ счастья!
Потом... там, в крепости... мучительный рассвет...
Свершилось! Над молчащими стенами
Железный ангел ржавыми петлями
Скрипел... Он небесам сказал: их больше нет!
Их было пять, повешенных. Другие
Погибли там, в тайге, в острогах. в рудниках...
Их песни вещие лишь дебри вековые
Да звезды слышали в холодных небесах.
Все было кончено!.. И потянулись годы.
Что год — то тягостней, суровой и черней
Над бедною землей. Висела ложь над ней,
Как крепостных темниц безрадостные своды.
Но билась мысль! Во мгле, ночной порой
Железный ангел видел: над Невою,
Когда тюремщик спит, среди дворцов Петра
Свободы тень, как тать, бродила до утра!
И в ужасе дрожал. Он знал: придет мгновенье;
Еще немного дней бесславья — и конец!
И родина, восстав, терновый свой венец
Сорвет, и светлый день блеснет освобождения¹.

Настоящее имя автора этих стихов — Владимир Геннадиевич Тардов. Сведения, которыми мы располагаем об этом человеке, крайне скудны. Неизвестен даже год его смерти. Родился он в 1879 году, в начале XX века печатался в журнале «Зритель», в газете «Утро России» и других периодических изданиях. В рукописном отделе Института русской литературы АН СССР сохранилась автобиография Т. Ардова, написанная им по просьбе С. А. Венгерова. В ней сообщается, в частности, что его родители «были оба настоящие семидесятники и оба бросили родной дом и порвали с родными, чтобы ехать в сто-

¹ Ардов Т. Вечерний свет. Сб. стихов. М., Основа, 1907, с. 50—51.

лицу слушать лекции и служить общему делу»¹. Отец Т. Ардова «принимал участие в народовольческом движении», но позднее склонился к толстовству, а «мать по-прежнему оставалась семидесятницей, позитивисткой и революционеркой»².

Материалы, которые публиковал Т. Ардов, свидетельствуют об его интересе к политическим вопросам. Как говорится далее в его автобиографии, он «напечатал, между прочим, ряд фельетонов и статей историко-политического характера, посвященных главным образом идеям федеративного устройства России, вопросам о национальностях и национализме, о славянстве, о церкви и государстве»³. Показательна для позиций Т. Ардова его сатирическая «Песнь октябриста». Герой этого стихотворения, который некогда «с революцией делил любовные досуги», завершает свой монолог исчерпывающим признанием:

Но дева есть, с которой пут
Я не порву мятежно,—
Ту Ассигнацией зовут,
И ту люблю я нежно⁴.

Показательно для характеристики политических позиций Т. Ардова и другое стихотворение, напечатанное в сборнике «Вечерний свет» непосредственно перед «Декабристами». Оно посвящено борьбе итальянских карбонариев против австрийского владычества, но в нем нельзя не услышать переключки между историей и современностью:

В бой, карбонары, без страха,
Хочет свободы народ —
Смело из вашего праха
Семя свободы взойдет!..⁵

Как ни скудны наши сведения о Т. Ардове, но можно с достаточной уверенностью утверждать, что создание стихотворения «Декабристы» не было случайным фактом его творческой биографии. Неслучайно и то, что это стихотворение обратило на себя внимание К. Р. (под этим псевдонимом печатался, как известно, великий князь

¹ Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР (Пушкинский дом), ф. 377 (С. А. Венгерова), 1 собр., № 2683, л. 1.

² Там же, л. 1—2.

³ Там же, л. 5.

⁴ Русская стихотворная сатира 1908—1917-х годов. Л., Советский писатель, 1974, с. 602.

⁵ Ардов Т. Вечерний свет, с. 49.

Константин Романов) и вызвало его на внешне сдержанную, но пронизанную злобным раздражением полемикой.

«В стихотворении «Декабристы», — возмущается августейший критик, — кровавый день 14 декабря 1825 года назван «светлым днем», когда мелькнула

Прекрасная, как небо, тень свободы.

Автор упоминает о доблестной речи декабристов, сменившей рабское молчание, об их вещих песнях... Вспоминная пятерых повешенных, г. Ардов с пафосом, достойным лучшего применения, говорит:

Железный ангел ржавыми петлями
Скрипел. Он небесам сказал: их больше нет!¹

В этом отзыве, конечно, нет ничего удивительного. Отпрыск императорской фамилии и не мог вспоминать о декабристах с чувствами, подобными тем, которые испытывали люди, шедшие на баррикады 1905 года. Но, характеризуя отношение к декабристам в начале XX века в целом, его нельзя объяснить, исходя лишь из позиций того или иного деятеля в классовой борьбе.

Не следует забывать о том, что кажущееся нам столь ясным и несомненным сейчас, далеко не выглядело таковым в годы, когда царизм прилагал все усилия, чтобы расправиться с любыми попытками приблизить для русского народа день освобождения от самодержавного произвола. Спад революционной волны влиял на отношение к деятельности революционеров предшествующих поколений. Это влияние испытывали и писатели, близкие к революции, к социал-демократии. Не избежал его, в частности, Горький. Та развернутая оценка, которую он дал декабристам в своем курсе истории русской литературы, требует критического подхода. Горький был прав, когда говорил о декабристах, как о «людях, настроенных романтически, переоценивших свои силы», когда подчеркивал отрыв декабристов от народа: «Никто, конечно, не называет их партией народной, руководителями народного движения, в коем как активное начало, нужна масса, а не вожди, — декабристы же были полководцами — без солдат, вождями — без народа». Но он был совершенно неправ, когда продолжил эти суждения выводом, «что социально-политическая роль декабристов была ничтож-

¹ К. Р. Критические отзывы. М., 1915, с. 273—274.

на, что она не оказала никакого влияния на ход событий в стране и что даже их культурное значение сомнительно; во всяком случае оно было не глубоко»¹. Полемизировать сегодня с подобными утверждениями было бы бессмысленно, но и предавать их забвению нельзя: они показывают, как сложны и извилисты пути, которыми идет овладение и социальным, и культурным наследством.

Эту сложность нельзя не заметить, когда мы обращаемся к совершенно забытому, но представляющему немалый интерес роману «Декабристы» (1906) О. Бебутовой. Бебутова — литературный псевдоним актрисы Ольги Георгиевны Гуриэлли. В 1913—1916 годах она опубликовала под этим псевдонимом еще несколько своих произведений. Ее дальнейшая судьба и даже годы ее жизни неизвестны.

Автор романа смотрит на участников тайных обществ одновременно с сочувствием и сожалением. «Много высоких благородных целей начертали себе эти общества, но члены их были разбросаны по многим городам России и самые идеи в умах были туманны, разбросанны, различны...» Надо сказать, что и идеи романистки не отличаются ясностью. То декабристские организации представляются ей эхом уставов, завезенных из Франции и Германии, то она утверждает, что «великая» задача, которую ставили перед собой «все эти молодые, благодушные, мятежные головы», отвечала коренным потребностям России: «...прежде всего сорвать позорные цепи рабства с этих несчастных русских крестьян... А потом: равенство всех граждан перед законом, и пусть все государственные дела будут публичным достоянием, пусть судят каждого из нас справедливо и гласно». «Окончательная цель» не что иное, как «полное политическое преобразование государства».

С одной стороны, декабристы влили «новую, освежающую струю в глубь полуварварского полицейского государства», они «постепенно возбуждали негодование к рабству, ценам, отсутствию правосудия и грубой тирании, они врезывались в память, они вселяли отвращение к существующим порядкам и желание к переменам». С другой стороны, они изначально обречены: «Где взять силы горсточке славных людей против этого полицейского

¹ Горький М. История русской литературы. М., ГИХЛ, 1939, с. 82, 83, 85.

правительства, словно панцирем окованного, недоступного ударам слабых рук»¹.

Особенно безнадежным оказывается положение декабристов с момента, когда им противостоит Николай: «При одном взгляде на эту могучую властную фигуру будущего императора, на эти железные, гордые черты, на эти прекрасные глаза, объятые пламенем, было ясно, как быстро и беспомощно увянут, не дождавшись расцвета, молодые побеги свободы» (с. 179). Сочувствуя декабристам, О. Бебутова явно любителю и царями: и благородным Александром, считавшим, что он не имеет права карать заговорщиков, так как он сам «разделял все эти иллюзии», «поддерживал их и развивал» и тем самым «создал всех этих врагов своих, создал либеральными мечтами и начинаниями своей юности...» (с. 63, 65), и Николаем, помышлявшим якобы лишь об интересах России. Вначале он «не знал, на что ему решиться», но, когда ознакомился с доносом Шервуда, «картина заговора, разросшегося в войске, в обществе и народе, развернулась перед глазами великого князя. Он понял, что больше медлить нельзя, что междуцарствие более чем опасно, и почти со слезами принял корону» (с. 173). Стремление О. Бебутовой как-то примирить свои симпатии к декабристам с симпатиями к Николаю доходит до того, что она снимает с царя ответственность за расправу над участниками восстания. Во всем виновата лишь следственная комиссия, целью которой «было исказить истину, переплести ее с ложью, очернить нравственный характер тайного союза и чистоту его намерений». «Славные идеи» декабристов, «показания, где представлена многострадальная Россия под вековым гнетом самовластия», «верные изображения хаоса в законах и администрации» — все это, по мнению романистки, было скрыто от Николая: «...ни одна из этих идей... не коснулась ушей государя» (с. 219).

Но обратимся к тому, как описан в романе сам день восстания, как называет его О. Бебутова, «междуусобного кровопролития» (с. 186). Мнения заговорщиков о том, как следует действовать 14 декабря, разделились. Якубович предлагает «разбить кабаки, позволить солдатам грабеж, взять церковные хоругви и, прикрываясь ими, идти во дворец». «Как? — возмущается Рылеев. — Начинать

¹ Бебутова О. Декабристы. СПб., 1906, с. 58, 59. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

святое дело свободы грабежом, воздвигнуть святое знамя руками пьяных солдат и грабителей?» А какова позиция автора? О. Бебутова считает, что «обман все-таки был необходим, без него нельзя было и начинать, а начинать побуждало все» (с. 183).

Заговорщики действуют обманом: «Агитаторы ловко проникали в войска, восстанавливая солдат, обещая им уменьшение срока службы в случае их верности законному царю Константину, называя молодого царя Николая самозванцем, отнявшим престол у своего брата» (с. 175). Но на всех их действиях изначально лежит печать обреченности. Если Николай воплощает силу и уверенность в своей правоте, то Рылеев весь во власти страшных предчувствий. Он мечтал «зажечь светоч», который развеет мрак, тяготеющий над русской землей. Действительность не оставляет места для этих надежд: «В это мгновение догорела и погасла единственная восковая свеча и в кабинете Рылеева стало темно. Он вздрогнул, и светлая улыбка погасла на его лице. В груди как-то болезненно заныло, и предчувствие, как свинцовая тяжесть, опустилось на душу. И в этой тьме ему показалось, что бегут вокруг него свежие, кровавые струйки, он даже чувствовал их животную теплоту на своих ногах... Невольно он вскрикнул и бросился к окну, прислоняя к замерзшему, холодному стеклу свой горячий лоб» (с. 183).

День восстания завершился тем, чем он только и мог завершиться: «Благородное знамя свободы, которое они высоко подняли своими слабыми руками, пало на их головы и раздавило своею тяжестью этих первых поборников свободы» (с. 213). И все-таки, говорит О. Бебутова на последних страницах своего романа, самоотверженность первых борцов за свободу русского народа оставила неизгладимый след. События, предшествующие первой русской революции, то, как часто и с каким сочувствием ее участники возвращались памятью к тем, кто 80 лет тому назад пролил свою кровь на Сенатской площади, наталкивали именно на этот вывод. И романистка его сделала. Она выразила убеждение, что пример декабристов «найдет достойных последователей и когда-нибудь семена, брошенные ими на русскую землю, орошенные их мужеством, их жизнью и кровью, их страданиями, возрастут в чудный благоухающий цветок, и тот цветок назовется: свобода и братское равенство русского народа» (с. 274—275).

Рассматривая эволюцию декабристской темы, мы не

раз сталкивались с случаями, когда тот или иной писатель обращался к наследию дворянских революционеров редко, порою — лишь однажды, и обращался вроде бы по частным поводам и не высказывал никаких суждений обобщающего характера, а обращение это при близком рассмотрении оказывается чрезвычайно важным, таким важным, что без него вся характеристика этого писателя предстала бы обедненной.

Очерк Короленко «Легенда о царе и декабристе» принадлежит к числу относительно мало известных произведений писателя, и редакция его десяти томного собрания сочинений, выходявшего в 1953—1956 годах, не нашла для него места в названном издании. И все же позволим себе утверждать, что в большом и многогранном творчестве Короленко не много найдется вещей, которые так отразили бы кристальную чистоту его облика, его этический максимализм, цельность убеждений этого рыцаря в жизни и в литературе.

Короленко близко принимал к сердцу то, как будет встречена «Легенда о царе и декабристе». В феврале 1911 года он писал С. В. и Н. В. Короленко: «Сегодня наконец я закончил свою срочную статью... Вышло не так, как я себе представлял, садясь за работу, но фигура интересная. Почувствуете ли вы то, что я хотел передать: мечта юности, которую человек осуществляет стариком»¹.

Эта мечта, верность тем идеалам, которые герой Короленко пронес через всю жизнь, влекли к нему симпатии писателя. Герой очерка — Александр Николаевич Муравьев, основатель одного из первых тайных обществ, приговоренный к каторге, но позднее помилованный и возвращенный на службу, а после смерти Николая I назначенный нижегородским губернатором.

Итак, пишет Короленко, «Нижний Новгород был ошастливлен вестью о назначении губернатором основателя первого в России тайного общества, бывшего участника «в замысле царубийства», декабриста, приговоренного некогда к каторге»². Муравьев, которого Короленко многократно именует «старым заговорщиком», «старым

¹ Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., Гослитиздат, 1956, с. 464.

² Короленко В. Г. Легенда о царе и декабристе (Страничка из истории освобождения). — Русское богатство, 1911, № 2, с. 114.

декабристом», «губернатором-крамольником», «сбросившим маску декабристом», с такой энергией повел борьбу за уничтожение крепостного права, что вызвал поток ожесточенной клеветы, пасквилей, наветов и доносов. «Старый крамольник, мечтавший о вольности еще в «Союзе благоденствия» в молодые годы, пронес эту мечту через крепостные казематы, через ссылки, через иркутское городничество, через тобольские и вятские губернские правления и, наконец, на склоне дней стал опять лицом к лицу с этой «преступной» мечтой своей юности»¹.

Разумеется, Короленко были близки поборники крестьянской реформы, а ее противники вызывали в нем неприязнь. Но главное, что привлекало его в Муравьеве, — не столько непосредственный характер его деятельности, сколько ее этическая сторона, нестигаемая верность идеалам, пронесенным через всю жизнь. Свой очерк о Муравьеве писатель завершил словами: «...Стремился он к новому до конца. И через все человеческие недостатки, тоже, может быть, крупные в этой богатой, сложной и независимой натуре, светится все-таки редкая красота ранней мечты и борьбы за нее на закате жизни»².

Случилось так, что «Легенда о царе и декабристе» осталась единственным законченным произведением, которое запечатлело отношение Короленко к событиям 1825 года и последующей судьбе их участников. Но писатель продолжал думать о них. Беседуя в начале 1919 года с П. Митропаном, он сказал: «Хорошая тема — декабристы... Сейчас полезно и своевременно вспомнить о них». Речь шла и о других периодах освободительного движения, которыми интересовался Короленко. Но когда писателя стали убеждать художественно обработать собранные им материалы, он с мягкой, немного грустной улыбкой просто ответил:

«Нет, уже не успею...»³

* * *

Шел 1917 год. Падение самодержавия, решимость революционного народа сломить оковы, тяготившие его на протяжении веков, штурм Зимнего дворца — все это не могло не воскрешать в умах современников воспоминания

¹ Русское богатство, 1911, № 2, с. 117.

² Там же, с. 140.

³ Митропан П. Встречи с В. Г. Короленко. — Вопросы литературы, 1965, № 5, с. 164, 165.

о событиях 14 декабря. Отсюда появление многочисленных стихов, посвященных декабристской теме. Иные из них публиковались в провинциальных газетах, розыск которых не всегда оказывается возможным¹. Лишь эхо доносит до нас отголосок тех чувств, с которыми поэты 1917 года вспоминали о декабристах.

Напряженный поток событий накладывал прямой отпечаток на эти чувства. Неистовая злоба бушевала в груди Зинаиды Гиппиус. Свое первое стихотворение о декабристах она написала в 1909 году. Тогда она еще позволяла себе либеральные ноты, вспоминала, что «был погашен их же кровью освободительный костер», жаловалась, что и ныне «мороз на берегах Невы», и давала зарок: «Мы...

вашими пойдем стопами
и ваше будем пить вино...
О, если б начатое вами
Свершить нам было суждено!»².

Дело, начатое декабристами, свершили другие. И восемь лет спустя З. Гиппиус публикует уже не выдержанное в тоне элегических воспоминаний, а растерянное и визгливое стихотворение «Им»³. Стихи Гиппиус — одно из многих искажений подлинного облика декабристов. Попытки представить их облик и деятельность в ложном свете начались, как мы знаем, сразу после восстания и не прекращались на протяжении последующих десятилетий. О художественном уровне подобных произведений говорить не приходится.

Но было написано в 1917 году, по крайней мере, одно по-настоящему значительное произведение на эту тему, заслуживающее пристального внимания и анализа. Это «Декабрист» О. Мандельштама. Стихотворение это сложное, может быть, в каком-то смысле даже зашифрованное, во всяком случае, о некоторых сторонах его содержания и смысле отдельных образов приходится говорить предположительно. Стихотворение диалогично.

¹ Так, в газете «Черниговский край», 1917, № 54, 14 декабря, были напечатаны стихи А. Архангельского, З. Давыдова и О. Никольской. См.: Восстание декабристов. Библиография. Сост. Н. М. Ченцов. М.—Л., Госиздат, 1929, с. 224. Наши попытки найти этот номер в газетных собраниях Москвы, Ленинграда, Киева и Чернигова оказались безуспешны.

² Гиппиус З. Н. Собр. стихов. Кн. 2. М., Мусaget, 1910, с. 119.

³ Вечерний звон, 1917, № 8, 14 декабря, с. 3.

Первые два стиха первой и пятой строф Мандельштам заключил в кавычки, давая тем понять, что они принадлежат не лирическому «я», но оппоненту, с которым ведется тихий спор. Тихий именно со стороны автора, тональность реплик его собеседника принципиально иная. Обе эти строфы экспрессивны и не случайно завершаются восклицательными знаками. Возражающий ему поэт, напротив, обходится без таковых.

Два мира видятся в «Декабристе» Мандельштама: мир прошлого и мир современный. В прошлом шумели

...германские дубы,
Европа плакала в тенетах,
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Тогда нынешний сибирский узник был деятелен и сказал «правду в скорбном мире». Для оппонента, мнение которого передает нам поэт, все это продолжается и теперь:

Сии дела не умирают!
Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!

Для героя стихотворения — нет. Он возражает тому уже самим своим обликом, в котором подчеркнуты мирные, прозаические детали.

Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Время, когда его голос был «живым» и волновался «о сладкой вольности гражданства», стало для него «честолюбивым сном», который он

променял на сруб
В глухом урочище Сибири...¹

Он не отступился от своего прошлого, не разочаровался в нем. Тому подтверждение — горящий в стаканах голубой пунш и «вольнлюбивая гитара», воскрешающие сцены декабристских сходок. Но он осознал, что жертвы не привели к вольности:

Вернее труд и постоянство.

Да, постоянство. И теперь, когда старость вынуждает постепенно холодеть, когда «все перепуталось», ему «слад-

¹ Мандельштам О. Э. Стихотворения. Л., Советский писатель, 1978, с. 102—103.

ко повторять» слова, концентрирующие в себе напоминание о бурных днях, обреченных кануть или канувших в Лету.

Возможно и другое. Что нет собеседника, с которым спорит герой, а это раздвоение — в самой его душе, где «все перепуталось»: и вера в то, что «сии дела не умирают», и разочарование в «честолюбивых снах» юности. Он — и энтузиаст и скептик. В пользу такого толкования стихотворения говорит вариант пятой строфы, сохранившийся в авторизованном списке допечатной редакции «Декабриста»:

«С глубокомысленной и нежною страной
Нас обручило постоянство».
Мерцает, как кольцо на дне реки чужой,
Обетованное гражданство¹.

Образ Лорелеи, возникающий в последнем стихе, наряду с Россией и Летою, может на первый взгляд поразить неожиданностью. Но если допустить, что пленительная красавица, манящая к себе пловцов, — олицетворение свободы, к которой устремились декабристы, что обернулось их гибелью, то этот трагический символ не только окажется органической частью всей образной структуры стихотворения, но и его естественным итогом, помогающим нам постичь грустные раздумья Мандельштама.

Октябрь 1917 года открыл современникам возможность по-новому взглянуть и на настоящее, и на прошлое России. Их мысли не могли не обратиться к тем, кто первыми стали на путь борьбы с царизмом. В день, когда исполнялась девяносто вторая годовщина восстания декабристов, газета Екатеринбургского совета крестьянских депутатов «Вольный Урал» отдала свои страницы стихам и статьям, посвященным подвигу дворянских революционеров. Появившееся здесь стихотворение Георгия Иванова «Декабристы» напоминало о дне, когда

Грохотали царские пушки,
И туманилось дымное солнце,
И неправда торжествовала
На Сенатской площади мертвой.


Оно напоминало о том, что жертвы, принесенные 14 де-

¹ Мандельштам О. Э. Стихотворения, с. 273.

кабря 1825 года на алтарь русской свободы, по достоинству оценены теми, кому довелось ее обрести.

Декабристы!
Умирая на черной плахе,
Задыхаясь в цепях в Сибири,
Вы не знали, какую славой
Имена засияют ваши.
Слава мученикам свободы,
Слава первым, поднявшим знамя,

Знамя то, что широко веет
Над Россией освобожденной:
Светло-алое знамя чести.
Пропоем же вечную память
Тем, кто нашу свободу начал,
Кто своею горячею кровью
Оросил снега вековые —
Декабристам.



«ТУЧИ ПРОХОДЯТ — ЗВЕЗДЫ ОСТАЮТСЯ».

«Сейчас я начинаю издание русского журнала под названием «Полярная звезда», — писал Герцен 31 марта 1855 года французскому историку Ж. Мишле, — это было заглавие одного альманаха, редактировавшегося Рылеевым и уничтоженного Николаем. Тучи проходят — звезды остаются»¹. Символика последней фразы была воплощена в гравюре, воспроизведенной на обложке «Полярной звезды»: над профилями пяти мучеников, повешенных на куртине Петропавловской крепости, горели пять звезд. Велика заслуга Герцена в том, что к этим звездам были прикованы мысленные взоры нескольких поколений. Как никто другой, он сумел уловить требования времени и ответить на них. Потому так значителен оказался резонанс его деятельности, в большей или меньшей степени повлиявшей на всех, кто размышлял и писал о событиях 1825 года.

В чем же причина того, что на протяжении десятилетий, последовавших за восстанием на Сенатской площади, декабристы оставались предметом раздумий русского общества, а следовательно, и темой произведений русских писателей? В наиболее краткой и общей форме на это можно ответить так: потому что продолжалось, росло, эволюционировало русское освободительное движение, истоки которого восходили к деятельности тайных обществ. И на всех этапах своего развития оно возвращалось памятью к этим истокам, осознавало себя в соотношении с ними. Были случаи, когда обращение к декабристам диктовалось соображениями агитационного характера, когда их образы воскрешались с целью эмоционального воздействия на современников. Стремясь дискредитировать самодержавие, стране напоминали о расправе с теми, кто пытался завоевать ей свободу. Это нередко приводило к идеализации программы и

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XXV, с. 252.

деятельности дворянских революционеров. Случалось и так, что они намеренно принижались и даже становились мишенью для клеветы. Но главным все-таки было другое.

Главное — это обращение к историческому опыту в надежде с его помощью правильнее и глубже разобраться в проблемах современности, стремление понять день прошлый, чтобы постичь день нынешний. Вопросы о целесообразности революционных методов борьбы, о шансах революционных выступлений на успех, о нравственности или безнравственности насилия вообще и царубийства в частности занимали умы на протяжении всего XIX века. И ставились они в связи с декабристами, осмысливались с учетом того, чего добились и чего не смогли добиться участники восстания на Сенатской площади. Те, кто враждебно относился к современным революционерам, пытались бросить тень и на декабристов как на их предшественников, и это приводило к негативным высказываниям о деятельности тайных обществ. Но лучшие силы русского общества находили в декабристах те качества, ту цельность устремлений, ту меру духовной стойкости, которой не хватало нынешнему поколению. Анализ событий 1825 года в связи с последующей историей России учил пониманию диалектики повторяющегося и неповторимого, закономерного и случайного, общего и индивидуального в историческом процессе.

Литература чутко отразила память русского общества о декабризме и декабристах. И то, как откликался (или не откликался) на эту тему тот или иной писатель, дает важный материал для характеристики его мироощущения, нравственного облика, социальных позиций. Тютчев и Полежаев, Плещеев и Лесков, Полонский и Короленко написали о декабристах немного, но это немного необходимо для полноценного, достоверного представления о каждом из названных писателей. А «умолчание» о декабристах в художественном творчестве Гоголя или Тургенева не менее красноречиво, чем иное созданное произведение.

Эволюция декабристской темы на всех ее этапах подтвердила, как органически была связана история русской литературы с историей освободительного движения. Художественное слово вобрало в себя сами идеи этого движения, оно их распространяло, оно отразило и то, как воспринимались эти идеи русским обществом. Осмыс-

ленные литературой, обогащенные ею, эти идеи становились новым импульсом в борьбе за преобразование общественных отношений. Этот сложный процесс протекал по-разному на разных этапах нашей истории и потому отразил особенности каждого из этих этапов. Именно общественная значимость этой темы обуславливала то, что обращение к ней многих русских писателей заставляло их отдавать ей всю страсть души. Л. Н. Толстой говорил: «Дело это для меня так важно, что, как вы ни способны понять все, вы не можете представить, до какой степени это важно. Так важно, как важна для вас ваша вера. И еще важней, мне бы хотелось сказать. Но важнее ничего не может быть. И оно то самое и есть» (т. 62, с. 384).

Декабристская тема подвергалась цензурным преследованиям и полицейским гонениям, часто она укрывалась за эзоповой манерой, жила в мире нелегально распространяемых списков. Но убить ее не удалось, как не удалось и использовать для дискредитации революционеров в глазах русского общества.

Великий Октябрь открыл богатые возможности для возвращения к декабристской теме, не сопоставимые с существовавшими в прошлом веке. Распахнулись архивы, исчезли цензурные препоны, появились многочисленные публикации документов и достоверные исторические исследования. Неизмеримо далеко ушли мы вперед от времен, когда русское общество с трудом улавливало обрывки правды о намерениях и деятельности первых борцов против самодержавия, когда Добролюбов должен был черпать сведения о событиях 1825 года в писаниях Корфа и Шницлера.

Декабристы и советская литература — тема отдельной книги и, может быть, не одной. Еще ждет системного осмысления обширный и разнородный материал: и «Синие гусары» Н. Асеева, и романы Ю. Тынянова, М. Марич, О. Форш, и очерки Ларисы Рейснер, и «Северная повесть» К. Паустовского, и «Глоток свободы» Б. Окуджавы, и стихи Я. Смелякова, Р. Рождественского, Н. Ушакова, Л. Мартынова, Д. Самойлова, О. Сулейменова, Ю. Друниной, Л. Озерова, И. Фовякова, и множество других произведений разных жанров.

Они вызваны к жизни небывалым интересом к декабристам. Небывалым и по интенсивности, и по устойчивости, и по многообразию форм проявления. Было бы ошибочно видеть в этом интересе нечто меньшее, чем

черту общественной психологии нашего современника, в душе которого нашли отклик самоотверженность, высокая чистота помыслов и беззаветная преданность своим идеалам, проявленные первыми русскими революционерами. Каждый пишущий о декабристах сегодня — будь он историк или поэт — не просто «восполняет пробел», но отвечает на общественную потребность, на веление времени.

Вновь и убедительнее, чем когда-либо в прошлом, утвердила себя правота вещей слов Герцена: «Тучи проходят — звезды остаются».



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Часть первая. СОВРЕМЕННОИКИ.	
Первые отклики. Жуковский. Тютчев. Поэты-декабристы: Раевский, Глинка, Кюхельбекер, Одоевский. А. А. Шишков. Чаадаев. Грибоедов. Дельвиг. Баратынский. Языков. Давыдов. Вяземский. Пушкин	13
Часть вторая. НАСЛЕДНИКИ.	
Вольная поэзия. Полежаев. Лермонтов. Пересмотр наследия. Славянофилы. Петрашевцы. Плещеев. Герцен. Огарев. Люди герценовского круга. Тургенев. Чернышевский. Добролюбов. Революционеры-разночинцы. Народники. Некрасов	113
Часть третья. ПОТОМКИ.	
Амнистия. Толстой. Лесков. Полонский. Боборыкин. Споры о Чацком. Гончаров. Достоевский. Данилевский. Реакционная беллетристика. Декабристы, которые не декабристы. В годы первой русской революции. Михеев. Ардов. Бебутова. Короленко. Канун Октября	213
«ТУЧИ ПРОХОДЯТ — ЗВЕЗДЫ ОСТАЮТСЯ»	299

Фризман Л. Г.
Ф 88 Декабристы и русская литература. — М.: Худож. лит., 1988. — 303 с.

ISBN 5-280-00403-0

В трех частях книги — «Современники», «Наследники», «Потомки» — исследуется эволюция декабристской темы в русской литературе на протяжении почти столетия — с 1825 по 1917 год.

Ф $\frac{4603010101-101}{028(01)-88}$ 215-88

ББК 83.3Р1

Леонид Генрихович Фризман

ДЕКАБРИСТЫ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Редактор Л. Птушкина

Художественный редактор С. Биричев

Технический редактор Л. Витушкина

Корректоры Г. Киселева, О. Наренкова

ИБ № 5061

Сдано в набор 28.04.87. Подписано к печати А 03867 от 16.12.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.-отт. 16,38. Уч.-изд. л. 17,39. Тираж 20 000 экз. Изд. № IX-2566. Заказ № 1302. Цена 1 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Типография издательства «Калининградская правда», 236000, Калининград обл., ул. Карла Маркса, 18.